

175769.

ОКТАБРЬ
1942г.
кн. 10.

23.04.08 - 27173

8.04.20 00A

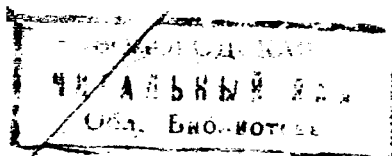
ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ДЕСЯТАЯ
КНИГА

ОКТАБРЬ



О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1942

Дума о России

Широка раскинулась Россия,
Много бед Россия выносила:
На нее с востока налетали
Огненной метелицей татары,
С запада, затмив щитами солнце,
Шли стеною на нее ливонцы.
«Вот ужо,— опи ее пугали,—
Мы в песок сотрем тебя ногами!
Погоди — мол: вырастет крапива,
Где нога немецкая ступила»...

Бил дозорный в било на Пожаре¹,
К борзым коням ратники бежали,
Выводил под русским небом синим
Ополчение тароватый Минин,
От неволи польской и татарской
Вызволяли Русь Донской с Пожарским,
Смуглая рука царя Ивана
Крестоносцев по щекам бивала.
И чертили по степным яругам
Коршуны над ними круг за кругом,
И клевало на дорогах трясских
Воронье в монашых черных рясах,
И вздымал над битой вражьей кликой
Золотой кулак Иван Великий...

Сеял рожь мужик в портах посконных,
И Андрей Рублев писал иконы,
Русичи с глазами голубыми
На зверье с рогатиной ходили,
Федька Конь, смиряя буйный поров,
Строил чудотворный Белый город,
Плопка тлела в слюдяном оконце,

Девки шли холсты белить на солнце,
Пели гусли вещего баяна
Славу прошлых битв, и Русь стояла,
И Москва на пепле вырастала,
Точно голубятня золотая...

Нынче вновь кривые зубы точит
Враг на русский край. Он снова хочет
Выложить костями нас в ратном поле,
Волю отобрать у нас и долю,
Чтобы мы не пели наших песен,
Не владели ни землей, ни лесом,
Чтоб влекла орда тевтонов пьяных
Наших жен в шатры, как полоняног,
Чтобы наши малые ребята
От поклонов сделались горбаты,
Чтоб лишь странники брели босые
По местам, где встарь была Россия...

Не бывать такому сраму, братцы!
Грудью станем! Будем насмерть драться!
Изведем врага! Штыком заколем!
Пулею прошьем! Забьем дрекольем!
В землю втопчем! Загрызем зубами,
А не станем для него рабами!
Ястреб нам крылом врага укажет,
Шелестом трава о нем расскажет,
Даль заманит, выдаст конский топот,
Русская река его утопит...
Не испить врагу шеломам Дона!
Не погнутся русские знамена!
Будем биться так, чтоб видно было:
В мире нет сильнее русской силы!
Чтоб остались от орды поганой
Только безымянные курганы,
Чтоб, как встарь, стояла величаво
Мать Россия, паша жизнь и слава!

¹ Било — металлическая доска, заменявшая
каменный колокол. Пожар — древнее назва-
ние Красной площади.

Стихи о России

I

Когда говорили мне в детстве — Россия —
Я знал: это все, чем дышу, где расту.
Крыльцо расписное и ставни резные,
Под окнами яркий шиповник в цвету.

Укропом и тмином поросшие грядки,
Левада, где стручья гороха бренчат.
На белой заре переборы трехрядки,
Запевки вернувшихся с поля девчат.

А смутные сумерки путают краски,
Стирают приметы привычных вещей,
И сон подтверждает сестренкины сказки,
Что солнце в ларец замыкает Бащей.

Но сказок и снов золотое соседство
На утлой кровати непрочное. И вдруг,
Проснувшись, увидишь, что кончилось детство,
Что мир развернулся просторный вокруг.

Когда в эту пору я слышал — Россия —
За мной, приподняв горизонта черту,
Шумели поля и дуга заливные,
Хлеба наливные и травы в цвету.

По узким тропинкам, по торным дорогам,
Меж трав и хлебов, проходил я босой.
Зарницы считал с косарями под стогом,
Встречая рассвет, умывался росой.

И в полдень, над речкой, где берег отвесен,
Где гребень волны набегающей крут,
В соломинку пил я отцедины песен,
Что сладостной грустью за сердце берут!

Я знал, что не пасынком вырос, а сыном —
В отцовском доме и, уйдя за порог,

Туманным березам и синим осинам
Послал я поклон с перепутья дорог.

II

Я знаю: походная сумка солдата
Тесней, чем открытое сердце, и в нем
Мы в трудные дни сберегли под огнем,
Что дорого было нам в детстве когда-то.

Что в юности ранней нам спилось, что зрелость

Сулдила, маня все вперед и вперед.
Отмечен там каждой тропы поворот
И каждый костер, где мы в сумерки грелись,

Колочий шиповник и мягкая мята,
Примятые танками. Здесь на войне
Нам все это дорого стало вдвойне,
И в сердце хранится, как в сумке солдата

Горькие материнские слезы скупые
И падают в душу, на самое дно,
Но в час расставанья мне слово одно
Сухими губами шептали — Россия!

Увидев сожженную школу, где вместе
Со мной подрастал мой ровесник и друг,
Сквозь пепел и дым, оглянувшись вокруг,
— Россия, шептал я, взывая о мести.

Увидев разбитый завод, что когда-то
Построил мой верхний ровесник и друг —
Сквозь пепел и дым, оглянувшись вокруг,
— Россия, шептал я, как клятву солдат

Россия! Дышать без тебя было б нечем.
Ты воздух наш, дом наш. Любовь и тоска!
Ты будешь стоять как стояла века,
Все тяжкие раны твои мы залечим!

III

Россия! Мы всюду твердим твое имя,
Созвучное с именем женщины той,
Что нас пеленала руками своими,
Что нас напитала сосцами своими,
Что нас согрела своей теплотой.

Священны твои седины и морщины,
Торжеств и печалей твоих годовщины
В великой твоей и суровой судьбе,
И зрелость встречая, по праву мужчины,
Мы клятву на верность давали тебе.

На верность твоим перелескам зеленым,
На верность малиновым зорям твоим,
На верность ночам соловьиным бессонным,

На верность девическим взорам бездонным,
На верность надеждам, что с детства таим.

Пусть клятвоотступник на русской равнине
Забудет о матери, друге и сыне,
Их нет у него — ни друзей, ни родных.
Пусть каменным хлеб ему станет отныне,
Не даст утолить ему жажду родник.

Он в страхе падет, услышав твое имя,
Созвучное с именем женщины той,
Что нас пеленала руками своими,
Что нас напитала сосцами своими,
Что нас согрела своей теплотой.

Август 1942 г.

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

Первый москвич

Стоял он у обрыва,
У самой встречи рек.
Лесным красивым рекам
Двигался человек.

Вода бежала в красных
Размытых берегах,
У суздальского князя
Он числился в бегах.

Он ставил сруб, усталый
Ложился слушать бор,
Кладя в траву сырую
Под голову топор.

И светлой ночью спилось,
Что тут, где шум сосны,
Поднялся Кремль зубчатый, —
А предок верил в сны.

Он в сны и явь поверил,
В тот вещий светлый час,
Сквозь мрак восьми столетий
Он, может, видел нас.

Трава росой блестела,
Светела синева,
Щепою сосновой пахло.
Так началась Москва.

Радуга

Повесть

I

Одна дорога шла с запада на восток, другая — с севера на юг. Там, где дороги скрещивались, на высоком пригорке располагалась деревня. Избы, вплотную стоящие одна к другой, низко присели по сторонам дорог, образуя подобие креста. Посредине, на небольшой площади, торчала церковная колоколенка. У подножия пригорка, внизу, в овраге, извивалась речка, покрытая льдом и снегом. Лишь кое-где голубая поверхность была проломлена, и в проломах чернела живая волна, вскоре снова исчезающая под ледяным покровом.

Из хаты вышла женщина с ведрами. Они покачивались на коромысле в такт ее медленному шагу. Женщина спускалась вниз по склону, осторожно ступая по скользкой тропинке. Она щурилась от солнца. Отражаясь в снежных сугробах, оно ослепляло яркими острыми лучами. Вот она сошла вниз, поставила ведра под прорубью, оглянулась. Никого не видно. Хаты стояли тихо, будто утонули в снежной перине. Женщина постояла с минуту и, оставив ведра на берегу, медленно двинулась вдоль реки, беспокойно озираясь на деревню вверху.

Речка сворачивала в сторону, в более глубокий овраг, поросший кустами. Ветки высовывались из-под толстого снежного покрова. Сквозь заросли вела узенькая, едва заметная тропинка. Женщина свернула туда. Вокруг шелестели обмерзшие кусты. Она с трудом пробивалась вперед. Верхние ветки кустов хлестали ее по лицу. Она отклоняла их рукой, колючие, покрытые ледяной коркой, чуть припорошенные сверху пушистым снегом.

Тропинка внезапно обрывалась. Женщина остановилась. Мертвыми, стеклянными глазами смотрела вперед.

Земля здесь была холмистой, изборожденной расщелинами, узкими овражками. Кое-где росли одинокие кусты. Но не на заснеженных холмах, не на кусты с кое-где уцелевшими с осени красными каплями ягоди шиповника смотрела женщина.

То тут, то там из-под снега виднелись какие-то неопределенные темные очертания. В расщелине валялся клубок лохмотьев. Обломки металла, изогнутое заржавевшее железное пятнами выступали на голубизне снега. Она ступила еще два шага и медленно опустилась на колени. Он лежал окостеневший, вытянутый, как струна, и, несмотря на это казался меньше, значительно меньше, чем при жизни. Лицо — словно вырезанное из черного дерева. Она жадно вглядывалась в это лицо, знакомое до последней черточки и вместе с тем чужое. Губы застыли в неподвижности, нос заострился, веки опущены на глаза. Каменное спокойствие было в этом лице. Сбоку, возле самого виска, зияла круглая дыра. У края ее узкой полоской застыла кровь. Яркая, неестественно красная. Кровавый значок на черном фоне.

Видимо, он не сразу умер от этой раны. Видимо, он был еще жив, когда с него стаскивали форму. Или был еще теплый. Это не смерть, а руки грабителей выпрямили ноги, вытянули руки вдоль туловища. В дупле боя, в тот день, когда он погиб, уже стоял трескучий мороз; он тотчас хватал в свои клещи убитых, обрастал в камень их тела. С мертвого пм бы уж ничего не стащить, а его ограбили до последнего, оставили только гимнастерку; сорвали шинель, стянули сапоги, брюки, даже портянки. Голубые кальсоны словно вросли в тело, казались нарисованными сипькой на дереве. Невозможно было отличить тела от материи. Голые ступни, в отличие от совершенно черного лица, были белы нечеловеческой, известковой белизной. Одни

ступня треснула от мороза,— мертвая плоть отделилась, словно подошва, была видна обнажившаяся кость.

Женщина осторожно протянула руку, коснулась мертвого плеча, почувствовала шершавое сукно гимнастерки и под ней неподвижность камня.

— Сынок...

Она не плакала. Сухие глаза смотрели, видели, впитывали в себя черное, как железо, лицо сына. Круглая дыра на виске, треснувшая ступня и то единственное, что говорило о смертных мучках,— искривленные, сведенные судорогой пальцы, влившися в снег.

Женщина бережно страхнула с темных откинутых назад волос нанесенный ветром снег. Одна темная прядка лежала на лбу. Она не решалась коснуться ее,— прядка прильнула к отверстию раны, вросла в нее, облепленная кровью.

Все время, с тех пор как она сюда приходила, ей хотелось откинуть эту прядь. Но она боялась прикоснуться к ней, боялась пошевелить, словно это могло причинить боль умершему, разбередить рану.

— Сынок...

Сухие губы бессознательно шептали это одно-единственное слово, будто он мог услышать, будто мог поднять тяжелые почерневшие веки, взглянуть родными серыми глазами.

Женщина застыла в неподвижности, прильнув глазами к черному лицу. Она не чувствовала мороза, не ощущала онемения в коленях. Она смотрела.

С дерева, одиноко торчащего над оврагом, поднялась ворона. Она тяжело взмахнула крыльями, описала круг и опустилась на ком тряпья под кустом. Наклонила голову, всмотрелась. Рыжие пятна крови пропитали насквозь простреленное пулями сукно. Птица с минуту была неподвижна, словно раздумывала. Потом ударила клювом. Раздался стук. Мороз сделал свое дело: все, что оставалось здесь жить, превратилось в камень.

Женщина очнулась от мертвой неподвижности.

— Кыш!

Ворона тяжело взлетела и опустилась в нескольких шагах, на засыпанную снегом человеческую фигуру.

— Кыш!

Она подобрала смерзшийся комок снега, бросила в птицу. Ворона снова взмахнула крыльями, лениво перелетела на свое прежнее место на дереве. Женщина подпрыгала с колен, вздохнула, еще раз взглянула на сына и повернула на тропинку.

Она наклонилась над прорубью, набрала воды и стала медленно подниматься вверх, сгибаясь под тяжестью полных ведер. Солнце за это время поднялось выше, но мороз не уменьшался. Снег был голубой, и женщина не знала, голубой ли он на самом деле, или ее глаза отравлены той голубизной,— голубизной вмерзшей в тело матери на неподвижно вытянутых известково-белых, страшных ногах сына.

* * *

Перед хатой топтался озябший человек. Он переступал с ноги на ногу, подергивая плечами, совал руки подмышки, растирал застывшими пальцами щеки. Трескучий мороз безжалостно пробирался сквозь плохонькие сапоги, сквозь летнюю зеленую шинель, кусая за пальцы, щипля глаза. Часовой пристально оглядел женщину, хотя знал ее уже давно. С того самого дня, когда его часть заняла деревню. Она прошла мимо, словно не видя его. Дверь заскрипела, клубы пара ворвались в сени.

— Что это как долго? Вечно дожидаться ее невозможно!

Она не ответила, молча подошла к печке, налила воды в стоявший на плите горшок, подбросила дров в едва тлеющие угли.

— Налейте воды в стакан, пить хочется.

— Вода в ведре, бери,— сухо ответила женщина.

— Подожди, вот придет муж, я расскажу ему! — сердито дернувшись, сказала лежащая под периной.

Женщина пожала плечами. Муж, как бы не так...

Она медленно подкладывала в печь сухие дрова. Да, да, так уж, видно, суждено. В деревне триста дворов, и из каждого кто-нибудь да пошел на войну. А вот только ее сын лежит там, в овраге, у речки, и уже месяц, как не дают его похоронить. Месяц лежит он в снегу, и мороз превращает его лицо в черное железо, расщепляет, словно дерево, его ноги и покрывает синевой пальцы. Лежат там другие, тоже свои, но все же не сыновья, братья, мужья. Никого здешнего. Один только он. Одному только ему суждено было пасть здесь, близ родной деревни, в двухстах шагах от родной хаты. Одной ей только суждено смотреть, как над непохороненным телом сына кружатся голодные вороны.

И как раз у нее, будто нарочно, в насмешку, занял квартиру для своей любовницы немецкий офицер. И хоть бы была она немка, привезенная издалека, чужая, с не-

попнятой речью, такая же враждебная и ненавистная, как все эти зеленые шинели. Так нет же, надо случиться иначе, надо ж случиться, чтобы это была здешняя, продажная, что за шелковые чулки и французское вино предала родину, близких, собственного мужа — командира, всех тех, что лежали там, убитые в овраге. Все внутри переворачивалось, и страшное омерзение наполняло сердце при мысли, что вот она нашла себе место под этой крышей, валяется под периной, покрикивает, разыгрывает в этом доме барыню. Нет, она не стыдится, не ходит с опущенными глазами, не краснеет при встрече с людьми. Ходит довольная, наглая и заставляет обслуживать себя.

— Подожди ты еще, подожди, — шептала в разгорячившийся огонь женщина, не обращая внимания на доносящуюся из горницы брань. — Ох, будет тебе, будет... так будет, что ты сто раз пожалеешь, что на свет родилась.

Она не оглянулась, услышав в сенях быстрые тяжелые шаги. Она и так угадывала, кто идет. И только лицо ее словно окаменело.

Офицер прошел в горницу, не обращая внимания на согнувшуюся у печки женщину.

— Что это, ты еще спишь?

Лежащая капризно надула губы.

— А зачем вставать? Тебя все нет и нет... Скучно... Ты себе ходишь, а я здесь с этой противной бабой... Вот увидишь, она еще отравит меня...

Он присел на край кровати.

— Глупая... Ты здесь хозяйка, принимаешь? Ну, чего ты скучаешь? Заведи патефон, у тебя столько пластинок, читай. Я же и так провожу с тобой каждую свободную минуту. Но ведь война... То и дело что-нибудь новое.

Она вздохнула. Меленно приподнимаясь, протянула руку за лежащим на стуле бельем. Он пересел на скамейку и смотрел на нее. Да, она правилась ему, иначе он не таскал бы ее за собой вот уже три месяца. Она была иная, совсем иная, чем женщины, к которым он привык, и иная, чем женщины, которых он встречал здесь.

— Ах, да. Послушай, Пуся, кто-то мне говорил, что здешняя учительница — твоя сестра?

Рука с чулком повисла в воздухе. Пуся склонила голову к плечу с грацией большой обезьянки. Это и было в ней как-то особенно привлекательно. Хрусткий, эфирный зверек.

Детской рукой она отвела за ухо волосы. Уши у нее были такие смешные, узенькие,

вытянутые треугольником вверх, как у зверька. И зубы треугольные — только сейчас, после трех месяцев знакомства, она заметила это. Она прикусила ими бледную губу.

— Ну, и что?

Она еще раз поправила волосы, сверкнула треугольные ногти, покрытые красным лаком словно коготки, обогранные кровью.

— Ну, да, сестра, и что с того?

— Не очень она нас любит, твоя сестра?

В черных круглых глазах Пуся сверкнула искорка подозрения.

— А она... она поправилась тебе?

Он рассмеялся кудахтающим, хриплым смехом.

— Нет! Выдумашь тоже! Я не люблю полных блондинок. Ноги у нее толстые как... — он хотел сказать: как у моей жены, — но во-время спохватился.

Пуся с удовлетворением взглянула на его коротковатые, но стройные ноги.

— Да, это верно, она немного чересчел толста.

— Ты никогда не говорила, что у твоей сестры.

— А зачем? Она жила здесь, я там. Почти никогда не встречались. Она совсем другая.

— Как другая?

Пуся задумчиво закладывала волосы ухом. Сверкнуло имитирующее бриллиант слишком сережки.

— Она учит детей, работает, работает. А что с этого имеет? Ничего. П совсем вольна. Все ей нравится.

— Большевичка, одним словом.

— Кто ее знает. Может, большевичка безразлично ответила она и вдруг снова овила.

— А ты почему так расспрашиваешь ее? Говоришь, что она тебе не понравилась, все расспрашиваешь.

— Так себе расспрашиваю. Если я ее интересуюсь, то не как женщиной, будь у репа, не как женщиной.

Пуся не заметила особой, новой нотки в его голосе. Она старательно натягивала ноги туфли, надевала через голову шелковую комбинацию.

Он небрежно поцеловал ее и вышел.

Часовой все еще топтался перед избой, стараясь согреть ноги. Он вытянулся при появлении офицера. Тот миновал его. Свернула с площадки. Большой дом, где раньше помещался совет, был полон солдат и унтер-офицеров.

Они вытягивались, козыряли. Он едва отвечал. В комнате серыми клубами стоял дым.

Офицер толкнул дверь своего временного кабинета.

— Привести ее.

Он сел за стол и зевнул.

Солдаты ввели женщину в крестьянском полушубке, в темном платье. Он недоверчиво взглянул на нее.

— Это она?

— Она.

Женщина как-то неловко и тяжело стояла перед столом. Из-под платка выбивались седые на висках волосы, лицо было простое, грубо вытесанное — обыкновенное крестьянское лицо.

— Фамилия?

— Костюк Елена.

Он вертел в руках карандаш, исподтишка разглядывая стоящую перед ним женщину. Одно из двух — или староста ошибся, или, судя по твердой, решительной линии подбородка, по глядящим прямо ему в лицо глазам, предстоит длинное, кропотливое следствие.

— Ты была в партизанском отряде?

Она не смутилась, не испугалась и, не сводя с него глаз, ответила:

— Я была в партизанском отряде.

— Ага... Так, так... — Это неожиданное и быстрое признание удивило его. Машинально он рисовал на лежащем перед ним листочке бумаги гирлянду фантастических листьев.

— А почему ты вернулась в деревню? З чем они тебя прислали?

— Меня никто не прислал, я сама пришла.

— Так. Сама... А это зачем?

На этот раз она не ответила. Темные глаза смотрели прямо в худое, костлявое лицо офицера, в его бесцветные глаза, окаймленные белесыми ресницами.

→ Ну?

Она молчала.

— Как же так? Была в отряде, а потом вдруг приходишь домой в деревню. Что у вас, никакой дисциплины нет? Лучше скажи сразу, зачем прислана.

— Я сама пришла, не могла больше.

— Не могла... Почему же? — заинтересовался он. — Плохо пошла дела, а? У вас командира застрелили при последнем нападении, да? Отряд распался?

— Об отряде я ничего не знаю. Я пришла домой.

— Что ж так вдруг?

Она беззвучно пошевелила губами.

— Убедилась, что все это бредни, преступление, бандитизм. Не захотела больше!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Пет... Я больше не могла.

— Почему же?

Она сделала, видимо, усилие и потом сказала прямо в эти водянистые, моргающие бесцветными ресницами глаза:

— На роды пришла домой.

— Что такое?

— Рожать пришла...

— Вот оно что...

Он засмеялся, и она вздрогнула от этого кудактающего, хриплого смеха.

— Холодно, что ли? Здесь патопли, а ты закутана, как на морозе. Сними платок!

Она послушно скинула с плеч тяжелую, толстую шаль и положила на скамью.

— Пальто сними!

Поколебавшись мгновение, она расстегнула петлю и сняла тулуп. Да, никаких сомнений быть не могло. Это был последний период беременности.

Женщина тяжело дышала. Он понимал, что ей трудно стоять, и нарочно тянул, вертел в руках карандаш, все меленнее задавал вопросы, делал паузы между ними. Она сразу отвечала на все, что касалось ее лично. Да, замужем, муж погиб на войне. Раньше, до революции, работала в экономях, жала господский хлеб, доила господских коров. После революции работала в колхозе. В партизанский отряд пошла, как только он сформировался. Свое положение от них скрывала. Когда стало трудно двигаться, когда роды приблизились, вернулась в деревню. Хотела спокойно родить ребенка.

— Так... Спокойно родить ребенка... — повторил он. — Ты на прошлой неделе взорвала мост?

— Я.

— Кто тебе помогал?

— Никто. Я сама.

— Жень. Мы же знаем, лучше сразу скажи.

— Никто. Я сама.

— Ну, хорошо. А где твой отряд?

Она молчала. Темные глаза спокойно смотрели в лицо офицера. Он вздохнул. Начиная старая история. Упрямое молчание. Утомительное бесконечное следствие. Какие бы средства и способы ни применялись, — как правило, все понапрасну. Он знал: человек или сразу начинает говорить, или из него ничего не вытянешь. На этот раз его ввели в заблуждение первые ответы, но правильным было, очевидно, первое впечатление — упрямые линии подбородка, уверенное и решительное.

тельное очертание губ. Да, о себе она говорила, о себе она говорила все. Но о тех — ни слова.

— Ну, откуда ты пришла в деревню?

Молчание. Он нервно постучал карандашом по столу, не глядя на подследственную. Его вдруг охватила скука, отвратительная, липкая, безнадежная скука. Не лучше ли бросить все и пойти к Пусе, а следствие поручить кому-нибудь другому? Но ему хотелось узнать хоть что-нибудь об отряде, который постоянно давал себя чувствовать всей округе, а на сообразительность своих помощников он мало полагался. Притом им приходилось прибегать к помощи тупого, в сущности плохо знающего язык переводчика. А сам он свободно владел языком — и украинским, и русским. Он готовился к другой работе в этих местах. Впрочем, языки пригодились, и во время войны. Часы, проведенные за их изучением, не пропали даром.

— Ну, так как? Командира отряда зовут Бурявый, а? Но — это прозвище. Ты скажи, как его настоящая фамилия?

Молчание. Он видел, что она смертельно устала. Капли пота выступили на ее висках, лбу, в углубках возле носа. Морщинки у губ стали глубже. Руки бессильно висели вдоль туловища.

— Ты будешь говорить или нет?

* * *

Пелагея не спала. Она долго надевала платье, долго смотрелась в зеркало. Завела патефон. Но знакомый мотив быстро надоел. Захотелось поболтать с кем-нибудь. Но с кем?

Пуся вышла в кухню, зачерпнула воды из ведра и напилась. Федосия Кравчук ситела у печки на низкой скамеечке и чистила мелкую мороженую картошку. Пуся присела на скамью под окном и смотрела, как между пальцами женщины движется узкая лента шелухи, сворачивается, падает вниз в корзину.

— Очень мелкая картошка, — сказала она. Федосия ничего не ответила.

— Здесь всегда такая?

Молчание.

— Что это вы мне совсем не отвечаете?

Женщина подняла глаза и взглянула. Молчаливо, равнодушно, холодно. И снова занялась своим делом.

— Вот так посмотрела! Да что я, не человек, что ли? Целый день слова сказать не с кем. Умереть можно.

Картошка плюхнулась в воду, орбыги упали на глиняный пол.

— Кажется, я вам ничего дурного не сделала?

Серые глаза окинули ее быстрым внимательным взглядом. Но ответа снова не последовало. Она гневно сжала кулаки, так что острые когти впились в ладони.

— Почему вы мне не отвечаете? Что я — зачумленная?

Федосия подняла голову.

— Ты хуже зачумленной. Хуже! И умрешь хуже, чем от чумы умирают!

Пуся от изумления застыла с открытым ртом. Ее круглые глаза расширились. Она вообще не надеялась на то, что эта Кравчук заговорит. И вдруг она заговорила, прервала это, долго продолжавшееся молчание. И как заговорила! В первую секунду Пуся не знала, как реагировать. Закричать? Подойти ударить? Расплакаться или пойти и завести самую веселую, самую шумную пластинку?

Неожиданно для себя самой, она не осуществила ни одной из этих возможностей.

— Чего вы от меня хотите? Что мне было делать? Подохнуть с голоду? Ждать? Чего ждать? Они тут всегда будут! Надо же было как-то устроиться... Сережа, наверняка, давно погиб, а Курт — он меня возьмет к себе в Дрезден. Там лучше, чем здесь! Что у меня здесь за жизнь была? Ни одеться, ничего.. Из-за каждой пары чулок ломала себя голову. Порвутся, — что делать? Легко другие достать?

— Вот ты и вся... Это самое и я говорю.. Чулки... Сестра у тебя — порядочный человек, учительница, все как следует... А ты — чулки... Вот только назвать-то тебя не охота как бы следовало. А твой Курт никуда тебя не возьмет. Бросят, как всех таких потаскушек бросают, еще раньше, чем самому придется удирать. А уж придется! Ничего, сиди себе тут спокойно. Спи с немцем под моей першой. Уж недолго вам обоим тут сидеть. Недолго! Придут наши и тебе покажут, где раки зимуют!

Пуся съезжилась на скамье. Спокойные слова хлестали, как бич. Вздрагивающим от бешенства голосом она выдавила из себя:

— Ладно, ладно. Вот я скажу Курту, почему вы так долго по воду ходите! Как только придет — скажу!

Женщина поднялась во весь рост. Очищенная картошка покатила по полу, со звоном упал нож. Чуть наклонившись вперед, с окаменевшим лицом, она пошла прямо на Пусю, а та, поблдевшая, подобрала ноги под скамью, словно для защиты, крепко прижала к груди похолодевшие вдруг руки.

— А ты откуда знаешь, куда я хожу? Ты-то откуда знаешь?

Но Пуся уже овладела собой; она вспомнила, что под окном ходит часовой, что достаточно только крикнуть, и успокоилась.

— Я знаю все, что мне надо.

— Ах, ты...

Федосия подавила в себе желание схватить за горло, растоптать это маленькое черненькое создание, похожее на притаившуюся крысу. Ее охватило невыразимое отвращение к этому хрупкому, слабому существу, отвращение здорового, нормального человека к извращенности и болезненности. Она ёкнула, вернулась к своей скамейке перед печкой, торопливо схватила картошку, и из ее рук слова поплыла легка шелухи. Захлопала вода в горшке, брызгая на пол. Пуся с демонстративно поднятой головой проследовала в горшину заводить патефон.

Федосия чистила картошку и чувствовала, как у нее холодеет сердце. Значит, та знает и, наверняка, скажет немцу. Она таила эту лю пору до времени, а теперь отмстит,— скажет.

В горнице низкий томный голос пел: «Камень горит...»

Что-то будет? Она не сомневалась: офицер что-нибудь да выдумает. Строгое запрещение хоронить погибших в последнем бою до сих пор было в силе. Пусть они лежат там, на морозе, нагие, ограбленные, на страх другим, как предостережение, как знак немецкого торжества. Сначала крестьяне пытались похоронить убитых,— не удалось. Овраг был под постоянным наблюдением. Молодой Пашук, который подрался ночью с лопатой к оврагу, остался лежать там навсегда с пулей в груди.

Но ни у кого из деревни не было там сына. Только у нее. Только ее Васе суждено было очутиться в отряде, который проходил через деревню. Какое это было счастье тогда... Он неожиданно вбежал в избу, веселый, как всегда смеющийся. На мгновение, только на короткое мгновение! А на рассвете подошли немцы, захватили врасплох, и Вася очутился как раз в той группе, которая была озвужена и до последнего уничтожена в овраге.

Она нашла его в тот же день. Сердце привело ее прямо к тому месту, где он лежал.

И каждый день с тех пор, вот уже месяц, она ходила туда и смотрела на сына. Она уже привыкла к тому, что каждый день, а то и два раза в день, идя по воду, она может увидеть свое мертвое дитя. А теперь? Что будет теперь?

«...Нежность, любовь, ласка, мечты обо мне...» — пел патефон.

Он уж выдумает что-нибудь, не простит. Она не боялась за себя. Она боялась за свое дитя, за свое мертвое дитя, лежащее там в овраге. словно ей предстояло потерять его еще раз,— заберут, бросят куда-то в неизвестную яму, надругаются, изуродуют, изувечат. Это они умеют, ох, как умеют...

«...Нежность, любовь, ласка, мечты обо мне...»

Невыносимо раздражал патефон. Пуся размечталась и в десятый раз заводила ту же пластинку. Патефон пел о любви, которая минула, о счастье, которое ушло, о письмах, которые уже ничего не значат. В такт мрачным мыслям сидящей у печки женщины патефон пел нежные слова. Федосия Кравчук, не чувствуя боли, сжала в пальцах тупой нож. Капелька крови выступила на разрезанной коже. Она отерла руки о передник.

«...Камень горит...»

Что делать? Как поступить? Ей казалось, что нужно спасти жизнь Васи, спасти его от чего-то ужасного и жестокого, более жестокого, чем сама смерть. Но как?

Она знала, что забрать его оттуда нельзя. Он вмерз в снег, сросся с ледяной корою. Только весной оттепель освободит его из ледяной постели. Но если бы даже... Как его поднять, хотя он уменьшился и был теперь не больше, чем когда ему было пятнадцать, шестнадцать лет. Как его подпять, куда его нести, где его спрятать от глаз убийц?

«...Нежность, любовь, ласка...»

Его будут касаться омерзительные немецкие лапы. Его будут толкать ненавистные немецкие сапоги. Над ним будут с хохотом гримасничать скотские немецкие морды, зазвучит хриплый, кудахтающий смех капитана Курта Вернера. Федосия ломала руки в безысходном отчаянии. Она забыла о картошке, забыла об огне, который покрывался все более толстым слоем пепла, и сидела неподвижно, стеклянными глазами глядя прямо перед собой.

Думалось, что хуже уже не может быть, что все удары уже обрушились на ее сердце. И вот оказалось, что нет. Нет конца, нет края. Черная туча, надвинувшаяся на деревню в декабрьский день, грозит еще неисчислимыми бедствиями каждую минуту.

* * *

Патефон заскрежетал и умолк. Пуся натянула на ноги валенки, старательно застегнула шубку. Она была немного велика, эта

глубка, которую Курт сорвал с кого-то и подарил ей, своей жене. Но она была теплая, можно было засунуть руки в рукава, большой пушистый воротник защищал от мороза щеки.

Пуся вышла из сеней и задохнулась. Воздух был прозрачен и холоден, как лед. Огромная стеклянная глыба, заполнившая весь мир. Снег голубел в местах, куда падала тень, а на солнце искрился, как бриллиант, сверкал, резал глаза безжалостным блеском. С холма, на котором расположилась деревня, видна была раскинувшаяся направо и налево бесконечная равнина, ослепляющая белизной и лазурью. Мороз захватил в клещи землю и небо, мороз держал в своих тисках деревню, тихонько прикорпнувшую на перекрестке двух дорог. Кое-где суетились солдаты, на площади перед церковью чернело артиллерийское гнездо, там тоже стояли солдаты. Никого из жителей не было видно. Она двинулась вперед, решив навестить Курта на работе.

На краю площади стояла виселица, два столба с перекладиной. Посредине висел человек. Пуся равнодушно прошла мимо этого символа власти немцев в деревне. Она привыкла к этому зрелищу. — молодой парень уже висел здесь, когда она только приехала к Курту месяц назад. Он окоченел, застыл, потерял человеческие формы и был теперь больше похож на кусок дерева, чем на человеческое тело... Снег неприятно скрежетал и повизгивал, словно она ступала по стеклу. Она шла совершенно пустой утробой, окна изб, снизу доверху затканые белой пеленой мороза, были похожи на затянутые бельмом глаза. Редко из какой трубы поднимался дым, — это были избы, где квартировали немцы. В других никто не варил щи — не из чего было.

Дверь одного из домов приоткрылась, высунулась светловолосая голова, по при виде идущей спова торопливо спряталась, дверь захлопнулась. Пуся пожалала плечам. И вправду они избегали ее, как зачумленной, старались не столкнуться даже случайно. Дети поспешно удирали, завидя ее. Ну, и пускай, пускай себе! Все равно они все подохнут с голоду и холода, такова их судьба. А она вот ходит живая и здоровая, у нее прекрасная шуба, она может вволю грызть шоколад, а потом поедет в Германию с мужем-капитаном.

Часовой у дверей сразу пропустил ее. Она постучала и, не обращая внимания на беспокорство помощников Курта, вошла в кабинет.

— Что случилось?

— Ничего не случилось, — ответила Пуся капризно. — Я соскучилась по тебе. — Она внимательно окинула взглядом стоящую у стола женщину. Староватая, уже седеющая женщина с большим животом — беременна! Пуся присела на краешек стула.

— Ты скоро кончишь?

— Я уже говорила тебе, что я занята. Он был явно раздражен, отвел ее к окну сердито зашептал:

— Сколько раз я тебя просил не придти сюда!

Она падала губы, как обиженный ребенок.

— Мне так страшно, так ужасно скучно. Ты бы хоть пришел пообедать вместе! Мне так грустно... Тебя все нет и нет... И ты за удовольствие разговаривать с какой-то старой бабой! Что, этого никто другой не может сделать?

— Вот не может. А старая баба — это партизанка, понимаешь?

Пуся остолбенела.

— Партизанка? Курт, что ты говоришь, посмотри на нее, она же вот-вот родит!

Безмысленная улыбка не сходила с лица Пуся, круглые черные глаза смотрели на стоящую у стола женщину. Значит, это партизанка... это смело, ах, как это смешно. Что Курт боялся партизан, она знала, хотя он никогда бы не признался в том. Вот еще же нечто, чего боится самоуверенный, невидимый Курт, у которого на все есть готовый ответ и для которого все всегда ясно и просто.

Нет, она представляла себе партизан так. Она думала, что это великаны, вооруженные топорами, обросшие, таинственные люди, скрывающиеся в лесах, не боящиеся ужасающих морозов, которые уже столетиями сковывают весь белый свет. А тут — обыкновенная деревенская баба, вроде Ферсии Кравчук, вдобавок беременная. Пуся и косилась на огромный, торчащий вперед живот, вздымающий порывевшую черную юбку.

Курт мертвым, усталым голосом задавал вопросы. Та отвечала. Сначала Пуся вслушивалась в вопросы и ответы, по скоро поняла, что это и вправду неинтересно. И не только неинтересно, а даже глупо. Курт все время спрашивал об одном и том же, а та все время отвечала одними и теми же словами.

Олена уже смертельно устала. Перед глазами плыли черные пятна, черная волею поднимаясь откуда-то из-под стола, заслоняла глаза. Приходилось напрягать всю волю, чтобы выбраться из нарастающей, заливающей все кругом тьмы, и тогда из кружащего

врака выплывал офицер за столом, лежащие перед ним бумаги, стекла окна за его спиной. Она чувствовала, как ее лицо начинает покрывать пот, холодный, липкий, неприятный. Руки были тяжелые, как гири, ноги нестерпимо болели, — наверно, очень опухли. Сколько же это времени она стоит тут? Час, два, три? А может, больше, может, уже целый день? Хотя нет, солнце за окном светит еще ярко, — значит, все это продолжается не так долго, как кажется.

Болели бедра, болели все внутренности; будто кто-то медленно и систематически вытягивал из нее жилы. А теперь, добавок, еще пришла тоска. Олена слыхала о ней, знала, кто это. И вот она сидит тут... глаза круглые, как пуговицы. Она сняла меховую шапочку и заправляет рукой волосы за ухо. Утомленные глаза женщины поймали блеск стеклышка в сережке и остановились на нем. Стеклышко сверкало, мелькал крохотный огонек, потом снова начинала клубиться тьма, и из ее набегающих волн пробивался только этот острый лучик. Олена пошатнулась, но сжала кулаки и снова выпрямилась. Нет, нет. Только не упасть, не упасть здесь, на глазах у этой потаскухи, что продала своих и пошла в офицерскую постель, а теперь сидит в мехах, поблескивает серггами и с улыбкой на губах смотрит на беременную женщину, пытаемую немецким офицером.

— Ведь ты же мать, — сказал Курт. И Олена, у которой уже мутилось в голове, схватилась за это слово. Ну, конечно, она же мать. Нет, немецкому офицеру и в голову не пришло, что он ей помог, помог как раз в тот момент, когда под ней колебалась земля и страшная слабость охватывала тело.

— Ты же мать!

Кто это сказал? Немецкий офицер за столом или Будрявый, веселый рябой парень там, в лесу, командир отряда!

— Ты же мать.

Она думала сейчас не о том ребенке, которого носила под сердцем. Она думала о тех в лесу, о всех тех, что называли ее матерью. Она была старше всех, намного старше. Она ходила в разведку, взорвала мост, но, собственно, основной своей задачей считала не это. Она стирала, готовила, ухаживала за ребятами, о которых ведь некому было позаботиться. Лечила больных, перевязывала раненых, чинила изорванную одежду. Как это делает обычно мать. Они и называли ее матерью.

— Ты же мать...

Она восприняла эти слова как призыв тех, чья жизнь теперь зависела от одного ее слова. Как напоминание о долге по отношению к ним. Как их голос, доносящийся издали. — Где скрывается отряд?

Она помнила каждую тропинку, каждый куст, каждое дерево в лесной чаще. В памяти ясно возникла дорога, о которой спрашивал офицер. Она даже испугалась, что водянистые глаза в белесых ресницах могут увидеть, проследить в ее мыслях эту дорогу. Скорей, скорей думать о другом — о своей избе, о речке, о соседних домах. Но в памяти упрямо возникла тропинка и шалаши под елями, и веселое лицо Будрявого, рябое, смешное лицо. Шестнадцать парней — и она, мать. Да, там, в лесной чаще, было шестнадцать ее сынов, шестнадцать отважных, неустрашимых сыновей. Сыновей батрачки, что долго ждала, пока дождалась своего счастья, счастья свободного человека, не знающего плетки господского приказчика.

— Ничего я не знаю об отряде. Ушли. А куда ушли, не знаю.

Курт скал кулак. После четырех часов допроса он был на той же мертвой точке, что в начале его. Он сердито сложил бумаги. — Ганс!

В избе появился солдат.

— Увести ее — и в сарай. Посидишь в холодке, может, это тебя отрезвит. Посидишь, подумаешь. Когда подумаешься, позови часового. Он даст мне знать.

Белизна снега ослепила Пусю. Сапоги Курта скрипели по снегу еще громче, чем ее валенки. Ледяной воздух резал щеки.

— Это еще что?

Она остановилась и взглянула, куда показывал Курт. Вдали, там, где лазурь равнины сливалась с холодной лазурью неба, расцвела радуга, сияющий цветной столб поднимался ввысь и исчезал, таял в недостижимой высоте. Зелень, лазурь, розовые и фиолетовые краски, хрустально прозрачное видение.

— Радуга, — сказал изумленный Курт. — Радуга зимой!.. У вас это бывает?

Пуся минутку подумала.

— Нет, кажется, не бывает, я еще никогда не видела.

Курт все стоял, глядя на сияющий красочный столб, соединяющий небо с землей.

— Идем же. Холодно. У меня ноги заморзли.

— Говорят, что радуга — это доброе предзнаменование...

— Радуга как радуга, — потеряла, наконец, терпение Пуся, таща его за рукав.

В эти несколько минут столб вытянулся, изогнулся, и радуга триумфальной аркой раскинулась над землей, розовая, фиолетовая, зеленая, сияющая золотым прозрачным блеском. Небо вздулось стеклянным куполом. На площади у орудий солдаты, задрвав головы, смотрели во все глаза на необычное явление.

Федосия Кравчук стояла перед избой, когда они подошли к дому. Она тоже смотрела на радугу. Спокойно, внимательно, пристально.

— Говорят, радуга — доброе предзнаменование, — сказал, проходя, офицер. Старая крестьянка пожалала плечами.

— Да, да, говорят, радуга — доброе предзнаменование, — странным голосом ответила она и постороилась, чтобы пропустить их в сени. Сама она осталась на пороге. В одной юбке и кофте, с голыми руками, забыв о трескучем морозе, она не сводила глаз с сияющего видения, с раскинувшейся по небу триумфальной арки, переливающейся всеми красками, насыщенной мягким, золотым, все пронизывающим блеском.

II

Пуся свернулась клубочком. Голова ее лежала на руке Курта. Она спала тихо, ровно дыша, как маленький зверек. Офицер лежал навзничь, похрапывая.

Федосия Кравчук на печке в кухне слушала этот хрип. Он неопишимо раздражал ее. Старой женщине казалось, что именно этот хрип не дает ей спать. Широко раскрытыми глазами она смотрела в окно, где лунный свет искрился на стеклах, покрытых толстой корой изморози. Призрачный голубой свет проникал внутрь избы. От стола, скамейки, от стоящего на полу ведра падали странные, пугающие тени.

По все-таки это была ночь. День, наконец, кончился. Еще один день. Она не слышит кудахтающего смеха офицера и умильного сюсюканья его девки, не видит косых взглядов, которые та бросала на нее целый вечер. Она, видимо, решила немного позабавиться, не говорить сразу, а держать Федосию в напряженном ожидании. Нет, она ничего не сказала. Она искоса, с улыбочкой, следила за Федосией и тешилась мыслью, что та вся в ее руках, что она в любой момент может

нанести ей удар. Она радовалась своей мнущей власти. Теперь она может сделать что захочет, с сердцем матери. В ее власти и тот, лежащий там, в овраге на снегу. В любую секунду она может нарушить его мертвый покой, швырнуть его на издателямства врагу.

Весь вечер замрало сердце старой женщины. Но теперь, когда она, лежа без сна, глядя на мерцающий в окне синий свет, слушала ненавистный хрип, доходящий из горницы, в ней вдруг все взбунтовалось. Ну пусть их, пусть их!

Они отняли у него все, стащили с него сапоги, шипель, штаны. Его уже раз касались немецкие руки, они уже раз бросили его на снег, бросили, может, еще живого, ш убивающий мороз. Немецкая пуля уже выпила из него кровь, он уже мертв. И он взглянет больше серым, веселыми глазами никогда больше не запоет: «Распрягайте хлопцы, копив...» Что ж из того, что он еще раз оилуют его, надругаются над его телом. Тем хуже для них, тем хуже для них... Все равно навеки останется в памяти людей веселый парень, Вася Кравчук, который лучше всех, а потом погиб у своей деревни, в овраге над речкой, где прежде столько раз поил лошадей; погиб за свою родную землю, за счастье и свободу людей. Этого не смогут изменить, не смогут вычеркнуть из людской памяти немецкие руки. В ней была записано, что они и после смерти не оставили его в покое, что и после смерти издевались над его телом. Это запомнит не только материнское сердце. Запомнит народ в деревне, запомнят те, что придут, что прогонят отсюда прочь немецких разбойников. Они заплатят, заплатят сторицей за каждую каплю его крови, за каждую минуту, что он пролежал нагой на морозе, за каждый шаг немецкого сапога.

Теперь ей уже хотелось, чтобы поскорее пришло утро. Пусть она скажет, эта черная крыса. Пусть все скорей случится. И пусть она увидит своими круглыми черными глазами, что Федосия не поведает, не заплатит, не бросится на колени просить, чтобы у нее не отнимали единственное, что у нее осталось, — обращенное морозом в камень тело сына. Проклятая, играет со страхом, мукой материнского сердца. И вот Федосия выбьет все это из ее рук. Черная крыса опобется, она не дожидается ни плача, ни просьбы ее торжество не удастся.

Федосия чувствовала, как твердеет ее сердце, и знала, что теперь уже никто ничем не может ей сделать, никто ничем не мож

е равнять. Она бронирована от всех ударов непроницаемой броней ненависти.

На синее сияние окна то и дело падала тень. Это ходил часовой перед домом. Снег скрипел под его сапогами, слышно было, как он топчется на месте, тшчетно пытаясь согреть коченеющие ноги. Женщина насмешливо усмехнулась. Карауль, карауль офицерский сон, теплый сон с любовницей на захваченной крестьянской кровати, под ворованной периной!.. Не укараулишь, не убережешь, хоть в сто раз дольше топчись, хоть ноги отморозь, хоть до смерти добегайся под окном избы... Наступит такая почь, когда придется очнуться от крепкого сна и босыми ногами, в белье, выскочить на мороз... Придет такая почь, когда захочется позавидовать тем, что лежат непохороненные в овраге, и Люпку, что месяц висит на виселице... Такая почь, что офицерская потаскушка позавидует судьбе Олены Костюк.

И снова возник мучительный вопрос: кто предал? Олена пришла потихоньку, забралась к себе в избу. Ведь не считали же немцы, не успели пересчитать всех баб в деревне. Олена сидела тихо, никуда не выходила, а вот, не прошло двух дней, как она явилась,— выволокли, потащили на допрос. Значит, был кто-то, кто предал, кто сказал об Олене. Где-то есть притаившийся враг, так хорошо скрытый, что деревня о нем не знает, что никто о нем не догадывается. Кто-то, кто видит, знает, доносит. Кто-то здешний, кто мог узнать Васю, кто знал Олену, кто знал все. Кто это мог быть? Сама она узнала об Олене тотчас, как только та вернулась в деревню. Знали и другие, но ведь все это были свои, деревенские люди, колхозники, отцы, матери бойцов, тех, которые в эти страшные морозные дни и светлые ночи дрались по всему фронту необъятной родной земли. Кто же был змеей, ядовитым гадом, выкормленным золотой пшеницей этой родной земли, а теперь возжающим в нее свое жало?

* * *

Где-то вдали раздались голоса. В чистом морозном воздухе, в полной тишине ледяной ночи малейший звук раздавался громко и явно. Слышны были голоса, чьи-то окрики. Федосия соскочьзнула с печки, подошла к окну и соскочьзнула пальцем толстый слой инея. Он осыпался, как снег. Дыханием она оттаяла на стекле маленький кружок, сквозь который можно было увидеть, что делается на улице. Стекло туманилось, моментально снова замерзло; приходилось беспрестанно

дышать на него и протирать концом платка. Из окна виден был кусок улицы, до самой площади, до дома, где раньше помещался сельсовет, за которым темнел большой сарай.

Было светло, как днем. Лунный свет превращал весь мир в голубую плитку льда. И Федосия ясно увидела: по дороге от площади бежала нагая женщина. Нет, она не бежала,— наклонившись вперед, она с усилиями делала мелкие шаги, переваливаясь с ноги на ногу. При лунном свете был ясно виден ее огромный живот. За пей шел солдат. Над наклоненной, протянутой вперед винтовкой поблескивало жало штыка. Когда женщина на секунду останавливалась, штык высовывался вперед и колот ее в спину. Солдат что-то выкрикивал, орали два его товарища, и беременная слеза тяжело двигалась вперед, согнувшись вдвое, пытаясь бежать. Пятьдесят метров вперед — и солдат заставлял свою жертву повернуть обратно. Пятьдесят метров назад — и опять, и опять то же самое. Палачи смеялись, их дикий хохот доносился в избу.

Федосия вцепилась в оконную раму и смотрела, смотрела. Вот, значит, что происходило в эту ночь, когда офицер храпел со своей любовницей. Они точно выполняли его поручение, он мог спать спокойно. Судьба Олены Костюк свершалась, песмотра на его сон.

Вот она, Олена Костюк. Когда-то давно они вместе работали на помещичьем поле. Вместе дрожали перед приказчиком и еще больше перед приказчичьими ухаживаниями. Вместе плакали над своей долей, мрачной, безнадежной долей девушек-батрачек.

А потом они обе работали в колхозе и вместе радовались поднимающейся пшенице и растущему удою колхозных коров, и тому, что все светлее, веселее улыбается жизнь.

П вот теперь какая судьба выпала Олене! Пятьдесят метров вперед, пятьдесят метров назад, голая, босиком по снегу, за дель, за два до родов. Солдатский смех, штык, колющий в спину.

Федосия не плакала, не кричала. В сердце запеклась черная кровь. Иначе и быть не может, пока они тут. Будто нарочно хотая показать, что нет границ жестокости. Она смотрела на Олену без сочувствия. Нет, здесь не было места жалости. Федосия казалось, что это она сама топчется там босиком по снегу, пагая, отдапная на издевательства солдат. Что это ее ноги ранит смерзшийся снег, ее спину колет железо штыка. Это не Олена Костюк — это вся деревня шла пагая по снегу, подгоняемая солдатским смехом. Это не Олена Костюк — это вся деревня падала

з снег лицом, тяжело поднималась под ударами прикладов. Это не из ног Олены Костюк струилась на жесткий, обледеневший снег кровь — это деревня истекала кровью под немецким сапогом, под немецким разбойничьим злом, под немецким кулаком.

Федосия смотрела сквозь маленький кружок чистого стекла. Да, так и есть. Штыком, железными кулаками дает о себе знать крестьянам немецкий солдат. Он не знает, не подозревает даже, что люди глубже начинают осознавать, чем была для них советская власть, что в любой деревне, где хоть на один день слезами и кровью проложило свой след немецкое хозяйничанье, навеки, из поколения в поколение не будет недовольных, ленивых, равнодушных к советской власти людей. Федосия вспомнила споры с бабами, прежние и новые, — жизнь сама давала ответы, сама учила самым страшным учением.

Олена снова упала и снова поднялась. Откуда у нее брались силы? Федосия знала, откуда. Она знала, чувствовала, что сердце Олены тоже залито черной кровью, кровью ненависти, которая дает силы.

В каждой избе за замерзшими окнами стояли люди и смотрели через отогретые дыханием кружки. Вместе с Оленой они бежали по снегу, вместе с ней падали, поднимались, чувствовали уколы штыка и слышали переворачивающий все внутри дикий солдатский хохот.

Олена знала, Олена чувствовала на себе глаза деревни. Своей деревни, где она выросла в тяжелой доле, где дождалась лучших дней, где своими руками строила золотой мост к счастью. Кровь лилась из ее израненных, изрезанных обледеневшими комками снега ног. Дикая боль рвала внутренности. Голова гудела. Она снова споткнулась и упала, почти не почувствовав удара прикладом. Она поднималась не потому, что ее били. Нет, она не хотела, не могла лежать на дороге под солдатскими сапогами. Не хотела, не могла показать врагу, что он ее замучил, загнал насмерть, как собака зайца.

Собственно, она уже ничего не чувствовала. Тело истекало кровью, падало, тащилось по снегу. Сама она, Олена, была словно вне его, словно в горячечном сне. Как в бреду, видела она дорогу, солдат. В ушах гудело.

— Мать! — весело звал Кудрявый. Шумели верхушки деревьев высоко вверх, их раскачивал ветер, скрипели колья шалашей. Быстрое пламя ползло по балкам, лизало мост огненным языком, рвалось вверх. Уходил на войну Микола, махал рукой с поворота дороги.

Олена упала. С трудом, опираясь на руки, она снова поднялась.

— Скорей, — орал идущий сзади солдат.

— В брюхо ей дай, в брюхо, — посоветовал другой.

— Еще сдохнет раньше времени, — засмеялся первый и кольнул Олену штыком. — Она еще ничего не сказала, должна еще начать разговаривать.

— Уж капитан из нее с кишками вытянет, что надо.

— То-то. Эй, ты, двигайся, двигайся! — заорал опять первый.

— А ты ее пощупай еще раз, еще раз!

Жало штыка наклонилось. По спине женщины стекали узкие струйки крови.

— Скорей, скорей! Ты что думаешь, что с мужиком на прогулку идешь?

Им было безразлично, что женщина не понимает их слов. Им доставляли удовольствие самый крик, ругань, грубые слова. Они были утомлены и злы, мороз все крепчал, а им из-за этой «проклятой бабы» приходилось мерзнуть, вместо того чтобы спокойно спать. Им хотелось проучить ее за это, отомстить ей за свою усталость, за эту бессонную ночь.

А ночь охватывала землю небывалым морозом, который, казалось, добирался до самого месяца и превращал его в ледяную глыбу. В серебряном свете радуга утратила краски и вырисовывалась на небе едва заметной полосой. Но по обеим сторонам месяца стояли два световых столба. Они вырастали на горизонте, вздымались ввысь по обе стороны лунного диска, как колонны триумфальных ворот. Они мерцали и переливались серебряным нисем от далекого неба до краев земли.

— Двигайся, проклятая! — немцы орала изо всех сил не только потому, что им хотелось орать. Ночь наполняла сердце страхом, им хотелось криком и шумом заглушить гнетущий их испуг, разорвать завесу таинственности, ввести реальное в нереальность ночных часов.

Было светло, как днем. Лупа, заливала все кругом серебряным блеском. Пылали столбы света, каких они никогда в жизни не видели. Лунные лучи искрились на снегу. И снег скрежетал под ногами, свидетельствуя о морозе, какого они никогда раньше не знали, о существовании какого даже не подозревали.

Нигде ни души, и только избы, зрачки замерзших окон смотрели на дорогу. Тени, отбрасываемые домами, чернели в углублениях. В темную, безлунную ночь немцы вообще не решились бы выйти — они знали, за каждым углом, за каждым кустом подсте-

регает смерть, смерть может ударить, как молния, так, что и моргнуть не успеешь. Сегодня среди этого ослепительного блеска трудно было укрыться, затаиться, подкрасться — и все же сердце сжималось от страха. Они вдруг оглядывались, напряженно всматривались, пытались разглядеть что-то в тени от сарая и покрикивали, стараясь придать себе храбрости. Мороз резал щеки, мороз ледяной горкой оседал на губах, немцы торопливо, лихорадочно терли уши, притоптывали погами по снегу и взад и вперед, взад и вперед гоняли по деревенской улице пагуэю женщину.

В конце концов им надоело это развлечение. Ничто не менялось — Олена чаще падала, дольные поднималась, но не плакала, не кричала, не обнаруживала желаний дать показания капитану. А мороз все крепчал и уже не только беспощадно резал лицо, руки и ноги, но захватывал дыхание в груди, заволакивал слезами глаза, потрясал тело неудержимой дрожью.

— Ну, двигайся, бегом, домой!

Они, крича и улюлюкая, погнали ее к сараю, как дикого зверя. У входа она споткнулась о порог и рухнула лицом вниз на глиняный пол, инстинктивно прикрывая руками вздутый живот. В висках стучало, сердце бешено колотилось. Через несколько минут на теле сомкнулись беспощадные тиски мороза. Нестерпимо запылали рапы на спине, которых она до сих пор не чувствовала. Сделав нечеловеческое усилие, она поднялась, села и стала неловко растирать окостеневшими пальцами плечи, ноги, бедра. От щелей в стенах на глиняный пол ровными полосами ложился лунный свет. В углу лежала вязанка соломы. Она дотрагивалась до нее, съезжилась и прилегла на этой соломе, стараясь поглубже зарыться в нее.

— Замерзпу, — сказала она себе, и ей стало как-то легче. Тулуп и шаль еще днем остались там, на скамейке, у офицера. А ночью солдаты, прежде чем выгнать ее на снег, сорвали с нее всю одежду, даже рубашку. — А вдруг они забыли и оставили все это тут, в сарае, — пришло ей в голову. Она огляделась. Нет, ничего не было. Голый пол и эта жалкая вязанка соломы, давшая ей минутный приют.

Снаружи было тихо. Видимо, солдаты решили, что ее незачем сторожить, заперли дверь на замок и ушли. Все тело жгло, как огнем. Она широко открытыми глазами смотрела, как медленно передвигаются полосы лунного света на полу.

Вдруг послышался шорох. Она напрягла слух. Снег скрипел, но это не были шаги

часового. Шли медленно, осторожно. Легкий скрип снега, затем снова все затихало, и снова — осторожный скрип. Кто-то крался, едва передвигая ноги. Олена испугалась. Что это такое, кто это может быть?

Шаги затихли. Вероятно, ей померещилось. Но вот скрип раздался снова. Явно, кто-то шел. Она приподнялась в ожидании. Шаги приближались сзади, со стороны, противоположной воротам. Куда они свернут? Но шаги не сворачивали. Они стали еще медленнее, еще осторожнее и, наконец, стихли у самой стены.

Олена задержала дыхание. Кто-то стоял у стены сарая.

Она ждала. Кто это? Друг, враг или случайный прохожий? Хотя какие прохожие могут быть ночью в деревне, где под угрозой смерти запрещено выходить из изб после наступления сумерек?

— Тетка! — тихим шопотом позвал детский голос.

Олена замерла. По ту стороны стены стоял ребенок. Она хотела ответить, но из груди вырвался только глухой, сдавленный стон.

— Тетка Олена!

Кто-то из соседских детей осторожно подкрался к сараю и звал ее. Она застонала.

— Тетка Олена, я вам хлеба принес.

Хлеб. Уже два дня у нее крошки во рту не было. Ни хлеба, ни воды. Голод еще не так чувствовался, но она умирала от жажды и там, на допросе у Вернера, и потом, лежа в сарае. Когда ее гнали по дороге, ей удалось несколько раз схватить горсть снега и донести до рта. Снег подкреплял ее, освежая пересохший рот. Но солдаты заметили и стали следить. Она стала хватать снег губами, когда падала на землю. Теперь она почувствовала, что голодна. Желудок сжимала нестерпимая судорога.

Она рассчитала расстояние от своего угла до того места, откуда звал мальчик, собралась с силами.

— Иду, — она осторожно поползла по глиняному полу, опираясь локтями, боком, чувствуя, что уже не может встать, не может подняться. Спина и бедра разрывались от пронизывающей боли, ноги ложило, словно по ним колотили дубовым колом.

Олена проползла шаг, другой, — и вдруг ее слух поразил оглушительный звук. Потом — тонкий, пронзительный крик. Она припала к земле. Только мгновение спустя она поняла, что это был выстрел, выстрел где-то совсем рядом. Женщина замерла с открытым ртом, напряженно глядя вперед, на черную стену, за которой что-то произошло. Послышался

скрип шагов по снегу, немецкая ругань, удар прикладом по чему-то мягкому. Подошел еще кто-то, теперь они кричали и ругались уже вдвоем. Она прислушивалась, не раздастся ли еще какой-нибудь звук. Но выстрел был, по-видимому, меткий.

Только теперь на ней внезапно сказались муки этих двух дней, нечеловеческая усталость, беспредельное напряжение нервов. Она почувствовала, что все вращается, кружится под ней, пол колеблется, и она неудержимо летит в пустоту.

Выстрел и крик слышны были далеко. Их услышали и в соседней избе, где уже целый час три головы прижимались к окну и три отгоревшие дыханием кружка давали возможность увидеть темные очертания сарая. Маленькая Зина заплакала.

— Мама, Мишка? Мама, Мишка!

Мать сжала ее руку так, что девочка вскрикнула от боли.

— Молчи!

— Мама, Мишка! Что они сделали? Мама?

— Не слышишь? Убили нашего Мишку,— глухим голосом сказала женщина.

Восьмилетний Саша оторвался от окна.

— Мама, я отнесу тетке Олене хлеба.

— Никуда ты не пойдешь. Теперь уже они до самого утра будут сторожить,— глухо ответила женщина. Помолчав, она промолвила:

— Да и хлеба больше нет. Ни кусочка, ни крошечки. Миша взял последнее.

Мальчик опять подошел к окну и выглянул. Но отсюда ничего не было видно. Ворота сарая были закрыты, а за ним все было скрыто глубокой тенью.

Мишка лежал у стены сарая. Пуля попала в спину под лопаткой и прошла навылет. Он едва успел крикнуть. Солдат пихнул сапогом тело ребенка, и из маленького кулачка выпал ломоть хлеба.

— Хлеб принес, скотина,— сказал солдат и еще раз толкнул ногой безжизненное тело.— Хотели накормить бабу...

— Ишь, как подобрался, мошенник...

— Еще минута и передал бы... Я гляжу, что-то маленькое лезет, и уже у самой стены. Как прицельюсь...

— Меткий выстрел.— похвалил его другой, глядя на коричневое пятно, проступившее сквозь серую шерсть домотканной рубашки.

— Еще бы! Уж глаз у меня верный! А что с ним теперь делать? Оставить здесь? — Подожди, зачем здесь? Давай бросим в ров.

Эта мысль обоим понравилась. Они схва-

тили ребенка за ноги и потащили. Светлая голова колотилась о комья замерзшей земли. Солдаты раскатали тело и сразу же бросили в засыпанный снегом придорожный ров.

— Пусть тут лежит. Интересно, откуда он притащился.

— Капитан завтра расследует. Хотя черт тут узнаешь... Вся банда стоит друг за другом и молчит, как проклятая.

— Не беспокойся, наш капитан развяжет им языки!

— Пора бы. Я тебе прямо скажу, страшно здесь.

Высокий солдат оперся о винтовку и внимательно всмотрелся в лицо товарища. Не видно, не заметил в этом круглом лице приплюснутым носом ничего подозрительного.

— Страшно... А как хочется вернуться домой. Моему Михелю весной кончится десять лет... Два года его не видел, подумай,— двенадцать лет...

Второй сочувственно кивнул головой.

Они ходили взад и вперед перед домом, где помещался кабинет Вернера. В окнах горел свет. Канцелярия работала.

— Который теперь час? Пора бы нас сманить.

— Еще полчаса.

Холод давал себя знать все сильнее. Высокий немец чувствовал себя еще сноснее. Его голова под пилоткой была укутана шерстяным платком. Но низенький отчаянно тряс руками уши.

— Как эти люди здесь живут? Всегда такие морозы?

— Откуда я знаю? Наверно, всегда... Им что,— дикари...

— Видел радугу?

— Видел.

— Что это означает?

Высокий пожал плечами.

— Что ей означать? Должно быть, у нас бывает зимой радуга.

— Возможно,— согласился низенький, держа в ладони, и беспокойно оглянулся.

— Что там?

— Ничего, так смотрю.

Через минуту оглянулся и высокий, и свыругался от злости. Они уже знали по опыту, что стоит только раз оглянуться, пот уже так и тянет посмотреть еще и еще раз, и от этого охватывает все больший и больший страх.

Не сговариваясь, они ограничили свою прогулку несколькими шагами вдоль дома обратно.

Дверь открылась, их шли сменять.

— Кто стрелял? — спросил фельдфебель.

— Я,— вытянулся высокий солдат.— Арестованной хотели передать сквозь щель хлеб.

— И что же, Рашке? — заинтересовался фельдфебель.

— Я попал в него,— какой-то мальчишка, видно, кто-нибудь из соседей подослал.

— Где он?

— Мы бросили его в ров.

— Ну, пойдем, посмотрим.

Все трое направились ко рву.

— Вот здесь,— показал Рашке. Фельдфебель нагнулся ко рву.

— Здесь ничего нет.

— Как ничего нет? — рассердился солдат.— Франц, ведь мы его здесь бросили.

Фельдфебель подозрительно посмотрел на них.

— Послушайте, это еще что за история?

— Господни фельдфебель, клянусь вам,— ведь и свидетель есть,— вот тут мы бросили мальчишку, вот посмотрите, тут! — обрадовался Франц, заметив на снегу небольшое пятно крови.

Фельдфебель покачал головой, внимательно осматривая место.

— Полезли в ров, все следы затоптали... Хорошо вы караулили, нечего сказать! Кто-то из-под носа у вас утащил труп. Если он вообще был,— прибавил он строгим голосом.

Фельдфебель направился к сараю. Большое пятно рыжело на снегу, рядом лежал ломоть ржаного хлеба. На твердом снегу вырисовывались следы детских ног, прошедших по чистому, незатоптанному сугробу.

— Вот здесь... а потом мы сволокли его в ров... Вот посмотрите, виден след.

— Ну, да... — согласился фельдфебель. Все подтверждено, солдаты говорят правду.— Пойдемте, вы арестованы.— Они остолбенели.

— Арестованы?

— Ну, чего глаза вытаращили? Ты обязан охранять этот участок? Обязан. А на участке происходят вещи, о которых ты понятия не имеешь. Украдено тело преступника, а вы, два дурака, и не заметили. Хороша охрана! При такой охране нас могут вырезать по одному, постреливать головы, как воробьям...

Солдаты, повесив головы, шли за ним.

— Проклятое место,— пробормотал Рашке.

Фогель легко вздохнул, когда, наконец, распахнулась дверь избы и навстречу вырвались тепло, свет, человеческие голоса. Ров, снег и эта жуткая ночь, пронизывающая сердце ужасом — остались снаружи. Он забыл на мгновение, что арестован. Он был среди людей, ночь отступила, побежденная человеческими голосами, светом лампы.

— Придет капитан, распорядится, как с вами быть. Подождите здесь до утра,— сказал фельдфебель. Рашке и Фогель сели в уголке на пол. Было тепло, приятно. Рашке оперся головой о стену и сразу задремал. Но viņи не давали спать. С минуты он чесался в полусне, потом открыл глаза и выругался.

— Как раз, высписься... На морозе эти дрянн еще как-то успокаиваются, а теперь зато наверстывают за все время... Они придвинулись к печке, стащили с себя мундиры, рубашки и при красном свете пылающих дров принялись тщательно и трудолюбиво выскивать вшей в складках и швах грубого полотна.

Малючиха, тяжело дыша, сидела в избе на полу. Нелегко было проползти па животе по рву больше трехсот метров. Сто раз она зарывалась лицом в снег, чтобы ее не заметили немцы. Она стискивала зубы — будь, что будет. Она не оставит ребенка валяться во рву, как собаку.

Обратный путь был еще трудней. Маленькое тело сына давило на спину, соскальзывало в сторону, мешало двигаться. Она с трудом добралась до забора, с трудом выбралась из рва, пользуясь моментом, когда солдаты, разговаривая, приостановились у дома. И вот она, наконец, в избе, и маленький Мишка, прямой, вытянувшийся, лежит на столе. За это время он успел застыть на морозе, словно умер уже давно.

Дети обступили брата. В лунном свете, льющемся из окна, были ясно видны его светлые волосы, разметавшиеся вокруг лица, рот, широко открытый в последнем крике. Зина осторожно коснулась пальчиком пятна крови на куртке.

— Что это?

— Не трогай,— сурово сказал Саша.— Это сюда в него выстрелили, правда, мама?

— Сюда, сынок, сюда,— шепнула мать глухо, перебирая пальцами мягкие волосы Мишки.— Вот и нет его. Еще так недавно он прятал за пазуху ломоть хлеба для Олены и осторожно, на пыпочках, выходил из избы. Малючиха была уверена, что ему удастся, что он проберется к сараю. А вот вышло иначе.

— Не надо было пускать Мишку,— плаксиво сказала вдруг маленькая Зина.

— Надо было, доченька, надо было.— простонала мать глухо.— Ох, надо было, надо...

— Тетке Олене там не дают есть,— мужским низким голосом объяснил Саша.

— Да, сынок, да... — подтвердила мать. — В одном отряде с батькой тетка Олена... И вот как ей пришлось. Пропадет, ни за что теперь пропадет Олена...

— Может, я ей хоть картошки отнесу, с вечера в горшке осталась, — сердито буркнул Саша.

— Нет, сынок, теперь уж никому не пробраться к сараю, уж они теперь во все глаза смотрят... Пропадешь без пользы... Видишь, вот, казалось, что никого нет у сарая, а Мишку углядели...

— Меня бы не углядели, — упирался Саша.

— Глупо ты говоришь и даже пехорошо... Когда уж Мишка не прошел, значит, там никому не пройти, никому...

Саша умолк. Мать глядела на лицо убитого и мягко гладила его волосы.

— Ну, где же мы его похороним? Утром они начнут шнырять, искать. Отнимут, если найдут.

— В саду похоронить... — предложил Саша.

— Как можно в саду? Услышат, выследят... Да и земля жесткая, как камень, могилы не выкопаешь, разве только снегом забросать...

В полной беспомощности они стояли вокруг стола, на котором лежал убитый.

— Что же делать?

— Надо в избе похоронить, — шепнула Малючиха.

— В избе? — удивилась Зина.

— А где же? Будет лежать в своей избе, останется с нами... Больше ничего не сделаешь...

— Здесь в избе?

Она беспомощно оглянулась.

— Нет... В сених можно...

Они вышли в сени. Сени были маленьке, тесные. Малючиха рассматривала глиняный пол.

— Вот здесь будем копать. Дай, Саша, лопату, вон она за дверьми стоит.

Она перекрестилась, наметила очертание могилы и налегла ногой на лопату.

Земля была жесткая, утоптанная за много лет множеством ног. Лопата не шла, земля упорно сопротивлялась. Женщина быстро запыталась.

— Теперь ты, Саша...

Он упрямо копал, высунув от усилий язык. Зина, присев на корточки, отгребала руками землю, набивавшуюся ей под ногти.

Так, сменяя друг друга, они рыли, упорно пробивая затвердевшую землю. Когда они пробили верхний слой, пошло легче. Наконец, неглубокая могилка была готова.

— Ну, дети, надо его одеть... Ох, без гроба придется Мише лежать в земле.

Она зачерпнула ковшем воду из ведра и принялась мыть лицо, окровавленную грудь, худенькую спину сынишки, на которой лопаткой зияло круглое отверстие. Потом вынула из сундука чистую рубашку и с трудом потянула рукава на окоченевшие холодные руки.

— Вот какие похороны...

Зина всхлипнула.

— А ты не плачь. Миша помер, как крас поармейцы помирают, понимаешь? Помер о немецкой пули, когда правое дело делал, понимаешь?

Она говорила Зине, по говорила и самой себе. Рыдания подступали и к ее горлу, и она боялась, что не выдержит, что упадет на колени у тела сына и завоет, как зверь, и будет выть по всю деревню о смерти сынишки, которого она родила, кормила, холила десяти лет, чтобы он теперь погиб от немецкой пули.

— Отец ему говорил, когда уходил с партизанами: ты же, смотри, не осрами меня здесь. Вот он и послушался отповеского приказа, не принес срама своим... Понимаешь?

Они разостлали в яме льняную холстину, положили на нее убитого, завернули в нее.

— Это чтобы ему земля в глаза не сыпалась, — сказала мать.

— Чтобы ему в глаза не сыпалось, — тоненьким голоском повторила Зина.

— Возьми, дочка, горсточку земли, брось на брата, — сказала Малючиха. Зина присела на корточки, подняла комок бурой глины и бросила на холстину. За ней Саша. Мать сбрасывала землю лопатой, засыпала яму, пока не исчезла белая холстина, пока могилка не сравнялась с полом, пока над ней не вырос небольшой холмик.

— Надо утоптать, — сказала женщина. — А то заметно, — придут, разроют.

Все трое принялись утаптывать. Малючиха утаптывала землю шаг за шагом, аккуратно, тщательно. И думала, что вот, вопреки обычаям, вопреки собственному сердцу, она топчет сыновний гроб, чего никто и никогда не делает. Что вот она топчет светлую голову сына, его окровавленную грудь, его худенькие, мальчишечьи руки и ноги.

— Так надо, — громко ответила она своим мыслям, и маленькая Зина повторила, как эхо:

— Так надо...

— Хватит? — спросил Саша.

— Нет, сынок, нет... Земля еще мягкая, еще заметно. Топчи, топчи, пока совсем не сравняется.

Она старательно собрала оставшуюся землю, отнесла ее в избу и рассыпала у печки. Подкинула сени, потом набросала сверху стружек, соломиннок — как обычно на полу в сенях.

— Не видно?

Сама внимательно всмотрелась.

— Нет... Да еще днем, когда будет светло, можно поправить.

Малючиха долго глядела на эту странную лепилку сына, усеянную соломинками и щепками. От Миши и следа не осталось. Бывало, умрала деревенские дети. И у каждого был в свой гробик, и могилка, поросшая зеленой травой. А от Миши не осталось ни следа.

— Идите спать, дети, — сказала она.

— А ты?

— И я пойду.

Но она не спала. Она думала о Мише, думала о муже, который ушел с партизанами. В армию его не взяли: еще в восемнадцатом году он потерял два пальца и был признан негодным. А партизаны не смотрели, есть пальцы, нет пальцев. Для них он был годен.

Придет Платон, спросит, где Мишка. Он всегда был его любимцем. Что же она ответит мужу? Лежит, мол, Миша в сенях, под глиняным полом, с немецкой пулей в сердце?

И все же она знала, что Платон выслушает эту повесть спокойно, что он скажет то же, что сказал, когда немцы входили в деревню, а он вместе с другими, с узелком за плечами, уходил отсюда далеко, в леса, где мог укрыться отряд:

— А ты, старуха, держись. В случае чего, хватай кол, топор, что попало, ну, только не давайся. Теперь такое время, что всем приходится воевать. Старикам, бабам, да что там. — детям!

Платон скажет:

— Что ж, наш Миша погиб в борьбе с немцами. Не реви, старуха, за родину погиб, понимаешь?

И Малючиха не плакала, глядя широко открытыми глазами на двери, за которыми скрывались сени и там под полом могилка сына.

На улице часовые все еще обсуждали точные события.

— Дьявольские места. Кто его мог взять? Рашке говорит, что они ничего не слышали. А ведь снег скрипит при каждом движении.

— Кто может знать, — мрачно пробормотал другой. — Разве тут поймешь что-нибудь?

И они все чаще озирались.

Казалось, вот закрипел снег, явственно закрипел, вот уже слышны шаги. Оглянешь-

ся — и ничего нет. Вокруг луны стал вырисовываться туманный светящийся круг. Световые столбы, колонны триумфальной арки медленно угасали, меркли.

— Вроде потепело, — заметил один из солдат.

— Куда там потепело! Я только и жду что у меня уши отвалятся. На воздухе еще ничего, но как войдешь в избу, посидишь в тепле, ну, как огнем жжет.

— Отморозил, наверно.

— Конечно, отморозил. И ноги тоже болят. Начнется оттепель, будем живьем гнить.

— Тебе же лучше, — отправят в госпиталь.

— Да, как раз отправят! Малера отправили? А у него ноги черные, как железо.

Кайма вокруг луны все расширялась, густела, выделяясь молочной голубизной на прозрачном небе.

Они ходили взад и вперед по улице.

— А та баба все еще в сарае?

— Там.

— Замерзнет к утру.

— Если потеплеет, не замерзнет.

— Паршивая работа — мальчонка, баба...

— А ты чего бы хотел? Этакая баба так тебя двинет в бок, что идохнуть не успеешь... а хуже всего мальчишки. Всюду пролезет, всюду вотрется. Их сюда шпионить присылают.

Они помолчали минуту.

— Я бы это все иначе... Вроде, как капитан в той деревне, помнишь?

Бурносый кивнул головой.

— Видишь ли... Никогда они не станут на нас работать, уж я их знаю. В конце концов их все равно придется уничтожать, так уж лучше сразу. Было бы много спокойней.

— Всех?

— Всех. Ты же видишь, что это за люди. Совсем маленькие дети, и те сагитированы, нам уж их не перевоспитать. Да и зачем — напрасный труд. Это — другие люди и такими уж и останутся.

Солдат вздохнул и ничего не ответил.

Радужные столбы погасли. Ветви на деревьях зашелестели. С них посыпался мелкий снег. Месяц заволоклся туманом и сквозь него светил тускло и бледно.

Снег под ногами скрипел, но уже не издавал скрежета. Погода молниеносно менялась. Стекло прозрачности неба заволоклось серым дымком, ветер усиливался, поднимая в поле длинные бичи снега.

Издали от засыпанной снегом равнины приближался, парастая, странный шум.

— Что это?

Они остановились, прислушиваясь. Шум усиливался, рос и вдруг обрушился на деревню протяжным воем. Деревья закачались, затрепетали всеми ветками. Ветер рвал с земли снег, разбрасывал его, метал им по воздуху, отовсюду сыпалась серебристая сухая мука. Часовые едва передвигались, согнувшись, выставляя вперед головы. Когда они поворачивали и ветер дул им в спину, идти было легко, — их несло, как на крыльях. Но ветер непрестанно менял направление, кидался справа, слева, пересекал дорогу, вздымал из снега высокие столбы, вытягивал их ввысь и вдруг обрушивал на землю, рассыпая белым пухом.

— Ну, и зима! Теперь пачинается метель. В такую вьюгу и не увидишь ничего.

П оба, как по команде, оглянулись через плечо. Но дорога была попрежнему пустышна.

III

«Дорогая моя Луиза...»

Капитан Вернер поднял глаза от письма и засмотрелся в окно. За окнами бесновалась вьюга. Казалось, что идет снег, но это только ветер поднимал вверх белые сугробы, разносил их в клочья, засыпал кусты, колотил снегом в стекла, пронзительно воя. Ветер свирепствовал по широким белым равнинам, кренчал, бил крыльями о землю и штурмом обрушивался на деревню так, что избы тряслись.

Тоска заливала сердце Курта Вернера. Нечем было дышать. Все потонуло в снеговых омутах, в летучем, мелком, как песок пустыни, снегу. Ему вспомнился дом в Дрездене. Что-то там теперь делают дети, жепя? Давно он их не видел. Когда ехали из Франции, он надеялся, что удастся завернуть на дедку домой. Но их только провезли через Германию в безумной спешке, не позволяя выходить на остановках. За окнами вагона только мелькнул родной город. И вот теперь страшно захотелось, хоть на несколько минут, зайти домой. Там не воеет ветер, не грозит таящаяся в морозных оврагах смерть. Там они сидят за столом, пьют кофе. Тепло, уютно. Луиза улыбается, подает пухлыми руками чашку. Когда же, наконец?

Его охватила глухая злоба на все и на всех. На Пусю, которая вечно капризничает, спит до полудня, жалуется на скуку, но которой даже в голову не приходит прибрать постель, комнату. Он с отвращением вспоминал небубранную кровать, окурки на полу, валяющиеся на столе среди хлеба и масла щипцы для волос, ножницы для ногтей... Его

охватила злоба на собственных солдат, — тупых, вшивых, обмороженных. И страшная злоба на эту деревню, где приходится сидеть вот уже целый месяц, мрачную, притаившуюся деревню, где люди проходили мимо не глядя в землю, а он все же знал, что в глазах каждого таится ненависть и что никакими силами от них не добиться того, что ему нужно, — страха и покорности.

— Я вам еще покажу, — бормотал он сквозь стиснутые зубы. Его взгляд упал на белый лист бумаги. Он наклонился к столу и стал быстро писать. Так быстро, что мелкие капельки чернил разбрызгивались кругом.

«Я считаю дни, когда, наконец, буду опять с тобой. Мы идем вперед, Луиза, все время идем вперед по этой страшной, дикой, варварской земле, и наш поход скоро окончится полной победой».

Пусть Луиза радуется. Она не узнает, что они уже три месяца стоят на одном месте (ведь нельзя же принимать в расчет эту несчастную одну деревню), что уже три месяца их доминает ужасающий, беспощадный мороз, что в лесах и оврагах подстерегают партизаны, что солдаты с каждым днем слабеют, что из отряда, с которым он ехал из Франции, почти никого уже не осталось, что из дрезденских его приятелей уже никого, кроме Шмахера, нет в живых. Нет, этого она не узнает, да и откуда? А письмо с фронта должно наполнять бодростью, должно поднимать патристический дух.

«Зима здесь ужасна, мы не привыкли к таким морозам. Но нас согревает приказ Фюрера, и мы гордимся тем, что нам дано выдержать его великий плач, что нам дано служить величию Германии».

Он написал еще несколько фраз и перечел все с пачала. Да, это звучало неплохо, лучше, чем листки для солдат, которые присылали из Германии. Более мужественно, более убедительно.

В дверь постучали.

— Что там еще?

— Староста пришел.

— Пусть подождет. — Но раздражение мешало ему писать. Он быстро покончил с целыми и приветами, подписался и торопясь во вложил письмо в конверт.

— Ну, где он там? Пусть войдет.

Высокий сутулый человек появился в дверях.

— Вы посылали за мной, господин капитан?

— Посылал, посылаю...

Он вытянул ноги под столом и с минут

испытующе смотрел на стоящего перед ним человека.

— Когда, наконец, будет готов транспорт хлеба? — бросил он вдруг, быстро наклонившись вперед.

Староста вздрогнул и втянул голову в плечи.

— Я делаю, что могу, из кожи лезу,— нет хлеба...

— Как нет? В деревне триста домов, урожай в этом году был первоклассный, а хлеба нет? Попрятали!

Тот жалобно вздохнул.

— Паверняка, попрятали... По где? Что тут найдешь?

— Можно найти,— отрезал капитан.— Надо только поискать, как следует, господин Гаплик, как следует поискать... Садитесь-ка.

Староста осторожно сел на краешек стула.

— Я недоволен вами, абсолютно вами недоволен. Собственно, я даже не понимаю, зачем вас сюда везли... Я полагаю, лучше было бы найти кого-нибудь здешнего... Вы же за этот месяц даже с людьми не познакомились? Вам известно, кто у вас здесь живет в деревне?

В глазах старосты мелькнул радостный огонек, он поддакнул, торопливо кивая маленькой лысой головой.

— Конечно, не познакомился... Деревня большая, а со мной кто же станет... Здешнему было бы легче, конечно, ему было бы легче...

Капитан качался на стуле.

— Ага... вам, значит, не очень нравится ваш пост, а? — коварно спросил он.

Гаплик вертел в руках шапку и молчал.

— Так, так... Вы все же не забывайте, что там бы вас расстреляли красноармейцы, или,— еще хуже,— крестьяне закололи бы виллами... Вы обязаны жизнью немецким властям, и надо выполнять то, что они требуют.

Староста вздохнул.

— Без увлечения беретесь за дело, без увлечения... Большевики отняли у вас землю, держали вас в тюрьме, мы думали, что вы сделаете все, что в ваших силах. А на деле — ничего... Что моим солдатам удастся выжать из деревни, то мы и имеем, а результатов ваших усилий не видно... И свежий мы от вас почти не получаем.

— Об этой Костюк я ведь сообщил...

Он пытался спасти себя этим единственным своим успехом.

Вернер сморщился.

— Ну, ладно, а что еще?

— Об учительнице... — пробормотал Гаплик.

— Ну, да, об учительнице... Это весьма немного и притом еще нуждается в проверке.

— Здешнему было бы легче...

— Вы мне не морочьте голову здешними! Конечно, было бы легче, только откуда взять местного? Триста домов и триста семей в колхозе! Ни одного единоличного хозяйства! Земля, отобранная у помещиков, а люди,— сами знаете... Голытьба, которая благодаря большевикам дорвалась до земли! Откуда вы тут возьмете человека? — рассердился Вернер и стукнул кулаком по столу.— Вы должны постараться, не то я за вас возьмусь иначе, Гаплик! Даю вам три, ну, так и быть,— четыре дня, и чтобы хлеб был! Армия не будет подыхать здесь с голоду из-за того, что вы не умеете справиться с мужиками.

— Сам я ничего не сделаю,— мрачно сказал староста.— Пужна помощь армии...

— А разве я вам отказываю в помощи? Нужно будет помочь,— помогу, но сами-то вы тоже думайте о чем-нибудь.

Маленькие глаза старосты повеселели.

— Так я обдумую план, дам вам на утверждение...

— Хорошо, хорошо, только не слишком долго обдумывайте... Помните, четыре дня. И с этим мальчишкой... Виновики должны найтись, должны, иначе отвечать будете вы. На это я вам тоже даю четыре дня!

Он отвернулся к окну. За стеклами бесповалась вьюга, кружились снег. Гаплик понял, что аудиенция окончена. Он изко поклонился квадратной спине капитана и вышел.

Только на улице он решил надеть шапку. Он шел, втянув голову в плечи, и безнадежно думал о том, как распорядиться, чтобы, наконец, выжать хлеб из деревни. В спешном омуте он едва не наткнулся на идущего навстречу человека. Впезапно очнувшись от пазойлвых мыслей, Гаплик испуганно отскочил. Седой старик внимательно вгляделся в него и, узнав, демонстративно сплюнул, сворачивая с дороги к избам.

Добравшись до дому, Гаплик торопливо вытащил из ящика бумагу и, согнувшись над столом, принялся писать проект приказа. Он нагнул голову то на правую, то на левую сторону, перечеркивал, вздыхал. Ему мешали шумящий за окнами ветер, пазойливое воспоминание о строгом голосе капитана и не менее страшное воспоминание о лицах здешних крестьян. Он потел, тер свою лысую голову. Он должен, наконец, сломить сопротивление деревни. Это его последняя ставка.

А деревня лежала тихая, молчаливая, в гучах погоняемого ветром снега. Люди сидели по домам, слушая, как воет ветер за окнами. Только старого Евдокима Охабко так замучило одиночество, что он, не глядя на вьюгу, решил пойти к соседям. Сопrotивляясь беснующемуся ветру, он пробрался вдоль плетня и долго отряхал перед порогом снег с ног. Евдоким постучал и, не ожидая ответа, открыл дверь в избу. На него взглянули три пары остановившихся от ужаса глаз.

— Как живете?

Малючиха ловила губами воздух. Ее сердце бешено колотилось.

— Это вы, дед Евдоким?

— Не видите, что ли, что я? Чего это вы так перепугались?

Она не ответила. Старик остановился, опираясь на палку.

— Садитесь не приглашаешь? Новые порядки заводите, а?

— Лучше у нас не садитесь, лучше к нам и не заходить вовсе,— сказала она тихо.

— Почему же так?

Она пожалала плечами. Старик махнул рукой и сел на скамью под окном.

— Да ты, Галя, одурела, что ли? Что вы так сидите? Где Мишка?

Маленькая Зина вдруг разревелась во весь голос.

— А ты чего?

— Тихо, Зина, не плачь,— сурово сказала мать.

Евдоким почесал голову.

— Метель такая, что просто страх, изба трещит, скучно одному сидеть... Дай, думаю, к соседям зайду...

— Соседи-то мы, дедушка, сейчас такие...— вздохнула Малючиха.

Он оперся подбородком на скрещенные на палке руки и внимательно взглянул из-под нависших бровей на Малючиху.

— Да что, у вас случилось что-нибудь, что ли? Где это у вас Мишка бродит в такую вьюгу?

— Нет Мишки, дедушка...

— Как нет? Куда же он пошел?

— Никуда он не пошел... Застрелили у нас пемпы Мишку нынче ночью.

Старик вздрогнул.

— Застрелили Мишку? Что ты говоришь, жепщина?

Она до хруста заломила руки.

— Слышите, ведь... Пошел отнести Олене хлеба в сарай, они его и застрелили...

В серых глазах старика она прочла вопрос.

— Нет, пемцам я его не оставила, не! Вытащила изо рва, на собственной спине демой приволокла... Мы его похоронили так, что никто теперь не найдет...

— А они знают, кто?

— Откуда им знать? Убили да и бросили ров, как собаку... Теперь, наверно, искать будут, но пока все тихо. Когда вы постучали я уж думала — идут.

Он покачал головой.

— Так оно, значит... Сколько народу пропадает... Детиншек... А ты, Сашко, запомни это, хорошенько запомни...

Малычик молча кивнул головой.

— Придет отец, придут другие, чтобы ты все рассказал, все...

— Что они сами не знают? — сухо сказала женщина.

— Знать-то они знают... Ну, а все-таки, одно к одному прибавляется, одно за другим... Платон раньше за других им метил, а теперь придется и за своего сына отомстить...

— Все равно... — тихо сказала Малючиха.

— Конечно, конечно, все равно... А все-таки сын — это сын. Вот моего они в восемнадцатом году убили... Все я им помню, а уже это пуще всего. Все-таки, чем ближе к сердцу, тем больней. Остался я, как старый сухарь, никому ни к чему... А так и внучата бы были, и в избе веселей...

— Внучат у вас пелая деревня, дедушка

— Оно, конечно, вроде и так, а все же родные — дело другое...

— В рельсу бьют, собранье...

Малючиха побледнела.

— Не иначе, как о Мишке допрашивать будут...

Старик махнул рукой.

Удары в рельсу продолжались, она звенела, как колокол.

— Что ж, надо собираться, не то придут выгонять, — пойдем, дедушка?

— Пичего не поделаешь, пойдем, — он встал, тяжело опираясь на палку.

— А ты, Сашко, никуда не ходи, смотри за Зинкой. Как только кончится, я прибегу. Они медленно брели по дороге в клубах мелкого снега, кружащегося в воздухе. По обеим сторонам ульины открывались двери изб, на дорогу выходили женщины, девушки, старики.

— Не знаете, что там такое?

— Откуда мне знать? Столько же знаю, сколько и вы. Слышу, барабанят в рельсу, вот и все.

— Господи, и что только будет? — тяжело вздохнула какая-то женщина.

— А ты не стони,— сурово ответила, проходя мимо, Федосия Кравчук.— Еще и не знаешь, что и как, а уж застонала...

— Да, милая моя, добра от них не будет...

— А ты от них добра захотела? Тоже! Только и жди!..

— В том все и дело...

— А раньше времени вздыхать нечего. И раньше нечего, и после нечего,— сказала Федосия. Никто не ответил. Все знали, откуда появились жесткие линии в углах ее губ. Кто-то, а она каждому имела право ответить, что не время стонать. Она-то не стонала.

Из клубов снега появлялись темные застывшие фигуры. Народ со всех сторон собирался в школу. Так они привыкли называть это место.

Здание было просторное, с высокими потолками, с белыми кафельными печами. Комнаты были большие, веселые. Только шкалы здесь уже не было. Столы и скамьи немцы врубили на топливо, сорвали со стен карты, разбились шкафы с наглядными пособиями, изорвали картины и портреты. Большой школьный зал дышал пустотой и холодом. Народ сходился сюда, заполняя зал толпой детей в темное стариков и жещиц.

Одна Маланга Вышнева стояла в стороне. Довно невидимая граница, которой никто не смелся переступить, отделяла ее от толпы. Мертвенно бледная, она стояла у стены, безумными глазами глядя в одну точку.

Гаплик сидел за маленьким столиком на целевшем возвышении. Зевающий фельдфель равнодушно оглядывал собравшихся.

— Все здесь? — спросил Гаплик, приподняв из-за стола свое длинное, худое тело.

— Все,— пробормотал кто-то у дверей. Староста собрал со стола бумаги, потом пожелал их зачем-то обратно и перелистывал легка дрожжащими руками.

— Что-то боится, плешивый,— прошептал кто-то в толпе.

— Как же ему не бояться, знает, небось, придут наши, они с него живьем шкуру спустят...

— А не то мы его сами еще раньше так сделаем, что больше не захочется старостой быть!

— Молчать! Что за разговоры! Собранье началось! — рассердился Гаплик, обводя глазами толпу.

— Не видно, чтоб началось,— пробормотал Евдоким.

— Да что ты! Господин староста изволил прибыть, барин его тоже тут, чего же тебе еще надо? — удивился кто-то.

— Молчать! — не своим голосом заорал Гаплик.— Сколько раз говорить! Что за перешептыванья?

— Тихо, бабы, тихо, послушаем, что скажет,— энергично вытирая нос, вмешалась Терпилиха.

Гаплик несколько раз откашлялся, поднял к глазам листок бумаги, вынул из кармана очки в проволочной оправе, падел их на нос.

— Ого...

— По бумажке читать будет...

— Новый указ, видать...

Староста еще раз откашлялся и тонким, пискливым голосом начал:

«До сих пор еще жители не внесли назначенного им натурального налога, то есть хлеба».

По толпе пронесся ропот и тотчас смолк.

«Предупреждаю, что срок сдачи налога папурой, то есть хлебом, по ранее объявленным нормам кончается в течение трех дней с момента объявления настоящего постановления».

Снова раздался ропот.

«Кто в течение трех дней не исполнит своего долга по отношению к германской армии, будет приговорен...»

На мгновение он остановился. Взглядом изпод очков торжествующе окинул толпу.

Наконец-то водворилась полная тишина и все глаза были устремлены на его губы.

«Будет приговорен, согласно предписаниям о невыполнении распоряжений властей, работае, активном и пассивном сопротивлении...»

— Знаем, знаем,— громко сказал вдруг кто-то подчеркнuto спокойным, пренебрежительным тоном. Фельдфельбелъ приподнялся из-за стола и стал усиленно всматриваться в угол, откуда донесся голос. Но там все стояло спокойно, не сводя глаз со старосты.

«Будет приговорен,— Гаплик повысил голос и словно захлебывался от радости,— будет приговорен к смертной казни».

— Все слышали?

— Все,— отвечал кто-то из толпы.

— Все поняли?

— Поняли, еще как поняли,— сказала Терпилиха, стоящая у самого стола.— Поняли, как надо.

Гаплик подозрительно взглянул на нее. Но она смотрела ему прямо в глаза, спокойно, с серьезным и строгим лицом.

— Ну, когда так, хорошо...

Толпа зашевелилась, кое-кто направлялся уже к дверям.

— Вы куда это?

— А разве не кончено?

— Есть еще одно дело,— строго сказал староста, и Малючиха почувствовала, что у нее снова заколотилось, затрепетало в безумном страхе сердце.

— Дело такого рода...

Крестьяне напряженно ждали.

— Сегодня ночью кто-то пытался передать хлеб арестованной преступнице.

Малючиха вцепилась в руку соседки. Чечор удивленно взглянула на нее.

— Что с тобой?

— Ничего... Ничего...

Не выпуская руки Чечор, она с трудом левила воздух.

— Хлеб пытался передать мальчик лет десяти.

В толпе зашептались.

— Потихе! Мальчик лет десяти. Преступник застрелен.

Чечор окинула испытующим взглядом смертельно побледневшее лицо Малючихи и торопливо схватила ее руку другой своей рукой. Она тихо погладила пальцы женщины, влипшиеся ногтями в ее ладонь.

— Сдержись, кума! А то он заметит,— шепнула она на ухо Малючихе.

Но Гаплик не смотрел в залу. Он гнусаво читал:

— Тело малолетнего преступника было похищено и скрыто неизвестным злоумышленником. Кто знает что-либо о личности преступника, о виновниках похищения трупа, должен явиться к дежурному в немецкую комендатуру и сделать сообщение.

Гаплик поднес бумагу поближе к глазам, оглянувшись на сидящего рядом с ним фельдфебеля, кашлянул. Фельдфебель встал, протискался сквозь расступающуюся перед ним толпу к выходу и выглянул в сени. Все увидел, что там стоят солдаты с винтовками. Над дулами поблескивали штыки. Люди переглянулись. Шопот и разговоры утихли.

— Ради обеспечения порядка и для гарантии понятии злоумышленников немецкая комендатура распорядилась...

Крестьяне замерли в ожидании.

— Задержать в качестве заложников следующих жителей деревни...

Все головы наклонились вперед. Евдоким приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать.

— Следующих жителей деревни: Палапчук Ольгу...

Молодая девушка у дверей шагнула вле-

ред. Ее рот приоткрылся, словно для крика, но она не издала ни звука.

— Охавко Евдокима...

Евдоким посмотрел на стоящих вокруг: го людей, словно удивившись.

— Грохач, Осипа...

Коренастый, безногий крестьянин мраморно живнул головой.

— Чечор Марию...

Малючиха выпустила руку соседки и ужасом поглядела на нее.— Ничего, Гаплик ничего... Возьмешь к себе мою мелкоту тихо сказала ей Чечориха.

— Вышневу Маланью...

Девушка даже не оглянувшись, продолжала неподвижно глядеть в одну точку.

Вдруг старосте пришлось в голову, что заложников можно использовать и для получения хлеба. Расстрел расстрелом, а ведь найдется кто-нибудь, кто не боится собственной смерти, но отступит перед тем, что погубить чужую жизнь,— он объявил:

— Если в течение трех дней виновник не будет пайден, если в течение трех дней не начнется поставка хлеба, заложники будут повешены.

Толпа заколыхалась, снова пронесся толкотня.

— Кончено, можно уже идти? — спросил вдруг Федосия Кравчук.

— Собрание кончено. Прошу расходиться за исключением тех, чьи фамилии я перечислял.

Крестьяне один за другим направлялись к дверям. Шестеро заложников, не ожидая приказа, выстроились около стола. Люди шли мимо, одни с опущенными головами, другие — прямо глядя им в глаза.

Школьный зам быстро опустел, но народ не расходился. Несмотря на снежную вышивку люди в ожидании стояли на улице. Из сени вышли Гаплик и фельдфебель, за ними шестеро заложников, конвоируемых солдатами Чечориха и Ольга Палапчук шли объявившие Евдоким стучал палкой о землю. Они медленно проходили перед молчаливой толпой. Вдруг Чечор обернулась.

— Ничего это, держитесь, не подавайтесь! О нас не думайте! Держитесь! — крикнула она ясным, сильным голосом. Иду рядом солдат толкнул ее кулаком в грудь. Она пошатнулась и, выпрямившись, с высоко поднятой головой пошла дальше.

Медленно, в мрачном, непримиримом и мрачном толпа расходилась. Гаплик почти жал, стараясь поспеть за крупно шагающим фельдфебелем. Ни за что на свете он остался бы сейчас один. Собственно гово-

он впервые с момента назначения его старостой выступил так решительно,— прочитал приказы, так непосредственно бьющие по деревне.

Он вспоминал лица крестьян, и холодная дрожь пробежала по его спине. Но еще больше он боялся капитана Курта. Деревня оставалась деревней,— толпой женщин, детей, стариков. А капитан Вернер был представитель немецкой власти, и его слова опирались на винтовки и штыки.

— Немцы победят,— твердил он себе, но в это не утешало, пока приходилось жить в этой деревне, где в каждом доме мог скрываться его убийца.

Он тяжело вздохнул и пошел к коменданту доложить о собрании. Крестьяне тоже расходились по домам. Малючиха шла едва живая от страшного волнения. Земля колебалась под ее ногами, сердце мучительно сжималось.

Саша забавлял Зипу, раскладывая перед печью палочки. Она взглянула на светлые головки детей, и боль в сердце стала еще острее.

— Ну, как? Зина была умница?

— Умница... Кончилось собрание?

— Кончилось... Я забегу еще к Чечорам, сейчас вернусь.

— А зачем тебе к Чечорам?

— Чечориху немцы арестовали, надо ребятшек забрать,— сказала она глухо. Саша поднял голову от палочек.

— Арестовали? Почему?

— Что ты немцев не знаешь? — ответила Малючиха неопределенно и вышла. Скоро она вернулась с тремя малышами. Самой старшей было лет восемь, как и Саше.

— Мама, мама! — кричала из всех сил трехлетняя Нина.

— А ты не плачь, придет мама. Придет,— успокаивала ее женщина.— Садитесь-ка, сейчас дам вам поесть.

Она вытащила из-под печки спрятанную там картошку, старательно обмыла ее и поставила варить нечищенную, чтобы ни одна крошка не пропала. Кроме этой картошки и чуточки ржи, спрятанной на чердаке, в избе ничего не было. Хлеб, картошка, сало, боченок меда,— все было закопано в землю далеко от дома, заморожено, завалено снегом, добраться до этих запасов было невозможно.

— Поедите картошки, больше ничего нет. Вот, нани придут, тогда хлеба испечем.

— Одна картошка,— печально протянула Зина.

Малючиха обрушилась на нее:

— А ты чего хочешь? Хорошо, что хоть

немного картошки-то есть... Смотрите, какая привередливая.

Она гневно взглянула на дочурку, и вдруг ей бросились в глаза маленькие худые ручки ребенка, жалобные морщинки в углах рта. Ее охватила нестерпимая жалость.

— Не реви, не падо! Наши придут, все переменится. Испечем хлеба, помажу вам его медом, будете есть. А теперь хватит и картошки...

— Конечно, хватит,— сказал грустно Саша, и Зина торопливо повторила:

— Конечно, хватит...

Малючиха растапливала печь, разговаривала с детьми, но ничем не могла заглушить возрастающее беспокойство. Вещи падали у нее из рук, она забывала, о чем только-что говорила, пододвигала Зине уже объеденную картофельную шелуху, пролила воду. Дети удивленно поглядывали на нее.

— Что с тобой, мама? — спросил, наконец, Саша. Она испуганно посмотрела на сына.

— Ничего, сынок, ничего... Что же смой может быть?

— Голова болит?

— Голова? Да, да,— торопливо ухватилась она за это объяснение.— Голова-то у меня болит.

— От этого собрания,— серьезно решил Саша.

— Ну да, от собрания... Душно очень, столько народу было... Наверно, от этого.

Дети удовлетворились этим объяснением и занялись своими делами. Малючиха мыла миску и украдкой поглядывала на играющих у печки детей. У нее зябли руки, сердце разрывалось от волнения. Три темные головки — трехлетняя Нина, пятилетний Оська, восьмилетняя Сося. Мелкота... Сам Чечор в армии. Беспокойство жгло ее, грызло, давило сердце. Малючиха то и дело выглядывала в окно.

— Кто-нибудь идет?

— Пет, сынок, нет, мне бы падо сходить, я сбегаю ненадолго...

— Все ходишь и ходишь,— собралась заплакать Зипа.

— А тебе что? Налю, и иду. Зря по деревне пе бегаю,— рассердилась мать.

— Платок-то возьми,— напомнил Саша, видя, что она направилась к дверям, как стояла, в одном платье.

До избы Грохачей было не близко. Вьюга била в лицо, сыпучий снег резал щеки, как

мелкое стекло. Она добралась до Грохачей, едва переводя дыхание. Перед воротами она остановилась, говоря себе, что незачем входить в избу в таком виде. Но на самом деле ей хотелось отдалить момент, когда придется поглядеть в глаза семье Грохача. Они теперь сидят, наверно, в опустевшей избе и плачут кровавыми слезами,— жена и две дочери человека, который все равно, что уже висит в петле.

Но со двора доносился визг пилы, и Малючиха изумилась. Кто же это работает у Грохачей в такой день?

Жена Грохача со старшей дочерью, высокой черноглазой Фросей, нилила у сарая дрова. Она, в свою очередь, удивилась, увидев входящую. За это время мало кто ходил друг к другу. Каждый сидел в своей избе и ждал, что еще могут выкинуть немцы.

— Я бы хотела поговорить с тобой, кума...

— Что ж, почему не поговорить,— ответила та, выпрямляясь.— Зайдем-ка в избу.

Малючиха взглянула на сидящую у окна младшую дочь Грохача.

— Мне бы надо с глазу на глаз...

— С глазу на глаз? — удивилась хозяйка.— О чем же это таком? Ну, что ж, Лида, иди-ка, попили немного, мы тут поговорим.

Девушка сложила рубашку, которую чинила, воткнула иглу в грубое полотно и молча вышла. Глаза у нее были опухшие от слез.

Малючиха присела на скамью, нервно ломая пальцы. Хозяйка молча смотрела на нее.

— Вьюга на дворе,— сказала она, наконец.

— Вьюга,— машинально повторила за ней Малючиха, и снова воцарилось молчание.

На гвозде над кроватью висела куртка Грохача. Малючиха смотрела на эту куртку. Оборванный карман, заплаты на спине и груди. Одна пуговица едва держится, повиснув на нитке. Рабочая куртка.

— Ты что мне хотела сказать? — потропила, наконец, хозяйка.

Малючиха измученными глазами посмотрела на нее.

— Твоего-то забрали...— прошептала она.

Женщина нахмурилась.

— Забрали... Что же поделаешь, забрали... Такая, видно, судьба. Может, еще вернется. Ты об этом хотела поговорить?

— Как сказать, и об этом, и не об этом...

— Об этом что же говорить? Меня сперва так схватило за сердце, думала, вот свалюсь на месте и помру. А потом пришла домой, думаю: берись-ка лучше, баба, за раббгу, все легче будет. Дров напилла с Фроськой. Лбом стену не прошибешь, а сидеть и пла-

кать — пользы мало. Сегодня он, завтра дугой, если это надолго затянется, все равно тут никто жив не будет, это уж сейчас сказать... По-одному всех переключают.

— Может, не затянется.

— Я и говорю — если затянется. До сих пор ничего не слышать. Чуть что, а мне уже кажется: стреляют, пани идут. Сколько времени прошло? Месяц. А словно уже не. И сколько людей пропало... Староста-то, когда моего вычитывал, поглядел на меня. А думаю: глядишь, ждешь, чтоб заплакала, и вот не дождешься, нет! Уж я перед тобой собачье семя, плакать не буду. Придет время заплачешь, кровавыми слезами заплачешь. А деревенские бабы, это — крепкий народ, ничем ты их не возьмешь...

— Кума...

— Чего? — удивилась та.

Малючиха поднялась со скамьи и лишь чуть не до земли, поклонилась хозяйке.

— Да ты одурела, что ли? Что ты делаешь?

— Кума, это моего Мишку немцы сегодня ночью убили...

— Мишку?..

— Это я его ночью вытащила из рва и похоропила... Это из-за меня твой и те другие сидят у немцев...— В ней дрожала каждая жилка, трясались и подгибались ноги. И сразу стало легче. Все уже было сказано. Хозяйка наклонилась вперед.

— А зачем ты мне это говоришь? На что это кому знать?

Малючиха не поняла.

— Как же? Твой-то ведь сидит... Я и говорю тебе, надо мне идти, сказать ихнему капитану, что и как. Пусть отпустит людей.

Женщина вскочила.

— Да ты, баба, белены объелась, что ли. Совсем голову потеряла? К немцам пойдешь?

— Рассказать, как было дело... Люди виноваты.

— А ты виновата? Что ж, надо было отвезти им мальчонку, а? Глядите, что за парашолел! Слабая в тебе совесть, не крестьянская, не бабья! То-то старосте радость! Столько шесть человек запереть, сразу и напелел кого они искали! А знаешь ты, дура этакая, что из этого выйдет? Дорогу им хочешь показать, способ против нас? Ты сегодня явнешся, а завтра,— пусть что случится,— оп не шесть, а шестьдесят человек заберут. Нишь, какая! У нас еще пока никто к немцам не иллся, так ей попадобилось...

— За меня сидят люди, за меня их...

— Не за тебя! За наше горе сидят, за наше несчастье, за войну, за немецкую морду

Мишку убили... Проды, в детей стрелять...

Малючиха стояла, оглушенная.

— Так ты, значит, думаешь...

— Что мне думать, думать мне нечего.

Иди-ка ты, баба, домой и словечка никому не пикини. Свои-то — свои, а зачем людей в некушанье вводить? О таких делах никому знать не надо. За наши за длинные языки-то нас и бьют, и будут бить. Иди домой и делай свое дело, да не сходи с ума!

— Твой-то...

— Ну, скажите, люди добрые! Да это мой мужик или твой? А я сижу молчу. Что будет, то будет. Суждено ему, так убьют. А нет, так будет жив. А уж если на то пошло, так, чем под немцем жить, я лучше скорей подохнуть...

— Не век нам под немцем жить.

— Да, милая ты моя, да, кабы мне это хоть раз в голову пришло, я бы и ждать не стала, — петлю на шею, да на гвоздь! А я, что бы ни было, знаю: нам тяжело, а им будет! ох, как им будет!

Лицо женщины пылало, глаза горели.

Малючиха вздохнула.

— Вы у меня все в голове перемешали...

— Видно, давно было перемешано... Господская у тебя совесть, п мысли глупые. А ты попроси, ты не о себе, не о себе думай, а обо всех. А как обо всех подумаешь, так и ясно: не имеешь права ничего говорить. Не имеешь права добровольно в немецкую петлю лезть! Ничего они нам сделать не могут, пусть мучают, замучают, застрелят... Один, другой пропадет, а на всех зубы поломают... Надо держаться, пока наши не придут, зубами и ногтями держаться...

Малючиха бессмысленно кивала головой. Ее охватила слабость, покинули все силы. Ей хотелось сесть, сесть не на лавку, а на пол и заплакать горькими слезами. О Мишутке, о Грохаче, о тройке малышей, что осталась в избе под присмотром Саши, о Васе Кравчуке, лежащем в овраге, о молоденьком Пашуке, застреленном у этого оврага, о парне на висельнике, обо всей деревне, и о тех юншах, что дрались за деревню и принуждены были уйти, отступить перед танками, и вот уже месяц их не видно.

— Возьми-ка ты себя в руки, а то ничего из тебя не выйдет, — сердито сказала хозяйка.

Малючиха молча попрощалась и пошла. Она не решилась заговорить с Лидией и Фросей, которые жили дрова во дворе. В голове у нее шумело от окриков жены Грохача. Вот ведь какая... Всегда было известно: Грохачиха — баба злая, любит ессориться,

кричать, никому доброго слова не скажет. А теперь вот она какая выходит...

* * *

Дома Саша долго складывал из палочек избу, двор, расставлял по хлевам и конюшням коров и лошадей. Даже маленькая Нина не плакала, занятая игрой.

— А здесь что будет?

— Здесь будут овцы, те новые, что недавно привезли.

— Ага...

— Дай-ка уголек, будут черные овцы. Еще один, овец много...

— А кот где? — потребовала Нина.

— Кот гуляет, кот же всегда гуляет, — объяснила Зина, и Нина успокоилась.

— Немцы идут, нужно скот угоять, — решительно распорядился Ося.

— Ладно, а кто же его погонит?

— Я! — вызвалась Нина.

— А я останусь с партизанами, — решил Ося. — Ну, давай выгонять скот.

Они отодвинули щепочку, изображающую ворота, и вывели на простор поля белые палочки, черные угольки, — все колхозное богатство.

— А куда его гнать?

— В глубь страны, — серьезно сказал Саша. — За реку, через реку наши немцев не пустят.

— На реке могут бомбить, — вмешался Ося.

— Ничего, мы ночью перейдем, — решил Саша. — Дай-ка доску, это будет река.

Дверь с шумом распахнулась. Пять пар глаз в страхе уставились на вошедшего. Саша замер.

На пороге стоял немецкий солдат. Из-под тряпья, укутывавшего его голову, на детей глядели покрасневшие глаза. Он оглядел избу и, не найдя никого взрослого, обратился к пятерке у печки. Сначала Саша ничего не понял. Он был так уверен, что это по поводу Мишки, что все уже известно, что мать поймала и что пришелел в зеленоватой шинели сейчас начнет раскапывать штыком могилку брата в сепях, так не сомневался в этом, что солдату пришлось много раз повторить, прежде чем он понял искаженные слова:

— Млеки, млеки...

— Молока нет, — глухо ответил Саша.

Солдат не уступал.

— Млеки, дай млеки...

Саша поднялся и, не сводя глаз с солдата, вышел в сени. Проходя, он почувствовал

под ногами могилу брата, в земле лежит мертвый Мишка. Солдат внимательно следил за движениями мальчика. Саша открыл дверь и красноречивым жестом показал, что там ничего нет. Да и откуда быть, ведь Цеструшку немцы выволокли в первый же день, когда пришли, и сразу зарезали ее перед домом коменданта.

Солдат осмотрелся в пустом хлеву.

На полу лежало немного соломы и навоза, еще пахло хлебом, но у обмерзшей кормушки было пусто. Да, совершенно очевидно, что здесь молока достать нельзя.

В избе в это время отчаянно раскричалась Зина. Мамы нет, Сашко ушел с немцем в хлев, страшно. Ей вторила всегда готовая заплакать Нина.

Солдат вернулся в избу.— Не плачь,— сказал он по-немецки, скаля гнилые, почерневшие зубы. Зина закричала еще отчаянней. Немец взял винтовку и прицелился. Сашко диким прыжком кинулся вперед, заслоня со-

бой сестренку. Он широко распростер руки впился глазами в покрасневшие большие глаза, глядящие из-под пилотки, едва держащейся на обмотанной всяким тряпьем луже.

— Хо-хо,— засмеялся солдат, и дуло винтовки передвинулось к маленькой Нине. Она не поняла, что происходит, но перестала кричать и широко открытыми, круглыми глазами смотрела на чужого человека, на немецкого. Что это немец, понимала и она.

— Застрелю,— сказал солдат. Она не поняла этого слова, но поняла, что в нем таится что-то страшное. Зина умолкла. Сашко напряженно следил за черным отверстием дула. Это черное отверстие двигалось невысоко над землей, прицеливаясь то в одну, то другую головку. Вдруг Саше пришло в голову: а что, если прыгнуть, схватить винтовку... Как это из нее стреляют? Что будет потом, как убить немца, а главное,— удастся ли ему вырвать винтовку?

Раненые

Взошла рассветная звезда,
И время к солнцу ближе.
Увижу или никогда
Я солнца не увижу?

Товарищ раненый, не спи,
Дышу я еле-еле.
Торжественный рассвет в степи
Играет на свирели.

Прохлада трогает лицо.
Звезда над нами вьется,
Как парашютное кольцо,
Вытягивая солнце.

Как вытянет — начнется бой,
Кипенье дикой силы.
И, может, только нам с тобой
Уже не встать с носилок.

А все же наша жизнь была
— Скажу я перед гробом —
Частицей раннего тепла,
А не почным ознобом.

Пускай, взрывая клочья тьмы,
Испытаны бедою,
Еще не солнцем были мы,
Но утренней звездой.

Русские женщины

Рассказы

1. Оборона села

На старом смоленском большаке, обсаженном коренастыми вековыми березами, стоит большое село. Помнят эти березы, как брели по большаку солдаты Наполеона, закутанные в женские платки и церковные ризы, как закалывали их вилами русские женщины, как стаи воронов с клетотом выклевывали их глаза.

В один из пасмурных октябрьских дней правнучки этих женщин сидели за партами в светлой, просторной школе, и белообрый Костик громко, спотыкаясь на слогах, читал:

Да, были люди в наше время,—
Не то, что нынешнее племя:..
Богатыри...

Вдруг голос его задрожал, пресекался.

— Немцы! — крикнул он, глянув в окно.

По улице двигались немецкие тапки. Из машин, меченных крестами, вылезали черные, грязные, с горящими злобой глазами, похожие на чертей солдаты. Они согнали на площадь всех жителей. К толпе вышел красноносый офицер со стэком и прокричал, глядя в какую-то книжечку:

— Вы должны абсолютно повиноваться нам. Кто не будет повиноваться, тот будем вешать!

Костик рассеялся, — уж очень смешно говорил этот красноносый. Наступила тишина. Офицер пошел к мальчику, высоко поднимая ноги, как на параде. Он ударил Костика стэком по лицу крест-накрест. Мальчик, захлебываясь слезами, закричал:

— Ты не смеешь! Не смеешь! — он сжал кулаки и бросился к офицеру.

Офицер откинул его ударом сапога, и Костик упал на землю. Из толпы вышла черпобровая девушка и громко сказала:

— За что бьешь ребенка?

Она смотрела в упор темными мерцающими глазами. Руки ее нервно теребили розовую ленточку, влетевшую в толстую косу, которая, извиваясь, спускалась с плеча на грудь.

Офицер оглядел ее всю с ног до головы, обернувшись к солдатам, сказал что-то. Солдаты захохотали, и лица их, покрытые грязью и потом, исказились гримасой, одинаковой всем, и хохот этот был какой-то утробный будто захрюкали свиньи. Девушка вздрогнула, выпрямилась, высоко подняла голову, а губы ее плотно сомкнулись; она не спускала тех глаз своих с офицера, и он, молча взглянув на нее, торопливо пошел к машине.

Немцы снова полезли в танки, — они шли на Москву, — а возле них вертелся серый Роднон и, угодливо снимая шапку, киваясь, приговаривал:

— Мы народ мирный, ваше благородие.

Тапки ушли на восток, а народ все стоял на площади, и девушка с черной косой двигалась с места, руки ее все теребили розовую ленточку.

Мать Костика, плача и причитая, вытирала ему платком лицо, на котором вздулись крестообразные красные полосы. Роднон свалился в толпе, блаженно улыбаясь.

— Слава тебе, господи, пропесню! Ни хитрости, ни скотинку не тронули... А ты Дашка, все дело чуть не испортила. К чему стала перечить? — сказал он, обращаясь к девушке с черной косой.

Она вдруг взмахнула рукой, и в тишине раздался хлесткий звук пощечины. Роднон схватился за лицо, отпрянул.

— Ты что... очумела?! — закричал он испуганно пятясь.

Девушка плюнула ему в лицо и пошла высоко подтяв голову, и люди смотрели ей

вед с удивлением. Даша была на деревне
гамой тихой и скромной девушкой.

Подруги долго искали Дашу. Они нашли ее
за деревьями, возле кривой березки. Памятна
эта березка для каждой: здесь, под ласковый
шопот весенней листвы, девушки выслуши-
вали робкие слова любви,— может быть, по-
тому и окривела березка, что каждую весну
ветки ее обламывались трепетными руками.

Теперь была осень, и светложелтая листва
печально шумела. Ветер обрывал листья, они
кружились, опускались па плечи, на воло-
сы, и сами девушки были похожи на березки,
обожженные злым ветром осени.

— Чего будем делать, девоньки? — прого-
ворила Даша, оглядывая подруг скорбными,
строгими глазами, в которых еще мерцал
огонь непереносимой обиды.— Пропадем мы...
И защитить нас некому. Все мужчины и
парни в леса ушли. Придут опять немцы,
похватают нас, увезут на муку... Неужто так
и пропадать нам?

Девушки молчали. Их было восемь, с Да-
шей: курносая Катюша; толстушка Вера; ры-
женькая, как белка, Папя, с веселыми, озор-
ными глазами; худенькая Юлька с пышными,
белокурыми волосами; похожая на мальчиш-
ку, стриженная голубоглазая Дуся; Варя с
сильными жилистыми руками,— самая не-
красивая, но всеми любимая за свой звонкий
голос, идущий из сердца; хохотунья и про-
казница Таня, с лукавыми глазами и неж-
ным румянцем на щеках.

— Ох, и стукнула бы его,— сказала Ва-
ря, сжимая в могучий кулак толстые пальцы.

— У них пулеметы... танки,— задумчиво
проговорила Юлька, оправляя растрепанные
ветром пышные волосы.

— У наших партизан тоже есть пулеметы
и бомбы. В лес бы к ним уйти,— сказала
Дуся.

— А кто же будет стариков с детьми за-
щищать? — спросила Даша.— Нам уходить
нельзя. Нам тут обороняться надо...

— Пулеметов бы нам! — вздохнула Варя
и, волнуясь от радости, что ей пришла та-
кая мысль, она шопотом сказала: — Давайте,
подружки, все, вот, сколько тут нас есть,—
пойдем к парням в лес. Пусть они обучат
нас стрелять из пулеметов. Пехнтрое дело, под-
руженьки! Управимся! Воп с трактором управ-
вились, ничего. А пулемет проще трактора...

И тогда все припомнили, как мучились с
тракторами, постигая хитрое устройство мото-
ра, как слабая Юлька не могла завести свой
трактор и все крутила ручку, обливаясь потом.

В ту же ночь восемь подруг ушли в лес,
к партизанам. Хотелось им взглянуть и на

своих парней, с которыми коротали длинные
осенние вечера, с которыми пели, плясали, а
весной ошпыливали кривую березку.

А через неделю девушки возвратились в се-
ло и принесли четыре ручных пулемета, за-
вернутые в рядно, и много черных дисков с
патронами. Народ с удивлением смотрел, как
девушки рыли землю у околицы, за плетнем.

— Ой, господи, ошалели девки! — уныло
сказал Родион.— Разве устоять вам супротив
немца? Только нас всех под нож подведете...
Покориться надо, а не брыкаться.

— Ну, и покоряйся им, старый хрен, а
мы не жалаем,— ответила Варя, выбрасывая
лопатою из ямы жирную огородную землю.

К вечеру были готовы окопы, обращенные
па четыре стороны: враг мог появиться ото-
всюду. Но самая опасная сторона была за-
падная, от леса, откуда шла большая дорога
к селу,— по этой дороге всю неделю шли не-
мецкие машины. Потом все утихло. В окрест-
ных деревнях появлялись лишь небольшие
отряды «курятников», отбирали продоволь-
ствие и увозили куда-то, прихватывая с со-
бой и красивых женщин.

Прежде чем занять свои места в окопах,
девушки собрали народ. Даша сказала:

— Милые мои! Милые наши матери, сест-
ренки, братишки! Давайте поцелуемся с ва-
ми, может, в последний раз...

Матери бросились к своим дочерям, запла-
кали, обнимая их; заплакали и Юлька, и Ду-
ся, и курносая Катюша. Девушки целовали
своих родных, словно расставались с ними
навсегда. Провожаемые всей деревней, они
пошли к своим окопчикам, разделившись по-
парно. Вера с худенькой Юлькой,— па юг;
Даша с резвой, как белка, Папией,— па за-
пад; стриженная Дуся — со своей подружкой,
проказницей Таней; Батя согласилась идти
только с Варей, потому что очень боялась
немцев, а с Варей рядом было не так
страшно.

— А я буду наблюдать с елки,— сказал
Костик.— Я там помост устроил, и как поя-
вятся немцы, то дам знать. Мне оттуда па
три версты видно.

Так началась оборона села па большаке,
обсаженном кражистыми, вековыми березами.
Девушки натаскали в окопчики сена и ле-
жали, тихо переговариваясь, глядя сквозь
плетень па почерпевшие поля.

Великая печаль была разлита вокруг. Пе-
чально курлыкали журавли, пролетая па юг.
Скорбно кричали грачи, устремляясь за ни-
ми. Туда же летели мелкие пичуги,— каза-
лось, все живое покидает здешнюю землю,
объятую тревогой, поникшую в тяжком раз-

думь, окропленную холодным дождем, который, как тихие слезы, все падал и падал на угрюмую землю. И в стократ были дорожки темные пустые поля, оголенный лес и светло-зеленые коврижки озими, разостланные по мягким холмам,— так милей и дорожке становится любимый человек, сложенный болезнью или горем.

Три дня сидел Костик на высокой елке, поднимавшейся над крышами села, мок под дождем, как грач в своем гнезде, и тревожно вглядывался в даль, затянутую мутной пеленой. Но все было спокойно на безлюдных дорогах. На четвертый день утром Костик заметил на западе верховых. Они двигались к селу по четыре коня в ряд, а впереди на красивой лошади гарцовал всадник.

— Немцы! Немцы! — закричал Костик, и тотчас же из-под ели выскочили ребятишки и помчались со всех ног к оконечкам.

Девушки быстро сбежались к Даше, оберегавшей село с запада, и залегли рядом с ней, направив пулеметы на дорогу. Немцев еще не было видно — их скрывал бугор, но девушки припали к пулеметам, стиснув их до боли в пальцах.

— Девочки, милые, целтесь лучше! — шептала Даша. — Крепитесь, девочки... А стрелять всем сразу, как на бугор выедут...

И только теперь, когда над бугром показались во множестве головы немцев, потом головы лошадей и, наконец, вся плотно сомкнутая, серовато-грязная стопогая гусеница, медленно ползущая по размокшей дороге, девушка охватила страх. То, чего они так долго ждали, было перед ними во всей своей силе и неотвратимости; но то, что раньше рисовалось их воображению, было не такое грозное, близкое, как эта стопогая гусеница, заполнявшая своим жирным телом всю широкую дорогу. И девушкам, прижавшимся к земле, казалось, что нет такой силы в мире, чтобы остановить эту гусеницу, и она накроет их сейчас и раздавит. Они почувствовали себя беспомощными и слабыми. И, вздрогнув всем телом, Даша непроизвольно падала на спуск.

Ее оглушил треск пулемета, справа и слева загрохотали остальные, треск слился в сплошной гром. Гусеница остановилась, скорчилась, и распалась. Девушки увидели упавших лошадей, — они бились на земле, подмятая под себя всадников. Другие вздыблились на крутом повороте, как бы стараясь оторваться от земли, и, подпрыгнув, тяжело валялись на землю. По полю бежал человек, падал, поднимался и снова бежал, смеяло размахивая руками. И девушкам сразу стало

весело оттого, что человек этот кувыркает и подпрыгивает, как подстреленный заяц.

Несколько всадников, повернув назад, скакали к лесу, нахлестывая лошадей пагами, а пулеметы гремели им вслед, и лошади опрокидывались на всем скаку.

— Бейте, девочки! Бейте! — кричала Даша, но пулеметы умолкли, потому что старые диски были расстреляны, а новые еще не входили в пазы, — так дрожали руки от возбуждения и радости.

Из деревни бежали женщины и ребята, они видели бегство немецких всадников.

— Ой, милые, побили проклятых! Побили! — кричали люди, выбегая на дорогу.

В грязи валялись лошади, вытянув перед верхо длинные ноги; некоторые еще хрипели и дергались, оскалив белые зубы. Раскинутые руки, лежали убитые немцы. Раненый ползал на четвереньках, как собака, и все закричал.

— Ползет, ползет!

За ним побежала Варя и, подняв с земли винтовку за ствол, ударила, как дубинкой по голове. Женщины бросились целовать в щечки, а они, ошеломленные происшествием, бледные, растерянно улыбались, удивляясь, как просто и легко все кончилось.

— Эгих побили, завтра другие придут, всех не перебьют, — сказал Роднон. — Девочки! Только беду на нас кличите...

— Ну-ка, помолчи, — строго сказала Варя, все еще размахивая винтовкой, как дубинкой. Она тяжело дышала, и губы ее дрожали, но мужское угловатое лицо ее дышало силой и гневом, и Роднон трусливо отступил, крикнув: «Атаманша!»

И девушки радостно закричали:

— Варя — атаманша! Атаманша!

Вечеру вырыли большую яму, свалили в нее лошадей и немцев. Костик гордо размахивал по улице с огромным штыком-полем, висевшим у пояса. Женщины ставили самовары и кололи лучину такими же штыками.

Настала ночь. Девушки не спали, молча вглядываясь в темноту. Теперь они решались лежать вместе, — так было веселей.

— Зря упустили мы нескольких. Потом придется стрелять, — сказала Варя.

— Теперь надо их до березки нашей до самой допускать, — предложила Даша.

Вдруг Юлька всхлинула и горько расплакалась.

— Чего ты, Юлька?!

— Страшно мне... Как вспомню того... оторванным носом... безглазого покойника... пролетела Юлька, прижимаясь к Даше, дрожа всем телом, — она с детства боялась покойников и лягушек.

— Вот чудная ты, Юлька,— рассмеялась атаманша.— А мне веселее становится, как вспомню этого, что на карачках полз...

И все рассмеялись, а Юлька улыбнулась, стыдясь своих слез.

Через два дня Костик с вершины своей елки увидел немецкий отряд, человек в полтораста. В версте от деревни немцы развернулись подковой и открыли стрельбу из пулеметов. Девушки не отвечали. Они ждали, когда немцы поравняются с кривой березкой.

Они видели, что немцев в двадцать раз больше, но не испытывали страха. Подкова приближалась к околице. Немцы перестали стрелять и двигались в тишине, идя во весь рост, с ружьями, на которых смутно поблескивали широкие штывки. До кривой березки им оставалось шагов сто.

— Стреляйте по моей команде,— строго сказала атаманша.— Что ближе, то лучше. Больше будет покойников. Ему придется рыть глубокую.

И эти спокойные слова, прозвучавшие в томительной тишине, разрядили напряжение, сковавшее руки. Девушки глубоко вздохнули, как перед прыжком в воду.

А немцы все приближались, и уже были видны их лица, и доносился глухой шум их шагов и чей-то резкий голос. Вот они поравнялись с кривой, оголенной березкой.

— Бей! — крикнула атаманша, и четыре пулемета рванули воздух.

Немцы попадали, прижались к земле, а девушки, полагая, что все немцы убиты, прекратили стрельбу. Наступила какая-то звонкая тишина, и слышно было, как вопят раненые.— топко, протяжно, тоскливо.

Немцы, не поднимаясь с земли, стреляли, и от плетня, за которым укрылись девушки, отлетали сучки; визжали пули и цокали позади, впиваясь в бревна построек; зазвенели разбитые стекла.

— Не стреляйте, пока не подымутся,— сказала атаманша.

Было жутко лежать за плетнем и ждать в бездействии. Когда стреляешь — легче. Но вот немцы быстро вскочили и побежали к плетню, выставив перед собой штывки. Многие остались лежать, и девушки поняли, что это убитые.

— Бей! — скомандовала атаманша. И снова грянули пулеметы, и слова немцы попадали на землю.

Они лежали совсем близко, каски их торчали над землей, как горшки, опрокинутые для просушки. Немцы стреляли, и плетень сотрясался, трещал, точно его ломали невидимые руки. Юлька потянулась к пулемету, чтобы сменить диск, приподнялась — и вы-

ронила диск. Она удивленно смотрела на руку свою, залитую кровью, ожидая, когда же станет больно, но боли не было, и Юлька подняла диск и укрепила его на пулемете.

Немцы закричали что-то, вскочили и бросились к плетню, по теперь их было не больше трех десятков. Девушки ударили им навстречу длинными очередями. Некоторые из бежавших упали, а остальные повернули назад и, бросая оружие, помчались по дороге к лесу. Пулеметы били им вдогонку, подсекали, как траву, и немцы падали, а зеленые горшки откатывались по земле, подпрыгивая и звеня... В этот день пришлось рыть не одну, а три глубоких ямы.

Женщины унесли по домам железные горшки. Из этих горшков одни кормили собак и кошек, другие толкли в них семя, третьи месили глину, чтобы замазать щели в потрескавшихся печах.

Костик не выпускал из рук автомата, он знал, как стрелять из него, как выпимать обойму. Девушек водили из дома в дом, и каждая хозяйка хотела, чтобы они отведали ее угощения. Все наперебой давали советы Юльке, чем лучше присыпать рану: кто расхваливал золу, кто — саутипу, а кто — толченый уголь. В конце концов рану присыпали обыкновенной землей. Юлька чувствовала острую боль, но молчала, стиснув побелевшие губы.

— Этих побили, завтра другие придут. С пушками! — мрачно сказал Родион.

— Будет тебе каркать-то, ворон! — оборвала его атаманша.

— А ежели их тыща придет? Тогда вы что супротив тыши? Все разнесут в дым...

— Тысяча придет, и с тысячей будем биться,— спокойно ответила Даша.

И это не было бахвальством,— девушки поверили в свою великую силу; а когда человек верит в себя, ничто ему не страшно, и нет такой силы на свете, которая могла бы его сломить.

С полмесяца было тихо. Стало подмораживать. Девушки надели полшубки, валенки, пуховые платки. Они сходили к партизанам, принесли патронов и снова стали ждать немцев.

— Плетень нас не спасет, подружки,— сказала атаманша.

Девушки обошли все постройки на задах деревни и выбрали несколько сараев и бань. Они вынылили в стенах отверстия для пулеметов и смотрели в эти крохотные окошка в большой, молчаливый, враждебный им мир. Но короткий осенний день проходил незаметно, и наступала тягучая ночь. Девушки

вспоминали недавнюю веселую жизнь, рассказывали друг другу затеанные думы, раскрывали сердечные тайны, а почти все тянулось, подрадовываясь неодолима истома, забыли руки и ноги, и тогда девушки, чтобы согреться и прогнать сон, молча кружились попарно, напевая про себя мотив «страдания»:

Ой, да ты страдашь, ты мое страдашь,
Ой, да заложено грудь — мое дыханье.
Ой, да хорошо страдать весною,
Ой, да под зеленою сосною...

Во мраке, в холодной тишине было слышно шуршанье валенок по земле да шумное дыханье. Немая пляска эта не приносила облегчения, и еще тоскливей становилось на душе, и подлинное страдание тяжким камнем ложилось на сердце, жаждущее ласки, радости и любви.

Но сердце сильного не бывает пустым: если его не наполняет любовь, в нем загорается ненависть. Девушки говорили о немцах, которые отняли у них громкую песню, улыбку, светлую радость свиданий, — молодость, которая бывает однажды. И ненависть согревала их, прогоняла сон, заставляла настороженно прислушиваться к ночной тишине, таившей угрозу.

Однажды под утро, когда девушки, утомленные ночным ожиданием, уже собирались отдохнуть, что-то со свистом, как большая птица, пролетело над крышами, и раздался взрыв, от которого посыпалась стекла.

— Из пушек бьют! — испуганно кричали женщины, выбегая на улицу.

Взрыв раздавался за взрывом. Взлетели вверх соломенные крыши, загорелась изба. Люди бросились к колодцам за водой, выгоняли скот. Коровы истошно ревели и металась по деревне, сшибая людей.

Родной выбежал на улицу с иконой в руках, без шапки.

— Бабы! — закричал он. — Бабы! Выпоси хлеб-соль! Надо германцев встречать! Прощенья просить надо! А то всю деревню спалят...

Женщина, бежавшая к колодцам с железным ведром, остановилась, посмотрела на Родиона мутными от бешепства глазами и вдруг ударила его по голове ведром. И тотчас же со всех сторон палтели люди, смяли Родиона, опрокинули на землю, и над ним сомкнулась толпа, совершая свой молчаливый единодушный приговор...

Девушки бежали к своим пулеметам. Костик вообразился на ель, но когда он достиг помоста, над головой его разорвалась мина, ударившись в верхушку дерева, отсекала ее, и Костик вместе с обломком полетел вниз, падая с ветки на ветку, как подбитая белка.

— Даша, твоя изба запылала! — крикнула на бегу Юлька.

— Ничего, девопьки... Ничего, пусть горит, — ответила Даша, глотая слезы.

Девушки заняли свои места у пулеметов. Они увидели вдали цепи немецких солдат, черневшие на снегу, выпавшем в эту ночь. Немцы обтекали деревню кругом, замыкая ее в кольцо. Атаманша сказала:

— Надо разбиться нам, девушки. Кругом надо стрелять. Ты, Даша, оставайся здесь с Паней... Я с Юлькой в баре засяду. Ты, Вера, беги с Катюшей в родной сарай, а Дуська с Таней — к амбару хлебному... Бейте, как прошлый раз. Не горячитесь... Подпускайте как можно ближе. Больше будет покойников. Ну, прощайте, родные!

Черное кольцо быстро сужалось. Немцев было около трехсот, да еще в лесу стреляли минометы, которые приняли в деревне за пушки. Первый раз в жизни девушки слышали такой грохот. Вдрагивала и гудела промерзшая земля. Со свистом и воем летели осколки мин. Трещали горящие избы, и черный дым окутал деревню. Кричали женщины и дети, кудахтали куры, ревели коровы — и все это сливалось в тоскливый крик боли и страха.

Даша с Паней сидели в сарае, пабитом до крыши пахучим сеном. По тесовой крыше стучали осколки мин, как крупный град. Прошлый раз было не так страшно, потому что все девушки лежали вместе. Теперь озорные глаза Папи палились тревогой, она не смотривала то в отверстие, вырезанное в бревне, то на Дашу, то на крышу, по которой стучали осколки.

— Не бойся, Паня. Если мы живыми не падем к немцам, будет хуже. — тихо сказала Даша. — Не забывай смеять диски.

Черное кольцо становилось все уже и уже, и Паня прерывисто вздохнула, чтобы избавиться от неприятного ощущения, — ей казалось, что такое же кольцо давит ей грудь.

Справа долетел треск пулемета, — там, в бани, стреляла Варя-атаманша. И Даша ужаснулась спуску. Грохот пулемета в сарае был таким оглушительным, что, казалось, рушатся стены.

Немцы растянулись на снегу, и тотчас же по стенам сарая защелкали пули. Даша прекратила стрельбу. Умолк и пулемет атаманши, но слева, от хлебно амбара, все еще доносился непрерывный треск.

«Это Дуська. — подумала Даша. — Остается она без патронов».

Немцы поднялись и, как прошлый раз, побежали, выставив перед собой штыки. Темнело

было два кольца: одно близкое, узкое, живое, и позади него — неподвижное, широкое — кольцо смерти.

Снова загрохотал пулемет, и снова пемцы попадали на снег. Папя сменила диск. Вдруг против отверстия грохнула миша, волной воздуха Дашу отбросило наземь, сорвало кусок крыши, вспыхнуло сено.

— Горим, Даша! — крикнула Папя, бросаясь к воротам.

Даша вскочила, схватила ее за руку.

— Куда ты?! Тебя там убьют... Давай диск!

Немцы поднялись в третий раз. Теперь было три кольца: два неподвижных и третье — реденькое, как бы порванное на куски, но стремительное и страшное в блеске штыков. Даша крепко прижала приклад к плечу и, задыхаясь от едкого дыма, выпустила короткую очередь. Вдруг лицо ее обожгло, как кипяток, и она выпустила из рук пулемет... Умолк пулемет атаманши, — пуля разбила ей плечо, а слабая Юлька не могла ее заменить. Немцы осмелели и с криками бросились к бане.

— Прощай, Юлька! — сказала Варя, обнимая поутру.

Они обнялись и, повернувшись лицом к двери, приготовились к смерти...

Загорелся сарай Родиона. Курносая Катя схватила пулемет, Вера — последний диск, и она выбежала. После полутьмы сарая их ослепило утреннее сияние снега. С горы, на которой стоял сарай, они увидели баню возле ручья. Какие-то черные фигурки окружали баню и рвали дверь.

«Там же атаманша!» — подумала Катя, растерянно оглядываясь. Она увидела сани без оглобелей, — видимо, Родион выкатил их с вечера, в предчувствии снегопада. Вот с этой горы на санках катались девушки в морозные ночи, и было весело опрокинуться на повороте и барахтаться в мягком снегу...

— Садись! — крикнула Катя, подталкивая сани к обрыву.

Сани соскользнули вниз и стремительно помчались в овраг, к бане. Толстуха Вера взвизгнула не то от страха, не то от восторга, этот визг подхватила Катюша, — они летели, визжа, захлебываясь от ветра и снежной пыли, и немцы кипулись назад, в поле. Сани уткнулись в кочку, перевернулись. Катя губарем скатилась к бане, выронив пулемет. Сани накрыли толстухку Веру, и она никак не могла выбраться из-под них.

Катя ударила кулаком в дверь бани, закричала:

— Открывайте скорей!

Дверь распахнулась, и Катя снова ослепла от темноты.

— Бей, Катюшенька, бей! — крикнула атаманша, подтаскивая ее к пулемету...

Уже к концу второй атаки пемцев у Дуся вышли все патроны, потому что она стреляла, не снимая пальца со спуска, охваченная мальчишеским задором. А пемцы были так близко от хлебного амбара, что Дуся видела окровавленное лицо солдата, который прикладывал снег к ране и отбрасывал красные комки.

Таня схватила пустой диск и выбежала из амбара. Его овладело то веселье отчаяния, какое приходит в минуту неотвратимой опасности, когда человеку ничего не остается, как только улыбнуться в лицо смерти. Таня замахнулась диском на немца, и он вдруг выронил автомат и поднял руки, а колени его подогнулись, и был он похож на Жучку, которую Таня выучила «служить» — становиться на задние лапки.

Немец был большой, грузный, какой-то смешной и все-таки страшный. И Таня испуганно закричала:

— Дуська! Дуська! Хватай немца!

Из амбара выглянула Дуся. Ей показалось, что немец вскинул вверх руки, чтобы прыгнуть на Таню, схватить ее за горло. Она подбежала к немцу, подняла автомат и, грозно размахивая им, крикнула:

— Иди, чучело!

Она втолкнула немца в амбар, а Таня быстро захлопнула дверь и накинула железную петлю на пробой...

Даша очнулась на снегу. Она увидела вокруг себя каких-то людей с винтовками и, так как это могли быть только немцы, она вскочила и бросилась на ближайшего к ней, схватила за горло и стала душить.

— Даша! Очумела! — прохрипел человек, с усилием разжимая ее руки.

— Дашенька, это наши ребята! Партизаны! — кричала ей в ухо Папя. — Это они выручили нас... Очнись, Дашенька! Вон, посмотри, сколько немцев побито, словно снопы валяются...

В деревне еще бушевал пожар, но люди, отрешившись от имущества, объятые пламенем, бросились с криками радости к девушкам. Они подхватили на руки Дашу и понесли ее, как самое драгоценное, что осталось в их жизни, что нельзя уничтожить никаким огнем.

...И поньше на старом смоленском большаке стоит это село, как неприступная крепость, и за окопней шелестит листвой кривая березка, напоминая девушкам, что снова придет весна.

II. Крикунья

Ее часто можно было видеть на улице. Идет, опираясь на палочку, седая, сгорбленная, и поглядывает вокруг выцветшими, но зоркими глазами.

— Ты зачем же сразу разводилась?! — набрасывается она на хозяйку, выплеснувшую помой на дорогу перед домом.

На крыльце сидит ребенок в грязной рубашонке, с замызганным лицом и сосет корку хлеба, облепленную мухами. Старуха заходит в дом и начинает строго отчитывать мать.

За это ее и прозвали «Крикуньей». Но когда в колхозе открыли детские ясли, то Крикунью назначили заведующей, зная, что детишки у нее всегда будут чистыми, веселыми, здоровыми. И Крикунья сделала детские ясли образцом чистоты и порядка.

Но вот пришли немцы. Детишек из яслей выбросили, а на чистом детском белье разлеглись вшивые солдаты. Крикунья пробовала их устыдить, но получила такую затрепину, что и язык отнялся. И Крикунья умолкла.

Седая, сгорбившаяся еще больше, она бродила по селу, выпрашивала у жителей махорку, хлеб, яйца и возвращалась домой с полной сумкой.

Ночью в окно ее пбушки тихо стучали. Крикунья открывала окно и отдавала тяжелую сумку человеку, которого она не могла узнать в темноте.

— Спасибо, бабушка, — говорил человек, и тогда Крикунья узнавала по голосу, что пришел их колхозный бригадир Сережа — отец кудрявого Гриши.

— На здоровье, Сереженька! Клапайся всем своим товарищам! И опять приходи.

Однажды в избушку Крикунья ворвались немцы. Они вытащили старуху на улицу и повели к виселице, стоявшей посредине села. Пятеро здоровых, вооруженных с ног до головы солдат тащили беспомощную старуху, подгоняя ее ударами прикладов. Палочку, на которую она опиралась, немцы вырвали, изломали. Старуха упала под самой перекладной виселицы.

— Говори, где партизаны? — закричали немцы.

Крикунья молчала. Молчали и люди, стоявшие поодаль.

— Ты сейчас заговоришь у нас, — сказал немец, вытаскивая из кармана веревку.

Он сделал петлю, набросил ее на морщинистую шею старухи, а другой немец взо-

брался на перекладину и перекинул через нее веревку.

— Где партизаны? Мы знаем, ты им и могаешь! — заорали немцы, натягивая в рывку.

Крикунья молчала. Веревка врезалась шее, сдавила, и старуха закрыла глаза, приготовившись к смерти.

Она прожила на земле шестьдесят лет. Она исполнила все, что выпало на ее долю: рожала детей, воспитывала их, обрабатывала землю, делала людям добро, ругала их, ставляя и поучая, что жить нужно честно, аккуратно, поддерживать во всем порядок, согласие. Она кричала на людей, но не злости, а от любви к ним; и люди знали, что у нее сердитый голос, но доброе сердце.

И это сердце должно было остановиться навсегда. Веревка все ту же стягивала горло старухи, тело ее приподнялось над землей, лицо посинело. А немцы, пытаясь, медленно натягивали веревку и что-то выкрикивали.

Потом они отпустили веревку, и старуха упала на землю. Немец ударил ее сапогом в бок, и она открыла глаза.

— Где партизаны? — закричал он, и в его жирных губах его взбилась пена.

Крикунья увидела над собой высокое небо, облачко, озаренное солнцем, кудрявое, помягше на детскую головку, и эта головка напомнила ей сынишку бригадира Сережи — курчавого Гришу.

«Выдать вам партизан... Выдать вам, швергам, отца Гриши, осиротить его, а сам остаться в живых?! Нет, не выдам я вам моих голубчиков», — подумала старуха и потеряла сознание, — веревка снова сдавила ее горло.

Краснея от патуги, немцы подтягивали старуху к перекладине.

— Да что ж мы стоим... смотрим на эту казнь?! — с плачем крикнула мать Гриши худая желтолицая женщина, и бросилась во двор.

За пей побежали другие женщины, но не от страха перед казнью: они вспомнили о добром, оказанном их детям Крикуньей. Им было стыдно стоять и смотреть, как молча умирает эта добрая женщина. Они вдруг почувствовали, что любят ее, как свою родную мать. А кто же оставит в беде свою мать?

И женщины побежали в избы, стали хватать топоры и вилы, колья и рогащи...

А немцы снова отпустили веревку и закричали:

— Говори, где партизаны?

Старуха молчала, ее сердце билось все медленней и тише.

Немцы третий раз пятачили веревку. Они были так поглощены казнью, что не услышали крика па улице.

К виселице бежала толпа женщин, вооруженных топорами, вилами, ухватами, кольями. А впереди — мать Гриши с сечкой, которой рубят капусту.

Она пересекла веревку и ударила сечкой по лицу немца. Застучали топоры, с лязгом обрушились на стальные каски. Рослая женщина зацепила ухватом голову немца, при-

жала ее к земле, а сухая маленькая старушка ударила немца по голове тяжелой толкушкой, которой толкут в ступе конопляное масло. Немец вопил, вынучив глаза, а старушка колотила его по голове, приговаривая:

— Вот тебе! Вот тебе!

Женщины молча смотрели на трупы, валившиеся па земле, удивляясь своей силе и смелости.

Крикунья открыла глаза, приподнялась. Она стерла с лица смертный пот и прежним сердитым голосом сказала:

— Ну, чего стали? Убирайте эту заразу...

III. Ненависть

За окном шумел дождь, нескончаемый, всем опротивевший. Он начался с первых дней весны, а была уже середина лета, но дождь все лил и лил. По глубокой, жидкой грязи измученные лошади медленно тащили повозки: колеса погружались в грязь выше ступиц. Обоз тянулся на запад, откуда доносились глухие звуки артиллерийской перестрелки.

Четвертый месяц люди сражались в траншеях, залитых водой. Негде высушить ни одежды, ни обуви. Шинели так пропитались глиной, так отвердели, что пола об полу стучит, как фанера.

Наконец выглянуло солнце. На улице появились дети. Они бегали по лужам с веселым смехом. Вдруг все они бросились в конец села с криком:

— Везут! Везут! Вот они! Вот!

Из домов выбегали взрослые. Вышли и мы.

По улице, буксуя в грязи, ехал грузовик с пленными немцами. Черноволосый, с двумя треугольниками на рукаве, надменный. Рядом с ним юноша с испуганным лицом, в разорванной рубашке, пропитанной кровью, с перязанным плечом. Толстомордый, с злыми глазами, светлорыжий...

Толпа обступила машину и пошла за ней. Люди не спускали глаз с пленных. Грузовик завернул за угол и, патужно воя, пополз в гору. Улица опустела. Мы увидели старуху, бежавшую по деревне. В руках у нее была веревка из лька. Она пробежала мимо нас, тяжело дыша, оскальзываясь.

— Ой, господи... Не поспею...

— Куда ты, бабушка?

— Душить их, окаянных... Душить! — хрипло крикнула старуха и свернула на огород по тропинке, наперерез грузовику. Мы воспешили за ней.

Тропинка вилась по косогору, и старуха с трудом взбиралась по ней, придерживаясь рукой за грудь, как бы помогая сердцу. Мы спросили, за что она так ненавидит немцев. Старуха не ответила, — она слышала лишь завыванья грузовика, поднимавшегося в гору, а может быть, наш вопрос показался ей лишним.

— Ой не поспею, — шептала она, задыхаясь от усталости. — Стойт! Стойт! — радостно вскрикнула она, увидев грузовик на горе, окруженный людьми.

— Евдокья бежит... Мареева! — позлышались голоса из толпы.

— Держите их, иродов! Не упускайте, мялые! — кричала старуха, подбегая к машине.

— Ты куда, мамаша? — спросил юный боец, отстрапя старуху.

— Душить их! Они у меня избу спалили... Корову увели... Поросеночка сожрали... Вон тот толстомясый! Это он сожрал моего поросенка. Это — мой! Пустите меня! — кричала старуха, размахивая веревкой.

— Успокойтесь, мамаша. Так нельзя. Мы их должны по начальству представить. Организовано! — важно сказал юный боец; шипель на нем была рыжая от глины и твердая, как фанера.

Старуха умолкла. Она смотрела на немцев остановившимися глазами. Если бы эти глаза, как штык, могли наносить раны, от немцев остались бы одни ключья.

Грузовик тронулся по дороге, толпа разошлась, а Евдокья Мареева все стояла на горе, смотрела вслед удалявшейся машине, и руки ее, сжимавшие веревку, дрожали.

Вдали виднелись белые развалины монастыря, сожженные деревни, вокруг раскинулись поля, заросшие сорной травой. А па горе неподвижно стояла жепщина с веревкой в руках. Это стояла Ненависть.

В горах

Р а с с к а з

Странный рассказ довелось мне однажды услышать. Я вспомнил о нем сейчас, когда Кавказу отдана половина сердца.

Я ночевал в городке у моря. На утро предполагалась поездка в глубь Дагестана. Жестокая февральская ночь рано наступила после серого ветреного дня, похожего на долгие сумерки.

Путру у моря было так мрачно, месиво снега и дождя так больно хлестало в лицо, а ветер был так свиреп и страшен, что ни о какой поездке в горы не приходилось и думать.

Но спутник мой верил в горы.

— Клянусь глазами,— сказал он,— там будет тепло.

И в полдень мы выехали. Шоссе бежало пустынно и дико. Ветер гнал воду, и по мокрым косогорам неслись охапки сена, должно быть, разметанного за ночь из стогов.

Горы долго не начинались.

Невысокие холмы ленивой грядой окружали дорогу, а за ними — небо.

Казалось, стоит лишь сойти с машины, пройти шагов двести за первые холмы и упреться в свисающий к земле край серого, мокрого, ватного одеяла,— оно и есть небо.

— Где же ваши хваленые горы?— спрашивал я у спутника.

Непогода растревала и его.

— Наверно, у них выходной,— шутил он к удовольствию шофера, который, бросив руль, принялся двумя руками смешно чесать свою вихрастую голову.

Оба залились смехом.

Горы, наверно, на Кизил-Яр пошли. Маленький митинг там сделают.

Хотя был день, но стало совсем темно,— темно по-ночному, и шофер беспокойно прибавил скорость.

Густая мгла заволокла дорогу. Свет авто-

мобильных фар с трудом прокладывал в ней узкую щель.

Кругом все спало. Ни огольца, ни шороха, ни запаха жилья. Аулы словно провалились сквозь землю.

При выключенном свете ехать становилось все труднее. Машина скользила в канавы. Брызги дождя и мутной хляби густо заливали смотровое стекло, и механический дворник лишь размазывал грязь по стеклу.

В промокшей с утра одежде было холодно, не дремалось. Ветер забирался под платье и грелся у самого тела. И все же прекрасно было ехать по дикой безлюдной дороге, ночью, в дождь и ветер, навстречу невидимым горам.

— Как я говорил, так и есть. Вот они!— сказал вдруг мой спутник, и я, полусонный, хмурясь от ветра, опустил боковое стекло.

По седловине высокого перевала машина осторожно спускалась к широкому озеру света, образованному горами в долине, похожей на черпак.

Крыша ночи была приоткрыта, и меж нею и землей ослепительно горела темнозолотая полоса заката.

Казалось, что здесь только что пронесся шторм. Цвет воздуха напоминал волну, устало качающую на себе белые разволды пены вместе с темными пятнами водорослей и бликами заката.

Едва угадываемые пространства бурых трав и синие, оранжевые, золотые покровы дальних гор нестро мешались перед глазами. Впереди неба покачивались горы, словно декорации среднего плана, в беспорядке спущенные на невидимых нитях.

Зрелище было неожиданно по редкой и мрачной спле.

Дорога вильнула вправо. Черная крыша ночи припустилась — тонкое острие заката держалось еще два-три мгновения. Еще пово-

т, и оно исчезло. Ночь стала как-то еще хуже и нестерпимее.

— Хорошо бы переночевать где-нибудь, — сказал я, — куда мы к чорту стремимся в этой тьме!

— Негде, — строго ответил шофер. — Вот лишь увидим, — тогда...

Ветер остался позади, его вой переняла шина. Она все время скулила, как трусый пес.

— Еще один поворот, — пробормотал шофер, и было непонятно, что он хотел сказать.

Вся дорога была в поворотах, словно ее испытания шофера все время выдергивали из-под колес, а он с кошачьей ловкостью каждый раз ухитрялся уцепиться за нее, хотя бы тремя колесами.

Голова гудела от ветра.

— Зря ехали, — сказал мой спутник. — Паспорт большая — дорога скользкая, темнота, и где почевать будем?

— И бензин кончается, — захотав, доложил шофер.

У какого-то поворота мы вылезли.

Машина продолжала тихонько скользить на зажатых тормозах.

Небо слилось с горами, и в совершенной ярноте нельзя было понять, где мы находимся. В стороне гудел ветер. Рычала, жуя камни, невидимая река. Ручеек мелких камушков струился со склонов придорожной каньона.

Шофер загадочно пошаркал ногами по дороге, понюхал воздух, потом высморкался и из колебаний показал рукой в небо.

— Ау!

Черная туча поднималась выше середины ясного неба, и где-то далеко-далеко, над два уловимой границей тучи, угадывались блустертые звезды. Но в центре тучи, одиноко и грубо тоже блестела одна звезда. Она — непонятно как — довольно ярко выеялась в крутой черноте тучи.

— Дом... Огонь горит, — сказал шофер, выча в звезду. — А бензин весь вышел.

Взявшись за руки, мы пошли пешком.

Ветер, застрявший в утомительной кривизне ущелья, здесь, наверху, безумствовал. Глаза застилали слезами, мы шли почти шубью, видя на три-четыре шага перед собой, и дышали коротко и нервно, как рыбы, выброшенные на песок.

В детстве мне часто приходилось читать морских штормах и кораблекрушениях, о пингах русских метелях, об африканских саваннах. Но ни разу не слышал я о ветре в

горах. Может быть, это — редкое явление, и о нем мало знают.

Все мысли наши были короткими, они возникали в перерывах между вихревыми шквалами, когда удавалось удержаться на ногах и увидеть сквозь слезы, что ноги еще не в пропасти. Сколько человек может вынести ветра?

Мы шли, должно быть, очень долго. Вдруг спутник крепко дернул к себе мою руку, и, едва открыв глаза, я увидел свет, падающий из крохотного окна. Мы долго кричали и стучали в камитку. Нас не слышали. Наконец вышел человек.

Сакля висела над обрывом. Под ее балконом было километра полтора воздуха. Старик-хозяин в бараньей шубе, наброшенной поверх белья, провел нас крохотным двориком на открытый балкон и попросил подождать.

— Сейчас купацкую откроет, — объяснил мне спутник. — Не отходите от меня. Еще провалитесь куда-нибудь.

Балкон дрожал и покачивался. Что-то било его по перилам снаружи.

— Ветер, — сказал хозяин и осторожно приоткрыл нам дверь в купацкую.

Мы вошли. Маленькая лампочка неуверенно осветила комнату дрожанием огоньком. Качались книжки и пистолеты, красиво развешенные на стене; фотографии двух молодых людей в черкесках стучали по стене своими деревянными рамами, а в третьей, пустой раме терлись одна об другую две открытки с видами Пятигорска.

Хозяин был молчаливо вежлив. Он подал нам два одеяла, две подушки без наволочек. Спутник мой болтал что-то о горском гостеприимстве, о чести. Из соседней комнаты доносился чей-то бессвязный шопот.

— Если кушать будете — я сейчас подниму старуху. Немножко больная лежит.

— Спасибо, спасибо! Только лечь, и больше ничего, — говорили мы, хватая вещи из рук хозяина.

— Богда тяжелый, — сказал хозяин с твердым акцентом аварца.

Мы легли. Ветер не успокаивался. С неприятным свистом старался он стапнуть саклю в пропасть, и старые шолы трещали, и что-то сыпалось с потолка, и дрожали, готовые лопнуть, стекла окон.

А в соседней комнате раздавался тихий, старушечий шопот, как бред или молитва.

Не спалось. Я долго вздыхал и ворочался. Не спал и спутник мой. И несколько раз мы вскакивали, готовые выскочить из сакли, и

прислушивались к тому, как ветер ломает старое дерево балкона.

Обессилев и отчаявшись вырваться из злуткого плена этой ночи, спутник мой, наконец, засвистел грустным тихим свистом.

А я все не спал — ворочался и курил, и вскакивал в испуге.

И вот старый хозяин встал, положил ко мне. Пошарив рукой по полу, он, кряхтя, сел у моего одеяла на скрещенных ногах.

— Ветер идет, рассказ несет, — задумчиво сказал он. — Он хотел угостить меня беседой по всем правилам гостеприимства. Вдохнул. Почесал волосатую грудь.

— Вот я тебе один случай расскажу. Это было в одном ауле, далеко отсюда, когда с Деникиным воевали. Ну, вот как дело было. Слушай. Аул был кругом партизанский, красный, только два дома белыми были, но эти дома уничтожили. Одна женщина, Патимат, — ее муж и два старших сына у красных воевали, а младший в городской школе учился, — первая предложила убить белых и сакли их разрушить — так и сделали. Потом в соседних аулах тоже стали белых выгонять и уничтожать. С того аула пример взяли.

И вдруг слух прошел — младший сын этой Патимат у белых служит. Сначала думали — неправда это, один разговор. Но скоро люди увидели его в белой форме. Позор на семью, на весь аул!

Отец, когда узнал — седой стал. Братья папачи на глаза надвинули. Но воюют. Отцу орден дали, сыновья отличились.

Ну, время идет, идет — и вот опять хабар пришел: младший сын раненый домой вернулся.

— Куда домой? Разве у изменников есть дом? — Отец только эти слова и сказал, когда услышал о младшем, и скоро люди донесли их до аула, и Патимат тоже их услышала.

Сын тоже их слышал от людей, но ничего — ходит, спит, молоко кушает. Об этом тоже слух побежал из аула в отряд и, когда до отца дошел, отец так сказал:

— Кажется, дома у нас не стало. Кажется, там порядок не крепкий. Мать дом позывает. Надо отпуск взять, на два дня поехать.

Патимат скоро узнала, что хозяин едет домой. Сразу поняла, что это значит.

В наших местах, товарищ, народ простой, совесть чистой должна быть. Совесть не имеет хуже всего. Даже кулак лучше бессовестного. Бессовестный — это бессовестный.

И вот идет слух — отец едет.

Патимат хозяйка крепкая была. Честь знала. Она сама трех белых убила и их сакли сожгла. Своего хозяина она тоже знала.

И какой у него разговор с младшим будет — тоже хорошо знала.

Вот она младшему и говорит: отец завтра придет, что ему скажем? Какой ответ дашь?

А он:

— Что ответ! Где я был, там нет. Какое его дело! Намус! Намус! Я сам знаю свою намус!¹

Ну, мать ему и говорит:

— Ладно, иди на крышу, постели себе бурку, ложись спать, завтра думать будешь.

— Хорошо, говорит, сейчас лягу. Тогда пойду к соседу водки выпить.

— Ладно, выпей, говорит мать, сон лучше будет.

Вот он выпил, лег на бурку и уснул. Старик говорят, ночь была, — как сейчас, так же тепло. Собака лает — не слышно. Ревет стрелишь — не слышно. Такой ветер был.

Ну, он выпил немножко, ему ветер — что он лег на крыше, а Патимат ночью встала молитву совершила и его — раз! — с крыш толкнула.

Может, и крикнул, так никто и не услышал. Здоровый ветер был.

Потом дверь закрыла, легла спать.

А на заре народ поднялся, тело внизу скалах увидел. Стучат в саклю — Патимат твой свалился!

Она говорит:

— Мои все в отряде, я одна дома, знаю, кто мог свалиться, не мое дело.

А тут и отец на коне подъезжает, жена порога его встретила, коня приняла, ни слова ей не сказал. Вошел в дом, пять минут посидел, говорит:

— Когда с детьми вернусь, чтобы тебя было здесь. Грязь развела, честь забыла, темным людям приют даешь. Не жаль мне больше.

И уехал. Ну, потом ее старший сын к себе взял. Вот какой случай был.

Шопот в соседней комнате стал громче, беспокойнее. Хозяин замолчал. И чтобы из чего не осталось непонятным мне, добавила с какой-то каменной улыбкой, твердо, глядя мне в лицо:

— Конечно, мать — всегда мать. Всегда жалость к сыну имеет. Пожалела младшего. А теперь, — как ветер, спать не умеет, и слушает, голоса его ждет. Вот какой случай у нас был.

Из соседней комнаты, как отголосок ветра, доносился шопот старухи, — как шелест бреду или в молитве.

Конечно, мать — всегда мать. Но о чести знает.

¹ Намус — честь.

Кинжал

С кавказских гор бежит вода,
Бесшумно быстрых дней течение,
Пасет пугливые стада
Старик у дальнего селенья.
И мне пастух поведал раз,
Как жил да был поэт на свете.
Промчалось целое столетье,
Но позабыл его Кавказ.
И я услышал о том,
Как он пришел в ингушский дом,
Где смуглый мастер возле горна
Сидел на стоптанном ковре
И выводил эмалью черной
Узор на тусклом серебре.
И с чернью серебро сплелось.
И так внезапно заблестало,
Что сединай казаться стало
Средь темных вьющихся волос.
Но встали зори у окна,
И луч упал на сталь кинжала,
И песнь про день Бородина
Внезапно в сабле прозвучала.

Как сталь кинжала, песня эта
Остра.

В ней четок слов узор.
Она родилась в час рассвета
У вздыбленных, суровых гор.
Век, будто водопад в пепелье,
По скользким скалам пробежал...
Погиб поэт, и умер мастер,
Но живы песня и кинжал.

Вломилась в горные твердыни
Белесых недругов орда.
Пастух ушел на битву ныне,
Теперь жепя пасет стада,
А он спасет свою деревню;
Пускай безжалостна война,
Но с ним кинжал в оправе древней
И песнь про день Бородина.

И сталь и песня — это сестры,
Как горький стон и мести взлет...
Кинжал от ненависти острый
Врага за каждым камнем жлет.

Комсомольское мужество

На одном из участков фронта немцам удалось неожиданным ударом прорваться сквозь наши линии и придвинуться почти вплотную к морю.

Бухта опустела, последние корабли ушли на восток к советским берегам. А этот маленький катер, груженный обмундированием и оружием, задержался, пережидая шторм.

На катере было двое: рулевой — старшина 2-й статьи Виктор Клячип и моторист — старшина 2-й статьи Михаил Румянцев; оба комсомольцы, чудесные ребята, полные сил и отваги, готовые во имя родины на любой подвиг. И был с ними еще третий — изменник и грязный трус, но он не в счет, и мы не будем пачкать бумагу его низким именем: пусть оно прозвучит не в газете, а в приговоре военного трибунала!..

Ждали день, ждали ночь, настало утро, а шторм не утихал. Попрежнему выл ветер в снастях, гнал тяжелые низкие тучи, вершины гор заволокло дымной мутью, море волновалось, белые гребни то и дело перехлестывали через мол.

Немцы могли появиться в порту в минуты на минуту. Ждать дольше было нельзя. Третий — изменник и трус — предложил бросить катер и уходить берегом. Комсомольцы отвергли это предложение. Уйти... А катер?.. Они твердо помнили, что советский моряк никогда, ни при каких обстоятельствах не сдаст врагам своего корабля. Комсомольцы решили идти в море, навстречу шторму. Рулевой Клячип, засмеявшись, сказал:

— Слышал я, что панги деды на парусных шлюпках через океаны ходили. А у нас машина, так неужели мы не пройдем? Давай, Румянцев, заведи моторы, да поживее, а то немец как раз прихватит.

Порывом налетел ветер, заставил людей пригнуться. Над молотом высоко поднялась

огромная волна, застыла на мгновение и желым водопадом рухнула вниз.

У труса посерело от страха лицо, поскрипели губы. Нет, он не был рожден моряком, и жесткость борьбы и победы была неведома ничтожной душонке. Влудливым голосом сказал, что сию минуту вернется, ушел, конечно, не вернулся. Он испугался предстоящей борьбы, он предпочел позорный плен. Комсомольцы вышли в море без пленных.

Шторм был сильнее, чем они предполагали, наблюдая из бухты. Катер сразу накрыло волной, потом положило на борт, в следующую минуту катер глубоко зарылся носом, а винты, поджавшись, загудели в воздухе. Не приветливо встретило море молодых героев.

Цепляясь за скользкие леера, сплевывая соленую воду, моторист Румянцев, пасквилем мокрый, подполз к рулевому и закричал сквозь гул, свист и грохот шторма:

— Давай штурвал! Бери топор, рубь мачты!

Баласируя по мокрой палубе, ежеминутно рискуя быть смытым за борт, рулевой Клячип с топором в руках направился к мачте. Вот рухнула одна мачта, потом вторая, волны подхватили ее, поставили свечой и понесли в белой пене.

— Молодец! — сказал Румянцев, перевернув рулевому штурвал. — А то я боялся, что перевернет.

Вдруг на лице товарища он заметил тревогу.

— Что случилось?

— Не слушается руля, — ответил Клячип.

Произошло самое худшее, что только могло произойти с кораблем в открытом море: штормовую погоду, — катер потерял управление. Как потом выяснилось, сначала отломилось поврежденное накануне вражеской бомбой бардировкой перо руля, а вскоре вышла из строя и весь рулевой механизм.

Катер превратился в игрушку стихии. Ветер дул с берега, унося суденышко все дальше и дальше в море.

— Ничего! — сказал Клячин. — Не пропадем. Самое главное, что от немцев ушли. А остальное неважно.

Море не успокоилось и на следующий день. Шторм бушевал еще трие суток. Комсомольцы трие суток не смыкали глаз. Они сидели в каюте и делали новый руль. Материалом служили санитарные носилки, доски трапа, гвозди нашлись в машинном отделении.

Эти трие суток дались не дешево. Смерть неотрывно смотрела молодым морякам прямо в глаза. Катер бросало, швыряло, многотонные массы воды поминутно обрушивались на его палубу. Волны отшибли оба привальные бруса, вышибли в носовой части подушки, рубили бортики. Слово выбиваясь из последних сил, катер стонал, скрипел, трещал, каловался, черпал бортами воду. И по всем книгам, по всем расчетам, он обязательно должен был или перевернуться, или, разломившись, пойти ко дну. Но катер все-таки выдержал. Мастера ленинградского судостроительного завода Северной верфи 5 хорошо, на совесть, по-стахановски поработали в свое время; думали ли они, подгоняя брусья и настила палубу, что через шесть лет двое молодых черноморцев, попавших на море в беду, горячо поблагодарят за работу своих неизвестных советских братишек из Ленинграда!

Наконец руль был готов. Как раз и шторм начал утихать. Решили идти своим ходом. По куда идти? На катере не было ни карты, ни приборов для определения. Рулевой знал только одно: ветром катер спосило все время на восток, — значит, курс надо брать на ост.

Пустил мотор — сначала тихо, чтобы попробовать новый руль на малом ходу. Руль действовал, но держать его приходилось вдвоем. Так и держали вдвоем все десять часов, пока на одном из поворотов руль не сломался. Слабые доски не выдержали напора воды.

Еще двое суток дрейфа, двое суток напряженной работы. Разобрали стеллаж для глубинных бомб. Это были добротные вязовые доски, руль получился на славу. Опять застучал мотор, катер пошел своим ходом. Казалось, все испытания уже позади, но к вечеру горизонт вновь затянулся свинцовой мглой, солнце садилось зловеще, усилился порывистый, недобрый ветер, на волнах закипели барашки.

Надвигался второй шторм. И он разразился. Это был такой шторм, по сравнению с которым первый казался лишь вступлением, легкой зыбью. В непроглядной тьме свирепый

ветер вздымал перед катером водяные горы, рыл водяные пронасти; катер, дрожа всем корпусом, проваливался в них, чтобы через минуту опять взлететь на гребень и повиснуть над бездной.

Пришлось снова лечь в дрейф. Временами, когда шторм немного стихал, друзья пробовали включать моторы. По больше сидели в каюте и, отделенные от гневного ревущего моря лишь тонкой деревянной перегородкой, беседовали, ободряя друг друга. Эти несколько дней сблизили двух комсомольцев так, словно они пробыли вместе целые годы. Когда однажды Румянцев хотел выйти на палубу, Клячин остановил его:

— Подожди. Пойдем вместе.

— Ты что, боишься за меня? — спросил Румянцев.

— Не за тебя, а за себя, — серьезно ответил Клячин. — А вдруг тебя смоем волной? Куда я денусь тогда? Мне теперь без тебя и жизнь покажется не мила.

Рукопожатие, которым обменялись они после этих слов, осталось навсегда в памяти у каждого из них.

В каюте нашлась книга. Ее страницы рассказывали о бесконечных похороненных знаменитого шутника Хаджи Насреддина. Под яростный гул шторма; под рев и свист северного ветра, друзья читали эту книгу и вместе смеялись над забавными приключениями и замысловатыми шутками веселого бродяги. Они говорили друг другу:

— Он умел выкручиваться из любых положений, этот Хаджа Насреддин. Так неужели мы, советские моряки, не выкрутимся?

Катер, сделанный руками ленинградских рабочих, выдержал и второй шторм. На девятые сутки плавания ночью с неба проглянули звезды, ветер утих, а утром вдаль выступили туманные, едва заметные очертания берега.

Друзья переглянулись. На их лицах была и радость и тревога... А что если это вражеский берег? Может быть, штормом их пригнало обратно, и, высадившись, они попадут прямо к немцам...

Пролетевшие стороной немецкие самолеты еще больше усилили подозрения.

Горючего оставалось в обрез — только-только дотянуть до берега. Друзья решили подойти ближе и организовать наблюдение. Прошли сутки, вторые, третьи. Берег был погрешнему тих и безлюден.

— Надо высаживаться, — сказал Клячин. — Пойдем разведем.

Приготовили винтовки, гранаты. Пулемет и сейф с секретными документами опустили на

дно. Условились в случае столкновения с немцами отстреливаться до последнего патрона и пробиваться во что бы то ни стало обратно к катеру, чтобы взорвать его.

Вот, наконец, и земля под погами. С бесконечными предосторожностями, прячась в кустах и лощинах, переползая открытые места, друзья направились вглубь.

Встретившийся па тропинке двенадцатилетний мальчик рассеял их сомнения. Они при-

стали к советскому берегу. Под погами уже была наша земля!..

Двенадцать суток комсомольцы были в ре лицом к лицу с разъяренной стихией. Спасая свой корабль и драгоценный груз оружия, двенадцать суток они с неослабевающим мужеством отражали свирепейший натиск штормов. Каждая минута, каждое мгновение грозили им гибелью, но, презирая опасность, они до конца выполнили воинский долг.

Комары

В героической летописи Черноморского флота одно из первых мест по праву займут страницы, посвященные боевым действиям катеров.

За этими маленькими кораблями уже давно укрепилось шутовское прозвище — «комары». Заслышав стук катерного мотора, на эсминцах и крейсерах говорили: «Комар жужжит». И — что греха таить! — был в этих словах оттенок снисходительного пренебрежения. В самом деле, «комар» со своими пушечками и пулеметами выглядел рядом с крейсером или эсминцем до крайности скромно, — ни грозных башен, ни торпедных аппаратов, ни могучей брони... Чуть сильнее волна, «комар» уже спешит в бухту. Навстрочу ему смеются: «Что, комар, не любишь соленой воды?»

Моряки на катерах, не смущаясь, продолжали учиться повышать боевую подготовку. Началась война, и тогда скромные маленькие «комары» показали себя. Их укусы губительны, смертельны для врага, их не останавливают в походах ни огневые завесы, ни туманы, ни штормы. Десятки потопленных вражеских кораблей, сотни сбитых самолетов, разгромленных артиллерийских и минометных батарей, тысячи истребленных фашистов — таковы первые, далеко не окончательные, итоги боевых действий черноморских катеров.

Бедаром немцы возненавидели «комаров» звериной, лютой ненавистью. Раньше, в первые дни войны, фашистские самолеты часто даже и не бомбили катера, считая, очевидно, слишком мелкой целью. Теперь же, заметив где-нибудь советский катер, немцы посылают на него три, пять, девять «Юнкерсов», засыпают бомбами, поливают свинцом из пулеметов. Но юркий, подвижной «комар», уверты-

ваясь и маневрируя, ухитряется выйти невредимым из боя, а иногда вписывает в свехтенный журнал один-два сбитых самолета. Можно было бы назвать десятки катеров, и вергшихся за время войны пятидесяти — и стидесяти воздушным атакам каждый. А еи такие, как, например, катер под командованием лейтенанта Михаила Малахова, который отбил по сто сорок — сто пятьдесят атак. И ничего — уцелели, продолжают исполнять свою службу.

Эта служба трудна и опасна. «Комары» поручают самые разнообразные операции. Обстреливают берега, высаживают десант, копвоируют транспорты, несут дозоры, ходят в разведку. Нет такой задачи, которая бы бы невыполнима для «комара». Маленький юркий, он пролезает всюду. Любые перекаротоки, мелководья доступны ему. Он зарается глубоко во вражеский тыл и нежданно открывает сокрушительный огонь фашистским войскам. Шляя, клонится и летится срезанный пулями камыш, взлетает к небу фонтан воды и грязь, в панике, колено увязая в тине, разбегаются фашиские солдаты, рвут построики и опрокидывают повозки обезумевшие лошади... Десятки минут огня — сотни вражеских трупов, тысячи уничтоженных боеприпасов. А когда выйдут, опомнившись от лихого полета, подтянутся к берегу свою артиллерию, — «комара» уже и след простыл. Неудовимый, стрелительный, он исчез, чтобы так же внезапно грозно появиться перед фашистами где-нибудь в другом месте...

Беседуя с командирами черноморских катеров, никогда не следует произносить слово «подвиг». Услышав это слово, командиры смеются, ответы их становятся необычай-

жупыми. Подвиги?.. Нет, команда данного катера никаких особых подвигов не совершила. Катер несет обычную службу. Боевые дни — вот и все...

Катеру под командованием лейтенанта штуря Геннадиевича Кривоносова было поручено сопровождать пловучий док из одного порта в другой. Немецкие самолеты-разведчики заметили док. Вскоре появились бомбардировщики. Торжествующе гудя моторами, они легли на боевой курс. Они, вероятно, уже заранее считали док потопленным. Не тут-то было! На пути хищников встала стена огня. Все попытки фашистских летчиков провалиться сквозь огневую завесу, все уловки хитрости оказались бесплодными. Не теряя скорости, ни точности, «комар» сменял переносить огонь. Тогда фашисты всю свою ярость обратили против катера. Они засыпали его бомбами — и крупными, и мелкими — заливали свинцом из пулеметов. Вода вокруг кипела, вздымалась, бурлила, но «комар», увертываясь от бомб, выскакивал из-под самых пуль, не прекращая ответного огня.

Воздушная атака была отбита. Но за первой атакой последовала вторая, третья, четвертая. С утра и до темноты вражеская авиация упорно и ожесточенно бомбила док и сопровождавший его маленький катер. Не меньше тридцати вражеских самолетов видел над собой в этот день лейтенант Кривоносов. Орудия и пулеметы катера накалились, масло в накатниках закипело, надува была засыпана пустыми гильзами.

Ни одна фашистская бомба, ни одна пулелетная очередь не попали в цель. Без всяких повреждений, без единой пробоины, катер и док прибыли в назначенный пункт. «Комар» возобновил целиком израсходованный боезапас и скромно прижался к стенке, ожидая новых приказаний. Лейтенант Кривоносов доложил командованию: «Задание выполнено, потерь в личном составе и в материальной части не имеется». Так же скупно и кратко командир поблагодарил лейтенанта за отличное выполнение задания. Ни о каких подвигах между ними не было сказано ни одного слова. С точки зрения лейтенанта Кривоносова и его начальника, это был будничныи, рядовой поход. Но мы позволим себе высказать иное мнение. Нет, это был не просто будничныи, рядовой поход, это был день, овеянный дыханием немеркнувшей героики, золотой день лейтенанта Кривоносова! Он молод и богат такими днями, потому и не замечает их блеска. Но замечает, запоминает родина, чтобы

потом в должный час отблагодарить своих отважных сыновей.

Лейтенант Иван Поликарпович Раевский вышел однажды в море, имея задание приблизиться к занятому врагами берегу и разведать огневые точки и секторы обстрела противника. В переводе на обычный язык это значит, что катеру поручено пройти вдоль берега под всеми орудиями и всеми пулеметами противника, привлекая на себя их огонь. С хладнокровием и спокойствием географа, уточняющего карту, лейтенант Раевский в шестибалльный шторм повел свой старенький катер прямо на батареи. Снаряды рвались по носу, по корме, по бортам, а катер шел все ближе к берегу, чтобы вызвать на огонь еще и пулеметы. Противник обрушил на дерзкого «комара» всю мощь своего огня. Берег осыпался вспышками. Лейтенант Раевский четким ровным почерком записывал в свой блокнот координаты вражеских артиллерийских и пулеметных установок. Если какая-нибудь батарея казалась ему недостаточно разведанной, он вторично вел катер под ее огонь.

Эта разведка была для Раевского лишь обычным эпизодом в длинной цепи других эпизодов — походов, дозоров, обстрелов, разведок, боев с фашистской авиацией... Такая уж беспогойная служба, ничего не поделаешь!.. Что же касается мужества, самоотверженности, выдержки, героизма, то лейтенант Раевский никогда на подобные темы не говорит. Он полагает, что эти качества сами собой присущи каждому порядочному командиру. Все зависит от задания: если задание требует порыва и героизма — будет и порыв, и героизм; задание требует скрупулезной бухгалтерской точности — будет скрупулезная бухгалтерская точность с бесконечными проверками и поправками. Важно выполнить боевое задание и по возможности «на отлично», все остальное — второстепенно. И лейтенант Раевский все задания выполняет только «на отлично»; иных оценок не значится за его стареньким катером...

Расскажем теперь о трех боевых днях катера под командованием лейтенанта Бондаренко. Выполняя боевое задание, катер заскочил в ошп из портов, занятых немцами, и схода в упор открыл артиллерийский огонь по кораблям, стоявшим в порту. Немцы были так ошеломлены столь целыхаппной дерзостью, что позволили катеру зажечь одну из шхун и уйти невредимым. В открытом море катер встретил рыбацкие шхуны, на которых была немецкая команда, расстрелял и потопил их.

Немцы, расвиравев, послали на розыски катера пикирующий бомбардировщик. В три

часа дня бомбардировщик обнаружил катер и пошел в атаку на него. С катера, навстречу коршуну, открыли огонь. Стрелять пришлось недолго: пятый снаряд угодил в хвостовую часть самолета. «Юнкерс», гудя и дымя, пошел вниз; вода закипела и сомкнулась над ним.

Катер вернулся на базу. Через два дня лейтенант Бондаренко получил новое задание: сопровождать из одного порта в другой док и ледокол «Торос», на который погрузились эвакуированные — триста человек взрослых и около ста детей.

В 10 час. 37 мин. налетел первый «Юнкерс». Его отогнали.

В 11 час. 37 мин. налетели три «Юнкерса». Один из них был сбит прямым попаданием в головную часть. Остальные, видя гибель сообщника, повернули на свой аэродром.

В 12 час. появился еще один «Юнкерс». Этому не удалось довести до конца пачатое пики. Он был сбит метким огнем кормового орудия.

Три дня... Несколько потопленных вражеских шхун, три сбитых самолета, четыреста спасенных жизней, драгоценных для родины. Сверх всего — отлично выполненное боевое задание: и док, и ледокол, конволируемые катером, пришли к месту назначения вовремя и без каких-либо повреждений.

В вахтенном журнале катера значится следующая запись пассажиров с ледокола «Торос»:

«Восхищаемся героическим экипажем катера П. Будучи пассажирами ледокола «Торос», мы наблюдали в количестве трехсот человек самоотверженную, смелую и героическую защиту ледокола и дока от налета фашистских стервятников. За сравнительно короткое время два стервятника были на глазах пассажиров сбиты метким огнем героического экипажа и пущены на дно Черного моря.

Этот героический случай воодушевил и приподнял настроение всех пассажиров от мала до велика. Даже маленькие перепуганные дети в один голос кричали: «Наши сбили гадов».

Радостью и благодарностью были наполнены сердца всех пассажиров по отношению к этому славному и мужественному экипажу после меткого расстрела двух стервятников.

Разите же еще более метко, дорогие товарищи, фашистских варваров, напавших на нашу славную родину! Желаем дальнейших успехов. Уверены, что под руководством нашей большевистской партии и великого Сталина мы победим!»

Это письмо адресовано командиру катера лейтенанту Бондаренко. Оно адресовано и помощнику лейтенанту Иванову, управителю артогнем катера, командиру кормового орудия Пекову, командиру кормового орудия Барышеву, краснофлотцам-артиллеристам Якину, Яценко, Шелесту, Щербиняку, Рукавому, Луковничкову, командиру отделения рулевых Сиренко, командиру отделения торпестов Галочкину. Родила запомнила и писала в книгу доблести их имена. Вспомину у них еще много боевых дней, еще не один раз слава осенит отважных моряков с катера!

Заглянем теперь в вахтенный журнал: теперь под командованием старшего лейтенанта Ивана Платоновича Михайлова. Нельзя сказать без волнения эти скудные записи — живут, блещут, зовут к боям и победам! одного дешевого, случайного слова нет в журнале, каждая запись пахнет порохом, каждая куплена дорогой ценой, добыта в жарком бою.

Старший лейтенант Иван Платонович Михайлов — человек хозяйственный и экономный. Он не спал бы ночей, если бы где-нибудь оставил немцам хоть один ржавый гвоздь. Не оставлять немцам ничего — крошки хлеба, ни крупинки табаку! Тем же где побывал катер старшего лейтенанта Михайлова, превращались в бесплодную пустыню для немцев. Но это только первая вина дела. Есть еще и вторая: любой человек во что бы то ни стало сохранить народное добро для своих. Иначе старший лейтенант Михайлов не считает свою задачу выполненной до конца.

Он вырвал буквально из рук у немцев шесть барж, груженных зерном. Особенно много хлопот было с двумя баржами, сшитыми на мель. Взорвать их и утопить — сжечь топку хлеба? Нет! Иван Платонович Михайлов не мог допустить такого расточительства. Отражая огнем бесчисленные атаки «Юнкерсов», он повел к застрявшим баржам буксиры. Баржи сидели крепко и не шевелились. Катер, не прекращая огня, впрягся помогать буксирам. Наконец баржи сдвинулись. Еще одно усилие — и они зачались на воде. «Юнкерсы», видя, что драгоценный для обнищавшего и голодного «терланд» хлеб ускользает из-под самого носа и уходит к большевикам, взбесились. Глядя на одного самолета, подожженного катером, охладила их ярости. Бомбы сыпались в горах. Немцы поглубили всю рыбу вокруг, но не смогли уложить в цель ни одной баржи. Баржи, буксиры и катер, не имея

ких потерь и повреждений, ушли к советским берегам.

Вскоре катеру Пвапа Платоновича Михайлова пришлось вместе с другими кораблями принимать в одном из пунктов пашу батарею и грузить ее на болиндер. Первый день погрузки прошел тихо. Успели погрузить и орудия и почти все имущество. Болиндер осел. Ночью начался отлив. К утру болиндер прочно засел на мел.

Налетели фашистские самолеты. Сколько их было? Наблюдатели и зенитчики сблизись со счета. Самолеты налетали звеньями, волнами, стучами, сбрасывали сотни бомб. Болиндер попрежнему сидел на мелу. Попробовали сдвинуть его, но он был слишком тяжело погружен. Тросы все полопались, болиндер же не поддавался ни на сантиметр.

Выход оставался один — взрывать. Иначе и сам болиндер, и погруженные на него орудия, боезапасы, военное имущество попадут немцам.

Сердце Пвапа Платоновича Михайлова забилось. Шуточное ли дело — губить такое богатство! С потемневшим, хмурым лицом он наблюдал приготовления к взрыву. И вдруг он оживился, заволновался: его осенила новая мысль.

План действий сложился мгновенно.

Два катера — один под командованием Пвапа Платоновича Михайлова и другой под командованием лейтенанта Михаила Пилариновича Малахова — под ожесточенной бомбежкой и пулеметным обстрелом с воздуха ползли на мел. Катеры ползли медленно, под их килем скрипел песок, вода кругом замутилась, винты работали почти у поверхности.

— Ничего, ничего! — твердил плотный, заволошанный Иван Платонович. — Песочек наш, советский! Пропустит!.. Давай, пажидай!.. Еще немного! Еще разик!

Моторы жалобно выли, катеры содрогались, но все-таки сантиметр за сантиметром ползли вперед. Наконец им удалось встать вплотную рядом с болиндером. Через катеры начали перегружать боезапас с болиндера на другие корабли.

Бомбежка и обстрел продолжались, по разе это могло остановить советских моряков? Перегрузка шла полным ходом. Когда болиндер был облегчен на многие сотни тонн, снова завели тросы, впрягли все имеющиеся корабли, нажали раз, нажали два — и болиндер под раскаты могучего краснофлотского грома, сдвинулся, тронулся, пошел!..

Военный груз в полной целостности и сохранности был доставлен на место. Иван Платонович Михайлов остался и на этот раз верен

себе: немцам не досталось ничего. Даже моток перепутанной проволоки, и тот забрали с собой.

Наши потери от воздушных атак были в этой операции ничтожны — одна пробоина в палубе канонерской лодки, трое раненых. А немцы потеряли пять самолетов; два из них были сбиты огнем катера старшего лейтенанта Михайлова.

Лучшие люди этого катера — младший воентехник Овсеюк, старшины 2-й статьи Садиков и Сергеев, краснофлотцы Данилов, Федулин и многие другие отлично усвоили стиль своего командира. Презренье к смерти они умеют сочетать с хозяйской разумной бережливостью, порыв и отвагу — с трезвым, спокойным расчетом. С краснофлотцем Даниловым был, например, такой случай: в самый разгар боя его послали на маленькой шлюпке для связи. Фашистские самолеты, заметив незащищенную и ничем не вооруженную шлюпку, яростно пакинулись на нее. Небогатая добыча — шлюпка с одним краснофлотцем, но фашисты привыкли действовать по принципу «хоть что-нибудь». Несчастную маленькую шлюпку засыпали бомбами. Вода, поднятая мощными взрывами, совсем закрыла ее. На катере решили, что Данилов погиб: казалось невозможным, немислимым выбраться из этого ала. По ко всеобщему удивлению и радости, Данилов скоро вернулся — цел, невредим, без единой царапины. Доложив командиру о выполнении приказа, Данилов деловито осведомился:

— Рыбу куда девать, товарищ старший лейтенант?

— Какую рыбу?

— Ну, что немцы поглушили.

Оказалось, что Данилов под бомбами и пулеметами запылся рыбной ловлей. Не пропадать же такому добру! После каждого взрыва на поверхность всплывали вверх брюхом десятки чебаков и лобанов. Данилов спокойно и хозяйственно складывал их к себе в шлюпку. Поглядывая вверх, на вражеские самолеты, он приговаривал:

— А ну, добавь, добавь еще!.. Вот это хорошо, дельно! Смотри какого лобана вывернул. А ну, еще! Давай, не жалей!

Уха получилась отменная, о ней до сих пор вспоминают на катере.

Вот услышишь такую историю — и в памяти сразу всплывают бессмертные примеры русской доблести. Безудержная, беззаветная удаля всегда сочеталась в ней с юмором и деловитой спокойной хозяйственностью. Разве краснофлотец Данилов и другие люди про-

славленного катера не прямые потомки тех севастопольских матросов, которые под страшным огнем, в дыму и грохоте разрывов, спасали котел с горячей кашей: унесли его в безопасное место, заботливо укрыли, чтобы каша не остыла, а затем, устремив вперед штыки, пошли в контратаку и дрались яростно, сдерживая напор десятикратно сильнее врага... Такова русская доблесть. Пышные одежды, поза, декламация, громкие слова чужды ей. Наши бесстрашные моряки с достоинством и честью наследуют ее святые благородные традиции.

Никогда не забудется легендарный поход сторожевого корабля «Петраш». Вечная память и слава погибшим героям, всепародный почет и любовь живым!

Выполняя боевое задание и попутно уничтожая огневые точки противника, «Петраш» сам попал под ожесточенный огонь вражеских береговых батарей. Немцам удалось своими залпами накрыть корабль. Снаряды пробивали борт, вывели из строя две пушки, пулемет, повредили рулевое управление, мачты, трубу. В двух местах возник пожар, угрожавший безопасности. Огонь врага усиливался. Обливаясь кровью, упал младший лейтенант, коммунист Емеджи, краснофлотцы комсомольцы Лось и Лебедев, упал Баринский, за ним — Конко. Уже пять убитых и семь раненых насчитывалось на борту. Снаряды врага ложились все гуще. Казалось, гибель корабля неминуема. Но под градом снарядов командир старший лейтенант, коммунист Роднонов и комиссар старший политрук Пильчук возглавили героическую борьбу за спасение корабля. Пожары были потушены, пробойна в борту заделана. С поврежденными машинами и разбитым рулевым управлением кораблю все же удалось выйти из зоны артиллерийского огня противника.

Открытое море встретило «Петраша» стоким штормом. Он бушевал пять суток швыряя, бросая, заливая корабль, ежеминутно грозя потопить его. В бункерах на третий день не осталось угля, в баках — пресной воды. Корабль с каждым часом терял тонны. Тогда по приказу командира в тонны валили деревянные ящики, за ними — обломки разбитой снарядными шлюпки, потом снаряды, взялись за койки, начали разборку переборки. Из одеял и брезента соорудили паруса: пережлав шторм, подняли их... В конце концов командир открылся родному восточному берегу. Хриплым от жажды и внятным голосом командир поздравил комиссаров. Корабль вошел в бухту — весь избитый снарядными, истерзанный штормом, но живой. Моряки с других кораблей встали «Петраша» суровым, торжественным молчанием, — здесь лишними были слова.

Назовем фамилии некоторых участников героического похода. Это — младший лейтенант Апостолов, лейтенант Лашин, командир отделения рулевых Вермина, военный врач 1-го ранга Галкин, командир отделения рулевых Савинов, краснофлотцы Усачев, Демидов, Скадовский, Сулыга, Терещенко, Токмацкий. Любой корабль любого класса считался бы великой честью для себя числить людей в списках своей команды. Но они охотно шли куда угодно с «Петрашом». Пройдет немного времени (наши стахановцы на судоремонтных заводах умеют быстро ботать), и доблестная команда опять выйдет в море, на встречу своим боям и победам!

Черноморские «комары»! С каждым днем войны увеличивается список ваших героических дел. Да, можно сказать без увеличения, что черноморские «комары» пишут свою боевую историю золотыми буквами.

Герасим Курин

Повесть

I

Деревья покрылись желтыми и красными листьями. Трава хрустела под ногами, как сухое сено. Гонимые ветром тепетники носились туда и сюда, то свиваясь в хлопок, то развиваясь длинными нитями. Птицы уже пели. Кричали одни лишь грачи да галки. Они буйно взлетали кверху огромными стаями и долго играли с шумом и свистом. Потом, устав, падали вниз, словно дождь камней. Журавли все чаще курлыкали в небесной голубизне. Утки лениво поднимались с реки и, сделав медленный круг, снова садились на воду. С утренними холодами начала появляться у жинья снетница-сорока. Попрыгает, поцекочет, стащит косточку и опять скроется... Полевые работы кончились. На деревенских гумнах отчетливо раздавался мерный стук цепов. В воздухе плавали запахи влажной земли, хлеба. Тянуло дымками опивов. Куда ни повернешь,— отовсюду навигалась осень.

По вечерам крестьяне Вохтинской волости, большого подмосковного села Павлова, выходили к околице. Здесь они подолгу стояли, сбитые угрюмым страхом в молчаливую толпу. Закрайна темного неба пылала. Волны багрового света с каждой минутой поднимались выше. Наконец гигантское зарево перелескивалось через весь видимый человеческому глазу мир.

— Горит Москва-матушка! — раздавался чей-нибудь одинокий отчаянный голос.

И тогда грозный хор восклицаний вырывался из толпы пораженного народа:

— Палит... Эх, и палит же окаянный!

— Печем чорту играть,— так он угольем!

— Ахти, царь небесный! От грехов Расаея па-нет идет!..

— Грех с орех, да спас за нас! Не капючь, паря! Плохо, плохо... Пугало, вишь,

поставили у гороха. Что ж теперь,— кирпич на шею да головой в омут? Пришла Расаея крайность. Так ты мыслью лица, чем беде пособить, а не хпычь, ровню бабушка...

Эти слова произнес молодой широкоплечий мужик с решительным и смелым выражением лица, в войлочном гречневике на крутых темных кудрях. В прежнее время острые приговорки Герасима Курина безотменно встречались дружным и сочувственным смехом его односельцев. Но теперь было не так. Никто не ответил Курину. Только два-три пожилых мужика тяжело вздохнули. Да приглохли визгливые причитанья баб. Впрочем, на этот раз Герасим и сам не шутил, а говорил серьезно, даже сердито...

Постояв на месте и покрестившись на страшное небо, крестьяне один за другим повертывали назад. Повернул и Курин. Дорогой вохтинский староста Стулов пагнал его и спросил:

— Али па что надежду имеешь, Герасим?

Курин живо оборотился к старосте лицом и так крепко тряхнул кудрями, что гречневик его соскочил на затылок.

— А то? Да рази без надежды, своея, возможно? Ни час запоет сердце, одеревящает, дух от горести стеснится — вся сила прочь... А глянешь округ,— ой, много нас! Всем бы за один гуж! Ну, и... что ни делай француз, а не похерится Расаея!

Он остановился, часто и глубоко переводя дух. Потом пригнулся по земле лаштем.

— Не похерится! Не бывать тому николи!

Герасим, жена его Фетинья и десятилетний сын Панька обедали. Они сидели кружком за старым липовым столом, на котором дымилась в чугуне картофельная похлебка. Ячмыный крупняк ждал своей очереди на пестке. Отец Герасима, безногий Пахом, лежал на горячем

жите, рассыпанном для просушки по закоптелой печи, и тоже ел — кашу с конопляным маслом. Старая кровь плохо грела Пахома. Его ноги, тонкие, как жерди от застрех, давно уже не чували ни тепла, ни холода. Зато лицо, свежее, без морщин и складок, было полно молодой жизни. А глаза, запавшие в темных кругах под густыми кустями бровей, ярко горели и искрились.

Дома, как известно, и солома едома. Курины ели свой скудный обед с молчаливым удовольствием, — истово и чинно. Глядя со стороны, можно было подумать, что они не едят, а работают или готовят себя к работе. Линовыи стол был чист. С ложки не капала, — всякую каплю черная мужицкая рука подхватывала на кусок или корочку хлеба. Наконец все разом положили ложки. И шустрая Фетинья принялась быстро и ловко убирать посуду.

— Молод был, — кости глодал, — проговорил Пахом, — а теперь и кашу жевать печем...

Вохтинский староста Стулов, пришедший к Курным еще ополдень и сидевший теперь на лавке у стены, ухмыльнулся в пушистую рыжеватую бороду.

— Не след тебе, дядя Пахом, жаловаться. На восьмой десяток перепахнул, а седины зватья нет. Зубов нехватка, — то, чай, не со старости, а с молодости, как начальники повышибали. Бог тебя здоровьем за воздержанье наградил. По памяти скажу: раз один только и видел, как на свадьбе моей опрокинул ты четыре стопки, да тому уж поболее двадцати годов. Суворовец ты настоящий! Кабы не поги...

Стулов был крупный, складно кроенный мужик. Курины доводились ему сродни. И пришел он к ним нынче с тяжелым сердцем и тревожными вестями.

— Идет да палит француз, — продолжал опачатый еще до обеда разговор, — жгет. Уж и в Богородске опомнясь жег. Двоих мещан па смерть стрелил, двоих за ноги повесил. А огородника одного сжег посередь города, — рубашку в масло обмакнул, да и сжег. У коих женщины перстни на руках, — пальцы рубит. Вот до чего!

Фетинья разахалась:

— Ах оп, змей-тугарип! Нет па него креста! Натысь, как еще и войны не было, вышла я из избы, а курица кочетом и защеда, — голову сваяла...

Панька недоверчиво спросил:

— Куда ж ты ее, маманя, — голову?

Герасим строго посмотрел на жену:

— Уймись языком хлопать. Сама вр курицы, ей-ей...

— Не огразили супостата, — сказал Стулов, — не осидили. Незадогто, как француз притти, я к барину в Москву ездая. Да государь тогда был там. У Иверской прижился, на крылечко выстунил п — к шуду: «Помогите, православные! Уж я с по песох, как лутошка!» Народ п рад бы, как помочь? Баре тогда тоже жертвовал. И паш кричал: «Бери, государь, всех! В бери! Дуньку, Лупку, Марфушку... всех даю!»

— Хорош эконо! — заметил Герасим в нетопленной горнице угорел, — па дех хотел отбиться. Теперь же, как француз Богородске, от страха умирает да ногами гает. На Волгу, вишь, ему теперь мчал подошло. Об себе вся думка, — как бы не щенило. Ну, уж и барин у нас!

— Подъячий, а не барин, — с глубоим презрением в голосе проговорил Пахом, — и мужики у нас не дельные. Всеи дерев в лес двинулись. А? Что же это? Прерусский крестьянин пыжик был, а поне жик сделался. Прежде как было? Сидели в семьсот восемьдесят восьмом годе под Шковым, с гренадером одним в секрете. Зя было, в декабре. От мороза сердце стыло. С вечера сменить нас должны были. Нет сны! И уж почка на сходе, и заря теплая. Мороз злей, да злей. А мы все в окопе. коли так у нас не водилось. Суворов, Александр Васильич, граф, — отец солдату беспорядку не допускал. Ан, сидим. Гово мне гренадер: «Дядя, зря ведь мы сидим! Ушли наши, — слышать было, как уход бросили нас, забыли, верный нам з каюк...» Молод был товарищ мой, шипи пый. Плачет... Я ему: «Сморчок! Раз о ва нет, стало, умереть нам здесь поруч. И умрем!» Не успел я слов своих заверил, как отец наш, Суворов граф, Александр сивич, сам собой, в плащике на ры меху («родительским» звал оп плащик г прямо к нам из теменн ночной шагает, лову мою в обе рученьки берет, к себе п жимает, в губы целует...

Пахом заерзал под рваной бараньей оной, захрипел, закашлялся.

— Целует... «Прямой, — говорит, — ты ский солдат! Спаснбо, — говорит, — А Суворов детей своих даром не отдаст. Вот как было! Потом дознались: всю во отец по секретам ходил, пока армия в жепье шла. Эх, старина-то, старина! — взнул Пахом. — А она с душой была! Бю

Мужик, крестьянин расейский... Да разве побежал бы я в лес хорониться?..

Папка всегда ждал дедушкиных рассказов, как праздника. Красный и потный от волнения и восторга, он zvolно выкрикнул:

— Чать, и мы не бежим!

Герасим встал с места и оглядел родную избу. Самая незавидная была у Куриных изба, — из топкого леса, с крышей «под захмыл», без конька; топилаь по-черному, освещалась лучиной в старинном жестяном свеще; стены голые, полати низкие, окна крохотные, с тусклыми зеленоватыми стеклами... Отдать французу? Не жалко! А сотни тысяч таких изб — Россия. Значит, Россию французу отдать? Эге! И он понял, как бесценно дорого ему это убогое жилье. Но чем защитить его?

— Расея похериться не может, — повторил он свою главную мысль, — а беда, батя, в том, что осиротил бог Расею. Нет у нас Суворова! Осталась так же, как барин наш, — бегуны... Знай, кубышки по огородам закапывают да пятки салом мажут. А о чем побольше, — и смысла нет... Больно крушусь об отечестве я!..

Пахом живо повернулся на жите и свесил вниз черную лохматую голову.

— Сморок! — сказал он грозно. — Суворова нет — суворовцев род цел. Некуда ему деться. А Кутузов, Михайла Ларивоныч? Навидал бы ты, как в семьсот девяностом годе вел он нас Измаил брать.. Глазок ему тогда пулей вышибло, замертво пал, а в крепость привел! Он — за нас, мы — за него, по-суворовски. Надо как? Всем в один секрет! Чтобы вся Расея в поход шла! Выкуси, француз! А Фетинью с Папкой хохь и в лес отправь. С них взятки гладки.

— Я в лес не пойду! — решительно сказал Папка и нахмурился, как отец, — вырос я, в прятки играть!

— Нет уж, батюшка, без мужа я от француза не отсидица, — горячо возразила и Фетинья, — где конь, там и грива. Вместе жили, — вместе помрем. Кабы был Герасим, как все, — без гордости умной, — ушли бы мы обок в лес и отгтернулись. Мир — велик человек, ему никто не перечь. Мир решил — в лес. И спасутся. А нам смерть причину здесь легче пайдет. И все ты, батюшка: Суворов да Кутузов, а уж ден через пять и ходу нигуда не станет от французов...

Говоря это, Фетинья полозрительно часто сморкалась в подол сарафана. Голос ее дрожал. На длинных ресницах круглых синих глаз повисли слезинки.

— Упрям ты, Гарася! Видать, что и вер-

но: дважды жена мила мужу бывает, — как в избу введут да как воп понесут...

Герасим ходил взад и вперед по горнице, кусая в глубокой задумчивости тугой ус. Он не слышал того, что тараторила Фетинья. Но последние ее слова до него долетели. И он сразу догадался, о чем шла речь. Не слышав, мог бы повторить все сказанное женой, — так много раз уже велись эти разговоры. Герасим крикнул:

— Воляна ты, баба, в языке, что чорт в своей музыке! Кто кому у нас главный? Ниякни! Как велю, так и будет.

Фетинья отвернулась лицом к стене и заплакала. Плечи ее судорожно дергались под белой сорочкой. Папка, не любивший семейных сцен, полез к деду на печь. Стулов поднялся со скамьи и протянул руку за шапкой.

— В добрый час молвить, — в худой помолчать... Вот, стало быть, и все новости: француз в Богородске, барин в Саратов поворит тягала задать, мужики вохтинские в лес подаются... А что нам делать, — ума не приложу!..

Он уже шагнул было к порогу, да остановился, словно все еще ждал ответа на свой вопрос. Но Герасим, бледный, смотрел в окно и молчал. Пахом и Папка не шевелились. Фетинья сидела на кровати, опустив на грудь голову. В избе Куриных сделалось так тихо, будто в ней не было ни одного человека. А было их пятеро...

Сосновый бор, с трех сторон окружавший Павлово, был так густ и темен, что и среди дня трудно было разглядеть в нем человека. В этот бор въехала большая коляска, запряженная четверником добрых серых копей. От множества наполнявших ее баулов, корзин и погребцов она была похожа на движущуюся баню. Кучер безжалостно оглаживал кнутом сытую запряжку. Кони рвались из хомутов могучими жаркими грудями и легко выносили по неукатанной, корнистой дороге тяжелый экипаж.

В коляске сидел ослывший желтым жиром человек в белом картузе и широком синем пальто с дюжиной откидных воротников, из которых каждый нижний был чуточку длиннее верхнего. Коляска раскачивалась на корцевищах и выбоинах, как корабль в бурю. Путешественник опасливо хватался за дверцы толстыми пальцами. Бледные губы его шептали:

— Помяни, господи, паря Давида и всю кротость его...

По коляску снова встряхивало. Бедняга прикусывал язык и, кривя рст от боли, наспех договаривал заклятье:

— ...даря Соломона и всю мудрость его! Пронеси, господи!

Экипаж уже миновал большую часть за-секи, когда в стороне от дороги зазвезели топоры и послышался сбивчивый гомон чело-вечьих и звериных голосов. На глухой поля-не в беспорядке громоздились сундуки и ящи-ки, детские люльки, бочки и горшки, мешки с хлебом и ведра с куриными яйцами. Возле скарба хрюкали свиньи, горланили петухи, лаiali собаки, мычали коровы и ржали стре-ноженные лошади. Бабы кормили грудных ребят. Мужики копали ямы. Заступы и ло-паты дружно ударялись в землю, покрытую иглом и сосновыми шишками. Подростки раскладывали по ямам домашнее добро. Завидев коляску, крестьяне бросили работу, спряли шапки и низко поклонились. Отъезжавший барин улыбался им, заслонив глаза золотой лорнеткой на длинном черном шпурке.

Долго и внимательно смотрели павловские мужики велед быстро ухидившей вперед ко-ляске. Наконец рабой молодец в голубых пестрядинных портах крякнул и сплюнул.

— Вишь, собачий сын,— собрал оброк, да и был таков! Покатил рассказывать донским казакам азовские вести. А что без него, что с ним,— все едино. Эх, братцы, пропали без головы наши головушки!

Фетинья заметила, как кошка лижет хвост. «Бывает это только перед непогодой»,— подумала она.— И действительно, с обеден засвисел ветер, обложил небо серыми тучами, и дробный дождик упал на зем-лю сначала косыми полосами холодной воды, а потом мелкой и редкой россыпью. Павлов-ские поля были гладки и печально-пусты. Сосновый бор синел вокруг сплошной стеной.

Белый телок стоял на куринском дворе перед плотно притворенной дверкой плетеного катушка. Дождь смертельно надоел телку. Вид его ясно говорил о том, как сильно хо-чется ему скорей попасть под крышу и по-печниться па мягкой соломе. Обмахивая хво-стом мокрые пегие ребра, к нему медленно подошла корова. Радостно поддав задом, те-лок сейчас же с жадностью прильнул к тя-желому материнскому вымени.

В другое время Фетинья со всех ног ки-нулась бы из избы; гремя ведрами, оттолк-нула бы телка, и горячие струи пепистого парного молока звонко забилы бы в ведерные днища. Но на этот раз она даже не видела

того, что происходило па дворе. Фетинья поглочена проводами неожиданно уезжав-мужа.

Еще утром Пахом помапил к себе Гер-ма и сказал:

— Вот что, сынок! Бывает, что и свинья па жолудь пабредет. Да ни к ч-пам-то в потемках толкаться. А есть с-ствие. Слыхать, Михаила Ларивоныч Кур-с армией за Москвой стоит, на Калуж-дороге. Съезди ты к нему, поклонись. Д-жи: Курин, мол, я, Герасимом звать, ро-днтя того самого капрала Курина, что Измаилом вас, Михаила Ларивоныч, ране-из огня на себе выволок. И спроси: чем-род па помогу ему, Кутузову, встать ма-Так прямо и спроси, не остерегайся. Уж-хайла Ларивоныч скажет... Скажет... Ст-орел недаром клеветнет...

И Пахом уверенно махнул рукой.

Герасим загорелся. Вот уже и лошадь-ложепа, ждет его под навесом. Онучи и ма Герасима прочно, по-дорожному, затя-у него на ногах. Армяк плотно запахну-широкой груди. Красный кушак туго с-сал стройную фигуру. Длинный кнут-тается на руке. Герасим чмокнул рас-ного Паньку и обнял ошеломленную ма Низко опустив голову, принял отцовское-гословение. Потом решительно тряхнул-своей привычке, геловой и нахлобучил-чепький гречневик. Он был готов.

По двору торжественно выступал па-Пыльный хвост его памок и грустно ви-вниз. Но осанка нисколько не потеряла-того своей важности. Дойдя до ворот, ма остановился, судорожно качнул выс-жестким гребнем и раскрыл рот: ку-ка-р-

По тут распахнулись ворота, и пры-буланая кобылка выбежала из них хо-рысью. На бегу подбирая вожжи, Гера-вскочил в порожнюю телегу. Застынул-внезапной опасностью, петух так и не у-допеть свою короткую песню...

II

Лето прошло, па леташевских мужиков-как говорится, даже и солищем не с-Поля вокруг Леташевки лежали в пуст-Ляд, старательно расчищенный, был гут-вален хворостом. Полерпудая белоусом-заросль выбита лошадиной пастьбой. По-рель срубленный лес заставлен дрова-кладками. По всему было видно, что в-теперь здесь не крестьянское хозяйство.

Да и сама Леташевка выглядела непе-но. Окна в темных избах-развалаюхах

до блеска вымыты. Ставни покрашены. Сквозь узорную резьбу кое-где уцелевших карнизов ярче прежнего мигала разноцветная фольга. Под навесами дворов гладкие кони смачно жевали овес и сено. За окладной звонко пели флейты, гулко трещали барабаны. На огородах офицерские денщики усердно выдували из самоваров тучи искр. Солдаты варили щи и кашу в таганках, повешенных в жердях над дымными кострами. Сотни военных людей отбивали по деревенским улицам стройный и точный шаг...

Гренадерский караул дружнобрякнул ружьями. Несколько молодых офицеров с озабоченными лицами разом выскочили из калитки на улицу и рассыпались по ней, сверкая серебром адъютантских пинуров на мундирах. Один из них живо обогнул длинный овин с выведенной мелом на стене крупной надписью: «Секретная квартирмейстерская канцелярия». Взбежав на крыльцо старой двухкопной избы, прочно подпертой свежими слягами, через минуту он стоял уже на пороге маленькой горенки, почтительно вытянувшись.

Небрежно прикрытая шпальей койка занимала правый угол горенки. Налево громоздилась пузатая русская печь. Круглая дыра в стене служила дымоходом.— изба была курная. За колченогим столиком, согнувшись над бумагами, сидел худой и бледный генерал. На лице его, змятом бессонницей, ясно светились большие серые глаза. Жидкие полуседые волосы казались растрепанными бурей.

— Что случилось? — спросил он, не поднимая головы и продолжая быстро водить гусиным пером по широкому листу голубоватой бумаги.

Другое перо торчало у него за ухом.

— Ваше превосходительство, — еле переводя дух от скорого бега, заговорил адъютант, — его светлость повелел... Французский парламентар граф Лористон уже на аванпостах, ваше превосходительство... Его светлость повелел препроводить его в Тарутинский лагерь... И сам туда, не отлагая, выехать изволит...

Усталый генерал разогнулся и обнаружил из груди бриллиантовую звезду и несколько связанных алмазных орден, повешенных к сюртучному борту.

— Я — дежурный генерал армии, — сказал он, — и не могу не знать того, о чем вы мне толкуете...

— Так точно, ваше превосходительство! Его светлость повелел...

Адъютант был смущен, и ему никак не удавалось добраться до главного.

— Да бросьте ваши подходы, поручик! — с досадой воскликнул дежурный генерал, выдернул из-за уха запасное перо, швырнул его под стол и закашлялся.

Он долго служил в строю, командуя дивизией. Потом начальствовал арбергардом русской армии и до самого Бородина нес на себе грозный патисс французских полчищ. Он был боевым генералом и ужасно не любил штабных изворотов, неприятная мелочность которых дожимала его плуце плуль и картечи. Зашив кашель бульоном, недавно присланным из Петербурга женой, он строго приказал:

— Потрудитесь, поручик, без обиняков доложить, что угодно Михайле Ларивоньчу! Без проволочек-е!

Тогда адъютант решительно проговорил:

— Его светлость повелел просить ваше превосходительство уступить ему на время переговоров с графом Лористоном ваши эполеты. Что же до собственных эполет его светлости, — они по неупотреблению столь стали черны и неприглядны, что неудобным оказывается... с посланцем наполеоновым в них переговаривать.

Дежурный генерал откинулся на спинку стула, изумленный.

— Как-с? Ну, и нашел же князь у кого спрашивать эполеты... Будто певедомо ему, что Коновницын тоже отнюдь не франт... Генерал Милорадович, барон Бенингсен — другое дело. А я... Ха-ха-ха!

Он рассмеялся. Изнуренное лицо его оживилось и порозовело. Вокруг глаз разбежались добрые тонкие морщинки. И впрямь, генерал Коновницын совсем не был франтом. Длиннопольный зеленый сюртук его давно порыхжел на солнце. Золотое шитье воротника посекалось и поблекло. А с эполет пучками свисала вниз размотавшаяся тусклая мишура.

— Мой совет светлейшему — взять у Милорадовича. А впрочем...

И он принялся отстегивать свои эполеты.

Деревня Тарутино лежала в трех верстах от Леташевки, тоже по Галужской дороге, только в стороне, за большаком. Позади деревни, на холмах, раскинут был лагерь русской армии, — город палаток, шалашей и землянок; огромный муравейник, в котором ни днем, ни ночью не прекращалось движение многих тысяч людей.

Деревня и лагерь топили в красном блеске вечерней зари. Очертания предметов почти стирались. Над извилистой речкой Нарой гу-

сто алед пар. Сумеречно голубело осеннее небо. Лагерь дымял еще не распольхавшимися кострами.

День двадцать третьего сентября подходил к концу, когда в Тарутине, у избы, отведенной для приема французского парламентаря, из крытых дрожек, за которыми во весь опор мчалась сотня казаков, выпрыгнул он сам...

Опустив красивую черноволосую голову в низком поклоне, граф Лористон стоял перед русским главнокомандующим по середине просторной комнаты, убранной дорогими коврами. Высокая грудь посла неровно дышала под красными откосами снега гвардейского мундира. Он был взволнован важностью минуты. Однако ловкая щеголеватость, свойственная ему всегда во всем, не оставляла его даже здесь, в самом сердце враждебной армии, даже при этом разговоре с ее вождем.

Зато совершенно никакой ловкости, никакой щеголеватости не было в Кутузове. Узкий мундир с короткими фалдочками казался на его малорослой, рыхло-тучной фигуре какой-то забавной маскарадной выдумкой. Шляпа с пестрым генеральским плюмажем странно походила на детскую игрушку в немощно дрожавших руках. Лористон сразу заметил и это и еще многое: перекинутую через плечо кожаную портупею от забытой дома шпаги; грязноватый шарф из серебряной канители, предательски развязавшийся на круглом, мягком животе... Какая неряшливая дряхлость!

— Скажите же мне, граф, — спрашивал фельдмаршал, шамкая и по-стариковски жуя тонкими губами, — приплась ли по вкусу его французскому величеству первопрестольная столица наша?

Его глаз, выбитый двадцать два года назад турецкой пулей под Измаилом, слезился. И он беспрестанно подносил к нему небольшой батистовый платок. Крупный, мясистый нос, покрытый, как и щеки, сеткой красноватых жилок, то и дело подергивался, — будто вынюхивал с мышиной робостью воздух. Лористон был удовлетворен своими наблюдениями.

— Чудесный город! — развязно отвечал он. — Чудесный! Это Париж Азия, — необыкновенное сочетание европейских удобств с восточным привольем быта. Но я должен пожаловаться вашей светлости на Москву: она встретила нас не очень гостеприимно.

Он любезно улыбнулся, чтобы придать нужный смысл своему тонкому упоминанию о

грубом и дерзком поведении Москвы. Кутуз должен был оценить учтивую сдержанность Лористона. «Встретила не очень гостеприимно», — может ли победитель выразиться скромнее? А ведь Москва приплась горю лишь только вступил в нее величайший человек эпохи. И кончила тем, что с возмущительным, наглым упрямством выгорела на глазах дотла... Сокрушенно вздыхая, Кутуз мелкой иноходью окружил комнату. Он так улыбку, с изысканной старофранцузской любезностью.

— Как быть, милейший граф! Но все же полагаю, на холодность московского приема вам жаловаться отнюдь не резон...

Лористон вздрогнул. Острые белые его зло сверкнули. «Холодность приема? Что это, намек? Да, чорт возьми, московские жары были горячее, чем того желали император Наполеон и его армия! Город рухнул в костер, зажженный русскими руками...

— Слышали мы здесь, — добродушно продолжал между тем фельдмаршал, — что французское величество повелел учредить в Москве театр. Будто и спектакли уже крылись. А и то верно ли, что его величество намерен выписать в Москву из Франции лучших самых артистов?

Лористону начинало чудиться в болоте Кутузова издевательство. Правда, он не был в том уверен. Но на всякий случай решил немедленно припугнуть старика. И поэтом не отвечая на его вопросы, сказал с патетичной сухостью:

— Моему государю непонятно варварство с которым сожгли прекрасный древний театр каторжники, вышущенные из тюрем, по поражению московских властей.

Кутузов беспомощно развел руками, вздохнул так глубоко и протяжно, словно груди его повернулись мельничные жернова. Тон посла сделался еще суровее и строже.

— И вообще, что это за способ ведения войны? Тысячу, две тысячи лет тому назад, может быть, и считался общепринятым. Теперь же...

— Но ведь вы говорите о каторжниках, граф, — почти простонал Кутузов, — а русский народ всегда и везде одинаков. Мало, что и в Париже нет недостатка в угнетенных и грабителях...

— Речь не о московских каторжниках, граф, — о том варварском способе ведения войны, который применяется в Испании.

Кутузов смущенно теребил пухлыми пальцами бахрому своего шарфа.

— Я в отчаянии! Чем заслужила на

едная армия столь жестокие упреки? И педто не оправдалась она во мнении его французского величества даже под... Бородиным? При слове «Бородино» Лористон опять вздрогнул.

— Упреки императора Наполеона не относятся к армии, ваша светлость. Император, мой государь, возмущен населением, мужиками. Вот настоящие варвары! Они нападают на наших солдат, когда те по неосторожности отдаляются от своих отрядов в одиночку или малыми партиями. Нападают и истребляют их с яростью хищных зверей. Они жгут свои дома, хлеб на полях... Неслыханно! Император Наполеон не понимает, как все это возможно. Он требует, чтобы ваша светлость приняла меры!

— Бог мой, бог мой!— воскликнул Кутузов.— Чего не совершил бы я, чтобы угодить го французскому величеству! По переменить браз мыслей необразованного народа нашего ей-ей не в силах. Мужики почитают войну с го французским величеством как бы за нашествие татар. Кто выбьет из темных голов такое странное предубеждение?

Жалкая растерянность русского фельдмаршала была очевидна. И Лористон любовался э. Еще одна смешная подробность в костюме Кутузова бросилась ему в глаза: эполеты... или — новенький, яркий, с задорной лихою выгнутый на манер крыла гигантской обочки; другой — зановенный и тусклый, размотавшейся мишурой. Кто снабдил стало чудака столь разнобойной бутафорией? Лористон подавил в себе усмешку. Да, конечно, намеки, издевательство, — все это лишь чудилось ему. Откуда занял бы фельдмаршал прыть для насмешек? Это ведь не эпюты... Нет! Просто он отчаянно встревожен разговором, вышел из равновесия и лепечет е, что ни попадаетея на язык. Окончательно идя к такому заключению, Лористон смягчил тон.

— Странная, странная война, князь! Нежели она будет продолжаться вечно? Мой сударь искренне желает ее конца... Его ужба с императором Александром порвалась неожиданно, по причинам, в которых непонина ни та, ни другая сторона. Две великих иции враждуют. Зачем? Император Наполеон тел бы навсегда прекратить эту бесплодную ирию...

Когда Лористон произносил эти слова, его лос звучал с проникновенной задушевностью. Положительно, он был доволен собой. му удалось, — он считал, что Кутузов даже не заметил этого, — повернуть беседу от обих и второстепенных тем к главной, реша-

ющей. От неприятных споров о московском пожаре и народной войне, от требований и угроз — гладко скользнуть к вопросу о мире, которого так жаждет император Наполеон. Следя за действием своего ловкого маневра, Лористон мысленно поздравлял себя: ни сопротивления, ни возражений... И тогда он сказал:

— Я уполномочен вручить вашей светлости два письма моего государя. Одно предназначено для передачи императору всероссийскому. Другое — лично вам, дорогой князь.

Кутузов с почтительной готовностью принял пакеты. На лице его возникло сложное выражение — радостное и грустно-покорное одновременно. «Браво! — чуть не вскрикнул Лористон. — Браво! Половина дела сделана! О, старое дятя! Вы уже не выпутаетесь больше из наших пеленок... По где ваша прославленная лисья хитрость? Кажется, напрасно предупреждал меня о ней император. Я нахожу простодушие, трусость, детскую болтливость — и ни на сантиметр хитрости! Ха!..»

Фельдмаршал и посол сидели у стола, в широких покойных креслах, один насупротив другого. Прочитав послание Наполеона, в котором завоеватель Москвы убедительно доказывал бесцельность дальнейшей войны, Кутузов казался польщенным и растроганным. Еще бы! Величайший человек истории обращался непосредственно к нему со своими высокими мыслями... Второе письмо, подлежавшее немедленной отправке в Петербург, лежало возле фельдмаршала на столе. И Михайла Ларивонич от времени до времени бережно гладил его пухлой рукой, поросшей седыми волосками и покрытой коричневыми пятнышками.

— Мир, мир!.. — повторял он. — Как слово это близко сердцу моему, истерзанному скорбью о любезной родине! Горестно мне, что не имею от гоударя моего на предмет мира никаких наставлений... А первым двигателем быть не решаюсь, дабы не навлечь на себя беды и неосмысленных проклятий. Что до размена пленными касается, то на личное распоряжение свое тоже взять никак не могу. Перемирие? Покамест не изречет государь воли своей? Здесь я во власти и силе. И о временном прекращении действий военных завтра же вверенным мне войскам прикажу...

Лористон ясно видел: с того момента, как Кутузов глубоко и тяжело осел в своем кресле, еще явственнее обозначились в нем дряхлость и слабость. Кривой глаз слезился сильнее и сильнее. И он уже почти не отнимал от него батнистового платка.

— Я плачу,— проговорил Кутузов внезапно осявшим голосом,— плачу... Донесите же о слезах моих императору Наполеону. Скажите ему...

Нос его задвигался. Губы зачмокали. Платок плотно прижался к глазу.

— Скажите ему... Желание мое согласно с желанием России... Спокойствие и безопасность отечества — единственная цель ветхой жизни моей. Да! Именно так напишу я в всемилостивейшему государю моему... И вместе с письмом его французского величества нынче в ночь отправлю...

— Как скоро следует ждать ответа из Петербурга? — озобоченно осведомился Лористон.

По мере того, как определялось, что Кутузов желает мира не меньше Наполеона и что он, несомненно, будет влиять на императора Александра в нужном смысле, посол постепенно отбрасывал дипломатические увертки. В столь успешно начатых переговорах он и Кутузов оказались союзниками больше, чем врагами. И русский фельдмаршал охотно поддерживал тон заговорщицкой деловитости, приятный в конце концов Лористону.

— Десять дней,— отвечал он,— самый крайний термин, граф. Крайнейший!..

— Так долго? — удивился посол. — Почему, ваша светлость, не раньше?

Кутузов взял лист бумаги. Нетвердая рука его принялась выводить цифры. Это был расчет дней и часов, потребных для того, чтобы курьер мог домчаться до Петербурга, император Александр изготовить ответное послание, а он, Кутузов, получить его.

— Десять дней... Может быть, даже и одиннадцатая. Но не более никак. А затем — слава в вышних богу и на земле миру...

Долго еще офицеры главной квартиры и некоторые генералы из лагеря толпились на темной тарутинской улице возле избы, в которой главнокомандующий принимал наполеоновца посла. Белые занавески слегка покачивались на окнах. В щелки между ними можно было без труда разглядеть Кутузова и Лористона, сидевших за столом. Они беседовали горячо, но дружно, и, чем дальше, тем дружнее. Кутузов, утомленный и слабый, постаревший за один час на целый десяток лет, говорил особенно много. И заметно было, что прязливый француз слушал его с удовольствием...

Когда Лористон, отглажившись, выходил из избы, в ушах его праздничным звоном отдавались последние слова Кутузова:

— Мир! Как хорошо, дорогой граф, что мы с вами уже толкуем о мире, хотя война-то,

собственно говоря, еще только-только началась...

III

Кутузов занимал в Леташевке большую избу с трех окнах на въезде из Тарутина правой стороны. В избе была всего одна комната. Она служила Михайле Ларивоничу приемной, и кабинетом, и столовой. А спальней ему служила она же, — крошечная стояла за перегородкой.

Было за полночь. Южный ветер гнал зрачные облака. И луна то как бы занавалилась легкой тканью, то приоткрывалась. Эта небесная игра переходила на бревенчатых стенах кутузовской горницы в яркую борьбу света с тьмой. И фельдмаршал, не дозревая того, принимал в ней участие: лежал на кровати в широкой белой рубахе. Белый колпак покрывал его седую голову. Набегал яркий луч месяца, и Кутузов встал в его голубом блеске, превращая пышную гору постельного белья. Надвинулась тень, и он бесследно тонул в ней. Миз Ларивоничу было не по себе. Переговору французским послом не дались ему и Кололо в боку, ломило поясницу, а этого он уже не случалось. По спать Кутузов хотел, — мешало еще не иссякшее внутри напряжение. Он лежал, наблюдая за флюидом, которая развевывалась переплетением на стене. Свет... тени... игра... борьба. так же ли и в жизни?

Сегодня он и Лористон боролись. По Кутузов, играл лучше Лористона — «победил» борьбу. Где кончается иной раз и ли игра и где начинается борьба. — кто берет? Полчаса назад Коновницын унес с собой два пакета. Оба они адресованы в Петербург царю. По нужно, чтобы только один из них дошел до царя, а другой попал к Наполеону. Что это — игра или борьба? В царском дворе играют в Россию; здесь война, умирают за нее в кровавых боях. Багратион, витязь чести, верный друг вы... Он умер за Россию. По гибелью ее не спас ее. Подтвердить смерть любви отечеству прекрасно. А не прекрасно ли же любовь и ненависть, разум и волю? Каждый день и час долгой жизни ставит перед нами задачу: служить родине? И службой этой ковать счастливую судьбу? Кутузов знал, как служить России. Он один знал. Потому и удались его сегодняшние опыты. Однако царь не был старым фельдмаршалом. Чтобы получить победу в борьбе за Россию, Кутузов должен был уметь играть при дворе. Впрочем, разведать врагов не был в таком же точно положении

До сих пор Михайла Ларивонч лежал неподвижно. А теперь, вдруг приподнявшись локте, рассмеялся. Это был его настоящий, столько добродушный, сколько откровенно-главый смешок. Ему вспомнилось, как приезде из Петербурга к армии племянник просил его:

— Неужто и впрямь думаете вы, дядюшка, разбить Наполеона?

Михайла Ларивонч не уклонился тогда от ответа. Ничуть!

— Разбить, друг мой, не думаю,— ответил я.— а обмануть ей-ей рассчитываю!

Вечера, уходя, Коновницын заплакал. Пошел в темноте руку Кутузова и прижал к губам. Но целовал он, Петр Петрович, не его, Михайлы Ларивонча, руку,— нет! Честный, престанный сын гибнущей родины, он лобызал ее спасенье...

Кутузов посмотрел на свою правую руку. Даже потрогал ее пальцами левой. И вдруг неожиданной, неведомо откуда взявшейся в нем силой яростно ударил кулаком по стене. От этого удара звякнуло посудное стекло на столе. За дверью шевельнулись люди и загудели сонные голоса ординарцев и слуг.

— Разочтусь!— крикнул шептал Кутузов, белый от гнева и лунного света, грозно сверкая единственным глазом.— Разочтусь с канальей Бонапартом! За Москву, за Россию, за страдания народные... за все разочтусь, разбойник, с тобой!..

Коновницын со свечой в руке внимательно рассматривал двух неподвижно стоявших перед ним офицеров. Он знал их обоих давно и хорошо. Трудно было бы сыскать в русской армии людей, более предприимчивых, находчивых и смелых, чем они. Потому он и вызвал их к себе в этот глухой предутренний час. Выбор не оставлял сомнений. Оставалось правильно распределить роли.

Капитан был пониже ростом. Взгляд его бойких черных глаз казался неуловимым. Глубокий шрам рассекал надвое верхнюю губу. И во всей крепкой, приземистой фигуре этого офицера было что-то такое пазойливо-дерзкое, вызывающе-хваткое, что, всмотревшись в нее, хотелось либо зажмуриться, либо отвернуться. Однако Коновницын не сделал ни того, ни другого. Наоборот,— поставив свечу на стол, вилотную подошел к капитану и обнял его.

— Итак, вы поедете или через Боровск, или кругом Боровска,— шопотом проговорил Петр Петрович,— все равно. Задача ваша единственно в том заключается, чтобы не мнявать французам...

Сказав это, Коновницын опасливо оглянулся. Потом приоткрыл дверь и прислушался. Вскочил на скамейку и прищип ухом к круглой дымоходной дыре. Наконец снова обратился к капитану:

— Надобно, любезный мой, чтобы французы захватили вас в плен. Вот пакет... Он адресован светлейшим князем в Петербург государю. Но существенно необходимо попасть ему в бонапартовы руки. Из него должен удостовериться злодей в мирном якобы расположении мыслей светлейшего. А как удостоверится,— станет ждать из Петербурга соизволения государя нашего на мир, прохладяясь тем временем в Москве. То и надобно! Мы же здесь с каждым днем усиливаемся. Еще до субботы должен Матвей Иванович Платов¹ привезть в Тарутино с Дону тридцать казачьих полков. Да и мало ли чем еще подкрепимся мы за то время, которое Наполеоном в пустых ожиданиях препровождено будет! А там уж и начатие решительных наших военных действий последует. Все сообразили вы, капитан?

— Так точно,— отвечал офицер, поблещив,— очень даже просто сообразить — по чрезвычайной разумности плана. Только...

Он закунулся. Коновницын положил на его плечо свою легкую руку.

— Что? Как из французского плена уйти? Об этом вопрос?

Капитан молчал. Ясные, светлые глаза Петра Петровича упирались в его угрюмое лицо. Но взгляда поймать не могли.

— Как уйти вам от французов, того не знаю я. Ваше это дело. Да разве не думали вы ни о чем подобном, когда просили у светлейшего дозволения под видом хлебопашца проникнуть в Москву и убить там Бонапарта? Теперь же представляется вам путь для подвига бескровного и чистого. Нужда Россия в нем настоят самая крайняя. А вы... задумываетесь над пустяками. Неужто я ошибся в вас?

Коновницын говорил тихо, но горячо. По мере того как он говорил, на лбу капитана все туже напряживалась толстая поперечная жила. Лицо его все явственней принимало выражение мрачной гордости.

— Нет, ваше превосходительство,— вдруг вымолвил он,— вы не ошиблись во мне. Восемь поединков... Семь противников,— прямо от барьера к престолу всевышнего... Под Аустерлицем ранен в грудь, под Фридландом — в голову, на Дунае — в живот! Мне ли бо-

¹ Атаман Донского казачьего войска.

яться? Чего? Жизнь за отечество отдать? Немало не страшно! Капитана Редрикова знают в армии...

Он так сжал кулаки, что кости пальцев его затрещали. И тогда Коновницын сказал с приятным чувством господства над этим бешеным человеком:

— Армия действительно знает вас, Редриков. Коли случится,— отобьем. А не случится,— молитесь богу! Останетесь живы,— заслуга ваша щедро награждена будет.

Он обернулся ко второму офицеру:

— А вам, майор, поручаю доставить в Петербург государю императору другой пакет, в коем письме Бонапарта и подлинные намерения фельдмаршала содержатся. И так как пакет этот обязательнейшим образом в Зимний дворец, в собственные его величества руки доставлен быть должен, то и ехать вам надлежит кружным, вполне безопасным путем, через Ярославль.

Майор поклонился. Быстро деля руками в воздухе почти незаметные движения, Коновницын перекрестил обоих курьеров.

— Ни пуха, ни пера, господа! Подорожные ваши готовы. Сопровождающие ждут в дежурстве. Одно лишь время не ждет. Марш!

Сгорбившись и опершись подбородком на руки, скрещенные поверх эфеса шпаги, в старом зеленом общепармейском сюртуке нараспашку, без эполет, Кутузов сидел на складном стуле у своей избы, лицом к деревенской улице. Белый, далеко не самой первой свежести жилет выглядывал из-под его сюртука. Белая же бескозырка с красными вышущками по околышу и тулье была боком надвинута на загорелый лоб. В доброй усьмешке тонких синеватых губ, с которой Кутузов смотрел перед собой, в его усталой позе и во всей фигуре, спокойно расположившейся среди сотен незнакомых людей, было много отечески мягкого благодушия и привлекательной простоты.

За спиной Кутузова блестящей и пестрой толпой теснились генералы, штабные и свитские офицеры. Они шопотом переговаривались друг с другом, звеня саблями и брэнча орденами. Ветерок покачивал разноцветные помпоны на их высоких киверах, трепал копские хвосты на касках, развеивал гусарские ментичи, красиво расшитые золотом и богато опушенные собольим мехом, забрасывал пылью ярко начищенные ботфорты. Это было живое, веселое общество, преимущественно молодых людей, избалованных близостью к старцу, на котором тяготел великий груз надежд всей России. С кутузовской небрежностью расстег-

нул на себе мундиры и сюртуки, перекинул через плечи шарфы и португезы, они стояли за спиной этого человека, стараясь подражать ему хотя бы в мелочах.

А перед Кутузовым толпились другие... Множество их покрывало всю главную леташевскую улицу, проезды между ближайшими избами и даже часть выгона вплоть до того места, где стройно выстроены ряды наскоро обученных рекрут. Кого только не было! Какие-то захоластные пиджачники в бекешах с бобрами и со стеклянными пуговицами на венгерках, отороченных из ковыми шнурами... Длиннобородые кушчи образами и без образов,— просто с хлебной солью па деревянных блюдах, покрытых узорчатыми полотенцами... Попы с посохами на которых сверкали старинные серебряные набалдашники, с крестами и просфорами тарелочках и в узелках... Наконец — мушкетеры. Этих было особенно много. Они рвали вперед к заветной избе и просили, но не получали, как обычно, а зычными, требовательными голосами:

— Отец наш! Ружьишек да пороху поделу! С ворогом-то управиться надоть!

В стороне, под конвоем, стояли плененные французские солдаты с перепуганными лицами, без киверов и шапок, с закрученными назад руками. Их нынче утром пригнали к этому месту из-под Верей в обмен на ружья и порох. Таков был порядок, учрежденный Кутузовым в Леташевке.

Фельдмаршал смотрел, слушал и улыбался. Он не думал о том, хорошо или плохо выглядит эта ярко освещенная блеском погоды осеннего дня поразительная картина его сближения с Россией. Но высокий, благородный смысл происходившего был ему понятен. И заглухавшее в старческой слабости сердце билось сейчас в нем радостно и живо.

Случалось, что Михайла Ларивопыч не узнавал в толпе памятные ему лица. И тогда легонько кивая головой, спрашивал:

— Опять привел? Много ли?

— Полтора десятка за один прихват, ваша светлость! — зальхавая от гордости, отвечал в ответ латаный зипун, опоясанный французским палашом, с казачьей пикой на плече, — опять прохундею чирий вырезал!

Кутузов усмехался.

— А ты, слышь, поглядывай, — перечекал, и он болячку вставит...

— У-у-у! Чтой-то ты, ваша светлость! Утеперничка, по твоей милости, сами лекари!

Из толпы вытеснился старик в дырявом романовском полугубке, с охотничьим самострелом за спиной.

— А! Иван-креститель! Здравствуй, брат! — приветствовал его фельдмаршал.

Худой, но сильный старик этот, получивший свое прозвище от того, что недавно «крестил» из самопала одного за другим пятерых французов, поклонился в ноги.

— Иришел на светлость твою глянуть, — вымолил он, разгибаясь и быстрым движением головы стряхивая с глаз седые космы длинных волос, — а п того окромя, полдюжины живцов-шаромыжников¹ доставил, сдал! Вот враг!

Возле Кутузова, бок о бок с ним, стоял леский п прямой, как зная, генерал. Он был в звездах и в ленте, выложен до нестерпимого блеска, п холодно-сухое немецкое лицо его казалось неподвижным, как маска. Тут наклоня голову, он шептал фельдмаршалу по-французски:

— Предупреждаю вашу светлость: при подобном способе ведения войны мы рискуем попасть в историю с титулом людоедов. Вместо широких, открытых наступательных операций мы формируем банды Вильгельмов Теллей. Мы рады, когда эти Телли хвастаются своими подвигами, совершенными из-за угла. Армия грязных лапотников... Но почему не поднять нам забрала на шлеме? Не бросить, как на рыцарском турнире, железную перчатку врагу? Ах, ваша светлость! Я не боюсь упреков истории. К счастью, я подчиненный человек. По вы... вам...

Кутузов слушал генерала, не поворачиваясь к нему и продолжая добродушно улыбаться. Впрочем, от времени до времени он отзывался по-русски:

— Суждения вашего высокопревосходительства столь справедливы, что вряд ли и спариваемы быть могут... Так!.. Именно так!..

Это заметно подзадоривало высокого генерала. И он продолжал говорить. Между тем «Иван-креститель» исчез. На месте его очутился выдавленный толпой, измятый и обдерганный Герасим Курин. Он сорвал с головы гречневик и так низко поклонился Кутузову, что кудри его почти коснулись дорожной пыли.

— Из каких, молодец?

— Курин я, ваша светлость, — Курин Герасим Пахомов...

Михайла Ларивич поднял внимательный, бледноглазый глаз.

— Как пазвался ты? Курин? Прозвище не чужое слуху моему... Прошу извинения у вашего высокопревосходительства, по с Виль-

гельмом Теллем этим придется, как вижу, по-толковать мне...

— Капрала Курина, Пахома, сын я родной, — радостно пояснил Герасим, — и прислан от него к вашей светлости...

— Так жив еще курилка?! — воскликнул Кутузов. — Суворовцев смерть не берет! Подойди ко мне поближе, любезный мой, дай заглянуть в далекое...

Большая тяжелая слеза медленно стекала по щеке Кутузова. Но он забыл о батистовом платке.

Высокий генерал с досадой пожал плечами и отступил назад — к свите.

— Лейб-гвардии копейной артиллерии капитан Сеславин ожидает повелений вашей светлости! — громко отчеканил ординарец.

Кутузов посмотрел на него тусклым, почти мертвым взглядом. После утрепного возбуждения им владела теперь глубокая болезненная усталость. Ординарцу показалось, что фельдмаршал смотрит не на него, а сквозь него, куда-то гораздо дальше, а его, может быть, даже и вовсе не видит.

— Капитан Сеславин? — медленно повторил Кутузов. — Хорошо, позови-ка!

Как долго сжатая и, наконец, развернувшаяся пружина, в горницу ворвался офицер. Стройный, смуглый, с яркими темными глазами, он лихо вскинул правую руку к киверу, толкнул ногой за четыре шага до Кутузова и врос в пол за два, — по самой точной форме смотровой ямки. Это сразу вывело фельдмаршала из задумчивости. С бледного лица его соскочила печальная тень. Старый и большой, он смотрел на молодого и здорового офицера с удовольствием. Но всему заметно было, что Сеславин франт. Скромный артиллерийский мундир сидел на нем так ловко, как не на всяком гусаре доломан. Черный бархат воротника выглядел наряднее серебряного кавалергардского штыря.

— Прибыл по повелению вашей светлости!

Кутузов подошел к капитану и взял его за руку.

— Слушай, Сеславин! Смел ты... Смел ведь, а?

— В смелости моей прошу не усомниться, ваша светлость! Иначе невозможно мне, — я русский!

— Ага! Ты русский... Это хорошо! А вот, давеча утром, на дворе, начальник штаба всех начальствуемых мною российских армий, господин генерал-от-кавалерии барон Беннигсен, говорил мне: «Напрасно, князь, собираете вы мужиков, даете им ружья п напускаете на французов; история за то прославит вас титлом людоеда...» Как ты по сему

¹ Слово это тогда только что появилось, — от *сегр ами* (франц.) — дорогой друг.

предмету полагаешь, Сеславин? Говори прямо, коль смел!

От внезапного вопроса в глазах капитана промелькнуло смятение. Но только на миг. Оно тотчас же и исчезло, а глаза из веселых сделались строгими от сосредоточившейся в них мысли.

— Осмелюсь высказать вашей светлости,— тихо произнес он,— история не судит победителей. Да и что ни случись, судить ей нас не за что будет, ибо крестьяне не пасынки, а сыны родные российской матери своей. И, наконец, разве солдат не тот же крестьянин?

Кутузов упер свои короткие руки в широкое бока. От этого безмятежно-спокойная фигура его вдруг приобрела странно-бойкий, чуть ли не забавческий вид.

— Милый мой,— почти закричал он,— ах, обрадовал! Ах, браво! Врет немец! Брешет! Честь мужикам от того, что верными сынами родины себя находят! Честь! Слава! И до тех лишь пор наполеоново торжество возможно, покамест будет он с одними армиями сражаться, а не с народами. Где встанет народ, там упадет Наполеон. Благо нам, благо, что доблестный народ паш идет на злодея с армией шаг в шаг!

Рука Кутузова скользнула к пояснице. Он сморщился от боли и еле слышно охнул. Но преодолел себя и продолжал говорить,— только вполголоса, как бы рассуждая сам с собой:

Армия и парол — один корешок. Был капурал Курин, будет Курин — партизан... Как знать, кто из них России нужней? Для армии народ — лучший товарищ и друг, брат старший, давший от природы в естестве вещей. И потому великое, великое это дело — партизанство...

Он пристально поглядел на Сеславина.

— Слушая давеча бепингсеново вранье, вспомнил я о тебе. И приказал нынче же прислать. Еще в Турции, на Дунае, привычен я был знать в тебе не молодца лишь, а и умника. И ты вновь подтвердил, что главное лучше многих понимаешь. Вчера зять мой, князь Николай Куташев, с казаками вышел из лагеря в лес. А завтра, Сеславин, я велю и тебе дать казачью сотню. Иди, с богом, в поиск. Что?

Капитан молчал. От волнения лицо его, чистое и нежное, как у девушки, и вместе с тем мужественно-смелое и сильное по выражению глаз и рта, рделось смуглым румянцем.

— Не ударь же...

Кутузов вдруг потрещал его по щеке. И в движении этом было так много ласковой доб-

роты, что Сеславину захотелось чужью фельдмаршальскую руку совершенно так же, как целовал он в детстве благословенную его руку отца.

— Лицом в грязь не ударь! А делай пиди, лови, гони, не давай вздохнуть! Обоз — бей по обозу... Рекрутское дело по нему... Партия отсталых — отлично. Кому передышки! Рви, щипи, как жаб! Жарь! Жарь! А уж армия съест гуся и яблоками! Ты — русский, в своей среде своего парода. Требуй помощи с жиков и сам помогай им. Вместе вам не брат! Иди же! У Петра Петровича Кашинина мой повеления, — в пих все читать, чего не досказал я. Дай же мне пять тебя, партизан Сеславин... Вот А теперь иди!

IV

Герасим вернулся домой.

Еще Панька не успел отложить лошадей от нетерпения и любопытства, вот с ней под павесом, а Фетинья, по призыву мужа, уже сбегала за Стуловым. Они встали вдвоем. Длинноногий своею шагал впереди. Фетинья плелась за сердцем ее больно трепыхалось от страшных предчувствий. Как только Стулов переступил порог курипской избы, Герасим вышел навстречу.

— Полно мозги сушить, дядя Дева! Не гляди сентябрем, гляди россыпью! Оного фельдмаршала гостинец привез. Посмотришь? На погребие двадцать ружей по полсотне запалов на ружье, да свищи пульки, — полная пехота!

Стулов ахнул:

— То-ись? Стражаться велел Кутузов?

— Точно!

— Меня свет-батюшка вспомнил! — кричал с печи Нахом. — Где Нахом? Да Нахом? И выходит: Нахом-то не нов, а каков!

Старик то смеялся, то плакал. И все это судорожно порывался с печи.

— Эх, поженьки! — восклицал он. — Не опси! Сзади хомута не наденешь, — сиди проснется... Уж я бы... Сам повел бы детушки! Стар козел — одни рога и крепки по старей-то памяти, что по грамоте... Я бы... Эх, поженьки!

Озадаченный Стулов медленно опустился на скамью. Шапка его соскользнула с головы на пол, а он и не заметил. Между тем Герасим подробно рассказывал о своем свидании с Кутузовым. Как фельдмаршал ср-

вспомнил, да, видать, и не забывал никогда Пахома... Как долго и ласково толковал с Герасимом... Как прямо приказал:

— Подымай народ! Помогай войскам! Один у нас враг, так его перетак! С отцом мозгуй и наотмашь дуй!

Как дал ему Кутузов ружья, порох и свинец с этаким увещанием:

— Казенное — не дарю! В долг даю, — пять шаромыжников на возврат за одно ружьецо!

Побывал Герасим и в Тарутинском лагере.

— Шалаши да землянки, а сколько их, — счесть такого нет! Бани для солдат на речке большая. Ходят по лагерю сбитенщнки из Калуги. Пьют солдаты сбитень, — сыты, гладки. На дороге — базар. Кто чем хошь, тем и торгуй. С зари до зари пещельники валяют, а то и в пляс...

Особенно поразил его вид лагеря почью из Тарутина.

— Красота, дядя Демьян! Сила, ух! Не в обзор глазам полыхают огни, будто звезды в озере кажут, — тысячи, не перечести!

— А крепка ли армия-то? — озабоченно спросил Стулов.

— Поправляется! Слышать было, да и сам видал: что ни день, из Калуги войска идут, когда по одной, а то и по две тысячи рекрутов... Солдатикам полунубков настроили, — здравствуй, зимушка! Мороз волку за обычай, — не боязно. Чать, не французы мы — русские... В том и секрет! Сем-ка, родные, покумекаем, с чего ж нам вчипать здесь?

Герасим обернулся к отцу и сказал уважительно:

— Твое, батя, первое слово опытное... Ась?

Пахом приобрел в своей семье совершенно новый, значительный вес. Но ответила за него Фетинья. Она выскочила на середину избы и отчаянно всплеснула руками:

— Очумел! Ей-пра, вздурился! Аль жизнь постыла? Лихач бешеный... Либо в стремя и гой, либо в пень головой... Рази ты гренадер какой, чтобы стражаться? Ох, беда моя, о-хо-хонюшки!..

Она, вероятно, еще долго продолжала бы в этом роде. Только Герасиму было теперь не до уговоров. Он живо подступил к жепе. Быстрым движением сорвал с ее головы шелковый шушун, а пышные русые косы закрутил в узел, как конский хвост.

— Пластырь! Николи пальцем не тронул... Ноне ж...

Однако это была и теперь всего лишь угроза. Вспыльчивый и суровый с женой, Герасим нежно любил ее за преданность и друж-

бу. Он разжал кулак, и косы тяжело упали вниз.

— Ноне зароку не дам! Смотри, баба!

Простоволосая Фетинья стояла неподвижно, закрыв от стыда лицо обеими руками.

— И впрямь, свояченица, — сказал Стулов, укоризненно качая головой и разглаживая пышную бороду, — за коим лепшим под ногами мешаешься? Нет большака супротив х зяпна. Али не знаешь: как решит, так и станет.

Фетинья уже и не спорила.

— Твой дом, Герасипька, — шептала она помертвевшими губами, — твой дом — твоя и воля...

Пахом весело рассмеялся.

— Вот и готовы к походу. Обоз в порядке: лошади подкованы, палубы на фурах покрашены, фурлейты по местам, а Фетинья — обозным у нас начальником! Так, что ли, шонешька? Теперь и о деле вести речь возможность является. С чего приступить, детушки, невдомек вам... А по мне — ясней ясного!

Утренняя зорька догорала. Солнце одним краешком показалось на востоке и осветило широкую долину заливных лугов между павловским лесом и ближними деревнями. Посередине долины протекал ручей, образуя мочеплпы и топи, сплошь заросшие ольхой. Тянул предрассветный ветерок. Первые лучи солнца ласково ложились на холодную землю. Внизу, над болотом, слегка курился туман.

Почной морозец высушил грязь на проселках. И по застывшим их колеям, гремя и подпрыгивая, катились со всех сторон к Павлову вереницы крестьянских телег. Мужики хлестали доморощенных коньков. Многие стояли в телегах без шапок, ухая и яростно крутя вожжами поверх головы. Вожжи со свистом резали воздух. Лошади рвались вперед. Телеги громыхали. И пад этой удивительной, совсем необычной в здешних тихих местах, гоньбой плыли редкие гулькие, страшные удары набата. Они возникали в стороне Павлова, за лесом. Туда и мчались мужики...

Пожар? Нигде не было видно ни пламени, ни дыма. Что же случилось? Никто не знал. Но набатный зов не позволяет размышлять человеку. Гудит набат, и человек поднимается и несется навстречу неведомому и ужасному...

На базарной площади Павлова, кругом церковной ограды, в этот неучазанный день, — и не ярмарочный, и не воскресный даже, — словно море в бурю, кипели и бурлили грозные валы невиданного многолюдья. У папер-

ти пад могилами ветви, голых деревьев метались, растрепанные ветром. Но казалось, что их гнет и ломает не ветер, а могучая сила звуков, падавших с колокольни. Набат все еще гудел. На холодном фоне бледноглубых просветов неба и серых облаков тяжело раскачивался черный силуэт чугунного ревуна. Вдруг набатная волна оборвалась. Дробясь, она распалась на множество отсталых подголосков. И людской гомон, тонувший до сих пор в реве колокола, вспыхнул и расплескался по площади...

Уже было известно, что не случилось ни пожара, ни землетрясения, ни другого подобного бедствия. Знали, что затеян необыкновенный сход вохтинским старостой Стуловым. И что должен нынче мир судить о французах. На разных концах площади вспыхивали громкие споры.

— Гром не грянет — мужик не дронет, — кричал оборванный, тощий мужичок из дальних выселков, — ап и грянул гром-от!

— А ты — в дрожь да и тягала в лес давать, — подбивал его на горячку какой-то насмешник в шляпе с перышком.

— Смех-то зажди! Опосля смех будет! Мне в лес ни к чему, прятать неча, — вот я, как есть! Пускай укажет нам царь поголовшину, — тут мы французов, как курей, и передушим. Миром возьмем!

— Звони, звони в колокола, чтобы падаья не спала, — издевалась шляпа, — слушай, дуброва, что лес говорит!

Тощий поглядел на смехача с невыразимым презрением.

— Эх, ты! — выругался он и сплюнул, — да я хоть сам наг пойду, а и француза, как бубен, пушу! Вот те хрест!

Собравшийся в Павлове парод делился на две неравные части. Одна, большая, хотела немногого: избить французскую беду, схороняясь до времени где придется. Другая, меньшая, желала борьбы, но не знала, как начать ее, и изнывала от бездействия.

Между тем Стулов уже стоял на телеге, сняв шапку, и низко кланялся сходу на три стороны. Ветер развевал его желтую бороду.

— Православные! — старался он перекричать толпу. — Православные!

Говор стал оседать, — медленно, постепенно, всплеск за всплеском. Споры стихали. Кое-где уже с жадностью ловили громкие слова Стулова.

— ...Живем покамест мышь головы не отбела... Курин, Герасим, пахомов сын... От уголька и сыр-бор загорается... Кутузов, князь, нам наказ дослал... Самн себя решить должны!.. Мир рипет — камень сдвинет!..

Что-то небывало-повос, поднимающее обрывают дух, было в этих отрывочных выкриках старосты. Растостно и бодро вело оно над мужицкой толпой. То не бурные руганья на чем свет стоит, сонная тягота на барщину... Не десятский шатался по окнам, стуча в ставни кнутовищем и стуча на оброчный урок... Нет! Сам Кутузов звал с собой вохтинских мужиков в бой против врага... Не одна сотня сердец вдруг хмелела буйной гордостью при этих мыслях. И тогда легла на площадь глубокая, повзвонных вздохов тишина.

Вот узды и пет на телеге старосты. Вместо него стоит Герасим Курин. Руки его мерцают в комке островерхий гречневик. Липо бледные глаза горят. Он кланяется, как и Стулов, на три стороны. Жаркие слова его громом падают на толпу.

— Отдаю поклон от Кутузова, Михайла Ларивопыча! Землячки любезные! Деды, предки наши знали: беды избить надоть, и камест не пришла она. Издалеча грозится, а ты ее встреть, отвергни... Изгода готовится. А мы что? Сердце мое с насады изныло, и глядел я на мужиков, измучился. Живем-чумы бендерской ждем, а она уж на полях... Как корова живем, — кто мимо ни пройдет, всяк донт. Тыфу, пропасть как! А француз-то в Богородске ведь! Ждет, мучит... Ну, в лес народ двинулся, — хопитесь... Это что ж? Всяк Демид себе поводит... Значит, по обычаю... Хорош обычаем говорить неча, да все перевернулось. Растот под ярем взята супостагом. Всякому прижку свою прятать — ни время, ни места не дадут. Одна дурость! И тоска меня взяла черная.

Герасим высоко поднял пад головой гречневик и с размаху швырнул его под ноги. Даже лаптем привалил.

— Не стерпел, не выпес я... И наладил по отпову совету, в Леташевку, за Борово в Тарутино, где Кутузов, Михайла Ларивопыч, с войском стоит...

Толпа шевельнулась, — вся разом, бунтовала на площади один огромный человек.

— Ну?

— Видал я Кутузова... И что сказываю оп, — к вам доставить взялся...

— Ну?

— Зимы Бонапартый очень стережет. Мира просит и на все согласен. Хлебом сеном, вишь, его только уваживай. А Кутузов и зпать не в охоте об той его смерти нужде. Ни на какие лестн не идет, не полагается. Решил он Бонапартия с корнем режет. А уж понал в корень, — тяни и за вершинку. На том Кутузову самый верный помощник

ны, крестьяне, потому что много нас. Тре-
лет Михаила Ларивонч себе от нас сред-
ствия. А какое средство? Чтобы весь народ
юбка врага щетка. Войско — в рыло, а му-
шкетеры — в хвост, — вот и пускай вертится.
Служан зверь — не зверь, полдиковинки...
Подбит сокол, — так его и ворона, граючи,
забит...

— Да, у француза пистолы, — раздался из
чумы зычный голос насмешника в шляпе
перышком, — а у нас что? Дубинки хри-
товы...

— Нет, уважаемый, рюху даешь... У Ку-
зузова положение: за каждого плененника —
ушко с порохом запасем. Нам же он
долг без меры дослал, под будущую за-
лату, двадцать солдатских мушкетов повесть-
их... Кажу, Панька! — крикнул Герасим.

Панька, с суровыми глазами и сосредото-
ченно-важным выражением лица, стоял возле
телеги, с которой говорил Герасим. Он не
спеша откинул мешки. Под ними засверкали
ружейные ложа и острые трехгранные штты-
лы. Но толпе пробежал горячий шлопот. Вид
оружия ослепил людей, взбудоражил и под-
нял в них чувства, еще вчера спавшие глу-
хими, почти мертвым сном. Воспрянули по-
визанные души. Задние наперли на передних.
А передние, не сдержав напора, барахтались
уже под телегой. Один только Панька сохра-
нял непоколебимое хладнокровие. Схватив
ружье, он оборонял казенное добро не хуже
правоского солдата. Это была счастливейшая
минута его жизни, полная настоящей, серьез-
ной ответственности. За эту минуту он вырос
больше, чем за иной год.

Рядом с Куриным на телеге появился ле-
завый мужичонка из выселков. Широко раз-
двоя худыми черными руками, с которых
врядьями свешивались лохмотья армяка, он
оговорил, надрываясь от азарта:

— Люди добрые! Слово во-время и к стати
осильней письма и печати. Кутузов, князь,
делом до нас дослал. Что ж мы, али не
асейские? Да не будь я Стратилат Бизюкин,
али собором чорта не поборем. А в лес по-
дем... Нам все доступно. И пулять выв-
лится... Поначалу, конечно, кто в сук, кто
тегеру. А потом пойдет!

— Поидет вкривь и вкось, — заикнулась
ыло шляпа с перышком, — хошь брось...

Но сторонников в толпе у шляпы остава-
лось уже немного.

— Заткни дыхало! — загремело отовсю-
ду. — Неча зря хвостом о припряг молотить!
равильно. Стратилат баид...

Убедительно тряхнув мочальной бороде-
ной, Бизюкин продолжал:

— Други милые! Артель атаманом крепка
бывает. Коли мир на согласие идет, надоть
нам атамана искать...

— Зачем искать? — отвечал сход. — Ку-
рина! Курипа, Герасим Пахомыча! Есть ата-
ман!

И тут на площади загудела такая буря
согласных выкриков, что, пожалуй, и набат
не заглушил бы общего голоса народной ра-
дости:

— Курина в атаманы!..

V

Темень в лесу была страшная. Только па
траве, в подседах, изредка поблескивало что-
то бледным, слабо мерцавшим светом. Со всех
сторон доносились странные звуки: тут
скрипнет, словно пожалуется; там свистнет
или загогочет, а то вдруг отзовется таким
внятным откликом, будто позвал человек че-
ловека. И от этого почного говора смутно
становилось на душе у Паньки. А когда, при-
слушавшись, он улавливал еще и дальний
волчий вой, дикий и пронзительный, — душа
его вздрагивала, как древесный листочек
в бурю...

Однако Панька не останавливался и даже
не оглядывался. Он шел и шел вперед через
лесную гущу твердым, уверенным шагом.
Если бы не рост, невозможно было бы и при-
знать в нем десятилетнего мальчугана, так
многозначительно было выражение его круг-
лого лица. Больше того: Панька настолько
вошел в важную роль разведчика, что и сам
себе казался совершенно взрослым челове-
ком, — вроде опытного старого солдата, не раз
уже бывавшего в подобных переделках. Глаза
его были огромными от страха, на пуговке-
носусу холодел пот. А бледные губы шептали:

— Чорт на чорта напер в рогазьяном ря-
ду... Эх-ма!

Так, или приблизительно так, шептал бы
на его месте старый опытный солдат, устав-
ший от долгой ночной ходьбы по сосновой
чащобе.

Впереди сверкнуло — раз и два. Потом раз-
лилось красноватым светом между деревьями.
Лес выступил из темени и появился перед
Панькой трехцветной стеной. Над черной по-
лосой земли и мелкого ельника тянулась ши-
рокая коричневая лента могучих стволов,
а еще выше — живыми рваными вавилонами
метались под наскоками холодного ветра гу-
стые вершины деревьев. Панька ускорил шаг
и вышел на круглую лесную поляну.

Посредине поляны, треща и дымя, пылал
костер. У огня, подбрасывая в него кусты

можжевелиника, грелись тесной кучкой пятеро мужиков. Заслышав шаги, они тревожно повернули головы. Двое или трое вскочили на ноги. Только Герасим, который всегда был готов на дело и потому никогда не торопился, продолжал спокойно сидеть, помешивая длинным сучком угли в костре.

— Здорово, сынок! — сказал он, завидев Паньку. — Откуда спроворил? В ночь да по лесу?

Он ласково глянул на мальчика и усмехнулся.

— Мать бы в слезы, а я скажу: булат не гнется, — молодецкое сердце со страху не бьется. Садись! С чем прислан?

Панька, не снеша, немножко даже в раскачку, подступил к костру. Потом присел и засунул руки чуть ли не в самое полымя.

— Вчерась, — начал он, — вышло у Нового Двора страженье. Побил Стратилат до смерти семерых французов. А было их двадцать врагов с лишечком...

Все слушали рассказ мальчика с величайшим вниманием. На выселках произошло следующее. Собралось у Бизюкина под командой человек пятьдесят односельцев. Сперва толпились они на гумнах, скопом таская из одоньев овес и складывая его в костры, чтобы не достался врагу. Потом выломали из плетней острые колья. Одних людей Бизюкин расставил в секрете по задворкам изб, других спрятал у околиц. Тут и подоспели французские мародеры. Когда партия их разбрелась по пустым избам, Стратилат вывел свое войско разом из всех засад. И пошел дым коромыслом. Однако большая часть грабителей все-таки уволокла ноги...

— Не попал волчок в капкан — увязнет в тенетах, — уверенно сказал Герасим. — Хорош воин Стратилат Микитич!

Сидевшие у огня крестьяне радостно заговорили:

— Ай да Стратилат! Бьет галку да ворону... Добьется и до сокола!

— Вишь, француз-то, прытче наших туляков оказывает... В карты играть — оп, а козырей не знает, бродяга!..

Герасим думал. Начало сколачивалось на смертной клятве. У Нового Двора впервые окрестился здешний народ кровью. Благослови, господи! В вохтинской дружине считалось уже пять тысяч восемьсот охотников. Из них сотен пять были доброкосные, на сытых, по зимнему подкованных лошадях, — сила! Пахом полагал, что можно приниматься за крупные дела. И плап такого дела был у него изготовлен. Он называл его «диспозицией», — хитрый плап! А пока разведчики бойко шны-

ряли по всей волости. Полевые и лесные роги, большаки и проселки — все было то под постоянный строгий дозор. Но мажкам высоких деревьев рассажены подростки. В кустах тулялись малыши. Живые цепи связей тянулись по всем линиям. И свалились здесь, в засеке, на поляне, у апа. В нетерпеливом ожидании провела Герасим два дня и две ночи. Хотелось напасть на след одной из тех значительных французских партий, которые нет-нет да выступали из Богородска на поиски прота и фуража. Много приходило людей к рипскому костру; последним был Панька, никто не сообщил Герасиму того, чего жадно ждал он.

— Авось, — говорили ему разведчики, — оно и все так: подальше положишь — ближе возьмешь, Герасим Пахомыч...

— Не поужинавши-то легче, а поужинавши кречче! Небось, завтра в ночи вылезет...

— Потерпи маленько, Герасим Пахомыч, — где ползком, где тихом вымоп. Ночная-то кукушка денную всегда покусует. А спешить больно некуда...

Все эти рассуждения крайне не нравились Герасиму. Мужичке авось и небось так же соответствовали замысленному им делу, досада, которую он долго сдерживал, наконец прорвалась. Атаман взъерошил кудри и шительно вымопвил:

— Ехал — не доехал; опять поедем, авось, доедем! Эх, прах вас возьми! Бр и все так, — столом да скатертью... За сам в Богородск пойду. Рот разину, вы прикинься, а до сути дознаешь!

В эту минуту кусты можжевелика спиной Герасима тихою раздвинулись осторожной рукой, и на поляну выступил молодой рябоватый парень в голубых подинных портах, — тот самый, который отъезде павловского барина горевал по душу мужичкого безголовья.

— С чем бог принес, Казарка? — спросил его Герасим.

Только тут, в ярком свете костра, и было различить, как взволнован и воодушевлен Казарка. Он ударил себя обеими руками по портам:

— К обеду через Меленки пойдут... С и Павлаво не минуют...

— Много? Сам видал?

— Сам... Сотни две... А може... две тысячи!.. Конные... В золоте-серебре... С кетами... И генерал... Я ж и дорогу им, как ты велел, — наводил... А вылез сюда помчал... Сердечушко нида звал Герасим Пахомыч!

— Не рад хрен терке,— радостно сказал атаман,— а боками на ней пляши... Через Меленки идут — Павлова не минуют,— уж так тому и быть. Ох, спасибо тебе, Казарка!

И он замолк, пристально глядя в огонь. Рожество мыслей крутилось у него в голове. Суровое спокойствие его передалось и разведчикам. На поляне сразу стало тихо. Лишь Казарка дышал, как запаленная лошадь. Прошло несколько мгновений, показавшихся всем чрезвычайно долгими. Вдруг атаман поднялся на ноги. Он и теперь не спешил. Но во всем, что он делал и говорил с этих пор, не было ни одного лишнего движения или слова.

— У казаков обычай таков: где просторно, там и спят. Ложишься, Казарка, отдыхайся. Вам же, дружки, сидеть здесь до общего сбора, вести копить. Меня в Павлове ищите,— дружине буду наряд чинить...

Он хотел еще что-то добавить, но курносая буланая кобылка, почувяв путь, заржала за деревьями. Герасим надел гречневик.

— Прощайте, коли так! Идем, сынок...

Мороз к утру крепко подщелкивал. Трава сделалась белой и хрусткой. Наконец забрезжил и рассвет. Выбравшись из большого леса, Герасим и Панька ехали мелким ельничком с рассыпанной по нему голой березовой порослью. Это был перелесок, отделявший Павлово от соседних Меленков. Герасим внимательно смотрел по сторонам. Много, очень много раз случалось ему бывать раньше в этих местах. Но теперь только огляделся он здесь по настоящему. И острота этого нового взгляда была удивительна. Впереди смутно маячила давно знакомая колокольня. На розовой полоске неба черным гребешком торчали соломенные застрехи павловских изб. Все то же, а... не то!

— Папаня,— спросил Панька,— ударим пonce по французу?

— Бог весть,— отвечал Герасим,— это не туп-ляп — да и келье, не сел в угол — да и печь... Опасенье, сынок,— половина спасенья. Сперва паряд слажу, а там...

— Наряд дело делает,— сказал Панька басом, а безнарядница хлеб ест.

Герасим крепко на одно короткое мгновение прижал к себе сына. Суеверное чувство мешало ему прямо ответить на вопрос Паньки: ударим. Однако в душе он не сомневался ни в том, что ударит, ни в успехе. Главное, уж очень хитер был план, выдуманный Пахомом,— его «днeпозиция». Никто другой не смог бы, пожалуй, и сообразить

ничего подобного. Будто, сочиняя, Пахом наверняка знал, что французы пойдут в Павлово именно через Меленки. Суворовец! Старая военная косточка! И вот надо было теперь немедля развести дружину на три части: Стулов должен был действовать конными, Вязюкин — тысячью пеших, а над всеми остальными атаман брал команду себе.

Телега быстро катилась по пустой и сонно-тихой павловской улице. Герасим глянул на небо, чтобы определить час. На лицо его упало что-то холодное... еще и еще. Легкий белый пушок опускался на землю с сумеречной высоты. Снег? Герасим даже языком покуснул от удивления. Первого-то октября? Этаким раппей зимы он и вспомнить не мог...

— Аль к добру, сынок?

— А то! — твердо сказал Панька. — Еще повьюжит над ним, проклятым!

«Что за страна? — размышлял полковник де Гранжье, покачиваясь впереди двух кирасирских эскадронов на высокой, но сильно отощавшей от постоянной бескормицы карей лошади. — Что за печальная страна! Бесконечная равнина, плоская, как ладошь, без красок и очертаний; чахлые поля, ровные прямоугольники огородов и эти серые, точно взрослые в землю лачуги деревень... А города! Тоже мертвые, покинутые жителями, тоже придавленные к земле, серые и унылые. А реки? Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах, поросших мшистыми перелесками, и почти не приметны, хотя берега их не выше гати. От них веет тоской, как и от неба, которое так бледно отражается в их тусклой глади. Зима и смерть царят над этой страной, словно над кладбищем!..»

Что-то необъятное и неопределенно смутное, тихое и величественное, грустное и спокойное было разлито в пейзаже, который развертывался кругом. По именно в том, что составляет прелесть среднерусской природы, полковник решительно не находил ничего приятного. Легкий снежок, начавший выпадать еще на рассвете, валился теперь вниз густой мокрой крупой и таял. Сороки бойко прыгали по сырой черной земле. Сипицы веселыми стаями садлись на белые островки и клевали их. Все это наводило на полковника ужасную тоску.

Он с горечью вспоминал страшные пожары, уничтожившие богатые запасы продовольствия, которых не успели вывезти из Москвы ее жители перед вступлением французов. Эти же пожары толкнули французскую армию на мародерство и грабеж. А уж

когда армия живет грабежами — это не армия! Однако надо было отыскивать хлеб и фураж в окрестностях русской столицы. И вот грабеж и мародерство морем разлились кругом Москвы.

— Чорт знает! — пробормотал полковник. — В конце концов мы уничтожаем то самое, чем могли бы существовать. Все эти села и деревни — пустыня...

Было нечто роковое в необходимости, которая принуждала французов разбиваться на мелкие партии и увлекала их все дальше и дальше в глубь страны, навстречу новой жестокой опасности. Русский медведь поднимался на дыбы...

Скверное настроение окончательно овладело полковником де Гранжье. Его сухое гасконское лицо с тонким горбатым носом, поздри которого раздувались, как у хорошей гончей, болезненно сморщилось. Он приподнялся на стременах и сердито посмотрел вперед. До Меленков оставалось совсем недалеко, — не более четверти лье. Прямо — деревня. Влево — глинистый лог с голубыми скатами. Вправо — перелесок, а за ним — большое село Павлово.

Полковник оглянулся. Эскадроны, растянувшиеся по дороге извилистой лентой, с обозом в хвосте, представляли собой невеселое зрелище. Правда, длинные конские гривы на касках солдат все еще красиво развевались по ветру, — совершенно так же красиво, как, бывало, в Париже, на императорских смотрях перед Тюильрийским дворцом. Но лица солдат были пасмурны. Голодные глаза их сверкали по-волчьи. О лошадях же и говорить нечего, это были жалкие россинанты, шатавшиеся от слабости на засеченных ногах. Полковник вдруг почувствовал и сам себя Дон-Кихотом. «Ах, проклятое ремесло!» — чуть было не крикнул он с досады и злостью.

Между тем эскадроны медленно втягивались в меленковскую улицу...

Дурное настроение лигло полковника де Гранжье всякой уверенности в успехе этой дальней фуражировки. Ни один из поисков, предпринятых им за последние дни, не дал решительно ничего. Почему бы на этот раз могло быть иначе? Полковник с усталым равнодушным отношением к исходу дела — и с самого начала обнаружил удивительную опрометчивость и полное отсутствие предусмотрительности. Впрочем, ведь он и понятия не имел о том, что в Вохтинской волости его давно и нетерпеливо ждали старый Пахом и Герасим Курины...

Приказав второму эскадрону вместе с обозом, — около сотни всадников и столько же пароконных повозок, — остановиться в Меленках и заняться там розысками провианта и фуража, сам полковник во главе первого эскадрона двинулся к Павлову. По дороге грустные размышления продолжали одолевать его. Однако он заметил на павловском въезде крестьянина, стоявшего посредине огорода в невозмутимо спокойной позе пугала с растопыренными погами и пахлобученным на лоб гречневиком. Тогда де Гранжье обернулся к майору, который ехал на половину лошадиной шеи сзади, и сказал:

— Не взять ли нам, господин Риго, этого бездельника за язык? А если он станет упрямиться...

Майор был старый толстый человек, с круглым лицом такого медно-красного цвета, какой бывает лишь у лупы в ветреную ночь. Хриплый бас вырвался из него, точно из винного погреба.

— Бездельник не станет упрямиться, — прогремел он, — скорей я достану здесь бутылку бордоского, чем он будет упрямиться.

И толстяк протянул по направлению к крестьянину сивеватый указательный палец. Сержант и полдюжины кирасир кинулись исполнять приказание. Через мгновение Герасим Курин стоял перед французскими пачальниками, с испугом щуя глаза, ослепленные блеском их густо посеребренных лат. Гречневика на нем уже не было, и ветер бешено трепал и разбрасывал его кудри. Ноги Герасима переминались с подозрительной быстротой, — повидному, он еле удерживался от соблазна рвануться наутек.

— Клеб ет сенё, — строго проговорила полковник, — где?

Герасим низко поклонился. В его манере кланяться и в лице, красивом, но удивительно тупом, полковник сразу подметил какую-то глухую забитость, рабскую покорность.

— Фураж ет провиант? — рявкнул красноротый майор и захватил на Герасима трубку.

Тогда мужик затараторил, бессмысленно разводя руками с проворством совершенно идиота.

— Хлебушка у нас мало, — болтал он, — раз в пяти али в шести дворах своим насцем обходимся. А у прочих чуть хвоща, — у кого до михайлова дня, у кого до рождества, а уж у кого до масляной — так на диво...

Полковник ничего не понимал из этих разглагольствований. Поэтому, не желая терять времени на пустяки, он грозно повторил:

— Клеб ет сепó! Ведн!

— Слушаю, ваша милость,— сейчас же сказал Герасим,— уж я вашу милость доведу... Знаю, где... П хлебушка, и овсеца достать найдется... Уж я для вас... Расстараюсь, ваша милость!..

И, покорно повернувшись, он пошел впереди отряда по улице, окруженный кошиками. У ворот своей избы он остановился. Ворота были гостеприимно растворены. Герасим с хозяйским радушием разводил руками, приглашая гостей. Де Гранжье взглянул на майора. Тот пожал плечами. Оба соскочили с седла и вошли во двор.

— Где? — спросил полковник.

— Издесь, издесь,— отвечал Герасим,— уж вы, ваша милость, не обессудьте, что изба худенька. У нас ведь как? В дождь избы не кроют, а в ведро она и сама не каплет. Ну, значит...

— Экий чудак этот мужик,— сказал де Гранжье майору,— я впервые вижу в этой стране такого добродушно болтливого раба. Но, кажется, он не замышляет ничего дурного. Прикажите, любезный господин Риго, эскадрону спешиться. Пусть отпустят подпруги и привяжут коней к плетням. Два взвода останутся на месте, а прочим велите разойтись по соседним избам. Хлеб, муку, сено и овес — отбирать. Остальное — на ваше усмотрение. Я же попробую кое-что выяснить...

Майор щелкнул шпорами. А полковник решительно поднялся по шатким ступенькам деревянного крыльца и, сопровождаемый Герасимом, шагнул через темные сени в горницу.

...Угол подушки был забит глухим кляпом во рту полковника де Гранжье. Локти его были туго скручены за спиной. Он рванулся было вперед, потом назад. Но не подался ни туда, ни сюда ни на шаг. Десятка два железных рычагов защемили его в мертвых тисках,— это были руки молодых павловских шарней. И полковник понял, что погиб.

Опрокинутый навзничь, он лежал на земляном полу избы. Несколько молодых сидело на нем, все крепче и крепче стягивая бечевой его руки и ноги. Один из молодых, в голубых штанах, особенно усердствовал.

— Эй, Казарка! — закричал с печи Пахом.— Бить — ни-ни! Не могли бить, сморчок! Нет на то положения!..

Панька был очень легок на бегу. Но никогда не случалось ему бегать с такой пено-

мерной быстротой, как в этот памятный день. Он ветром облетел поля кругом Павлова и шустрой любого зверя резал лесную гущину еле приметными тропками вплоть до самого Юдинского овражка. Усталости он не чувствовал. Будто крылья приросли к его сердцу и ногам. Вот, наконец, и овражек...

Панька с разбегу вклинился в его извилистую щель, полную тени и влажных запахов. Но тут-то и произошло с ним неладное: голубая глина скатов ни с того, ни с сего покрылась вдруг яркими золотыми звездами; небо сделалось фиолетовым; а Стулов, скакавший к нему навстречу, вырос с большую сосну и шапкой подпер зеленое облако...

Панька рухнул на землю. Губы его подернулись синеватой коркой. Стулов с трудом уловил шопот мальчика:

— Папаля почал... Выводи дружишу, дядя Демьян!

Французские кирасиры живо рассыпались по Меленкам. Вскоре все избы, сарай, повети и амбары были наполнены ими. Они искали хлеба, муки, сена и овса. Взламывали в избах полы и жгли на огородах пчельники. Они были голодны. По деревня была пуста,— нигде ни человека, ни краяхи хлеба, ни охапки сена... Пусто, хоть шаром покати!

Капитан с лицом, покрытым синими пятнами от пороховых ожогов, тоже ощущал приступы голода. Он сидел на высоком крыльце меленковской бани и с болезненной чуткостью прислушивался к тому, что делалось у него в животе. По ходу поисков он уже ясно видел, что дальний сегодняшний рейд будет так же бесплоден, как и многие другие. Бешеная злость закипала у него в груди. Будь его воля, он немедленно приказал бы эскадрону садиться на лошадей и повертывать назад из этой мертвой деревни.

— Мертвая! — с ненавистью бормотал он.— Проклятье! Что за мертвая кругом пустота!

Чтобы отвлечься, капитан стал вспоминать Париж, заставу Руль и то, как, будучи еще солдатом в первые годы империи, он тащил и пил там вино с гренадерами. Веселое было время! Усатые лица гренадеров одно за другим приходили ему на память. Но что это? Ба! Да ведь решительно все его старые товарищи были убиты или под Эйлау, или под Бородиным... Он плюнул с яростью.

— Мертвая пустота...

Ощущение голода с каждой минутой становилось жестче. Капитан вскочил и заметался по крыльцу. Неизвестно, как долго мог

бы он еще выдерживать это отвратительное состояние, если бы все сразу не изменилось как внутри, так и вне его. Он вытянулся на цыпочках и протер глаза. Пустой овражек за деревней внезапно ожил. Конный поток выливался из него прямо на деревенскую улицу. Всадники в зипунах и лаптях с гиком мчались по Меленкам, размахивая длинными косами и уже заноса над головами топоры для тяжелых ударов. Их было много, очень много... Капитан крикнул:

— *A la garde!*¹ На коней!

Ближние кирасиры услышали команду и, вырвав из пожен блестящие клинки палашей, повскакали в седла. А те, что разбрелись по окраинам? Капитан выстрелил из пистолета. Грохнуло — и пение кирасиры отовсюду побежали к бане. Но мужики настигали их и валяли с ног.

Кругом Стулова что-то свистело, что-то шлепало под копытами его воропого жеребчика. Однако, что именно свистело и шлепало, вохтинский староста не имел ни времени, ни возможности разобрать. С верной охотницкой хваткой он на скаку забивал в ружейное дуло патроны, целился, спускал курок. Бой развертывался нешуточный. Крестьян было больше. Все их ополчение сидело на сытых, бойких, по-зимнему кованых лошадях. Зато ружей у них почти не было. У французов же были и ружья, и пистолеты. Но малочисленный эскадрон их давно спешился. Разброд мешал кирасирам добраться до коней. Требовалось время на то, чтобы подтянуть распущенные подпруги. Да и кони были ужасно тощи и не подкованы. Между тем неожиданно задул холодный ветер, грязь подмерзла, и по земле расплзлась гололеда.

Скоро у каждой меленковской избы кипела кровавая рукопашная сшибка. Ополченцы и латники стреляли, рубили, кололи и просто ломали друг друга...

Как только полковник де Грапжье очутился в холодном темном подполе куринской избы, разом стукнули засовы и звякнули замки на воротах и калитках всех дворов в Павлове. Из изб на дворы выскочили люди.

— Ага, попалась рыбка в вершу!

Французские фуражиры, уже начавшие было спокойно хозяйничать по разным концам села, вдруг оказались под забором. И тогда дружное «ура» разнеслось по Павлову.

Перепуганные кони срывались с пружин и отчаянным ржанием мчались куда пало. Кое-где громыхали выстрелы. Но было мало, — добрый знак: как видно, пуззы не успевали пустить в ход свои шкелеты. По мере того как дружинники упирались на дворах с неприятелем, к куринской пзбе сбегались люди. Герасим отсюда наступление главными силами. И эти прибывали с каждой минутой.

Косая линия кирасир врезалась в передний строй его войска. Перед атаманом сверкнуло лезвие палаша. Но он не потерял. Быстрым ударом штыка выбил клинок руки нападавшего, да так еще ловко, что остальные обломки отлетели далеко в стороны.

— Эх, семь ворот — один огород!..

Майор Риго огляделся и не увидел ничу хорошего. Едва ли и полвзвода толпилось им на храпевших и жавшихся друг к другу конях. А где остальные люди? Они исчезли. Зато тучи паведомо откула взвзвизгивших муков наваливались и наваливались на жалкие остатки эскадрона. Риго был опытный охотник. Ему стало ясно, что единственное средство спасенья — перелесок между Павловом и Меленками. Он хладнокровно пожал плечами и, круто обернув лошадь, прогремел:

— Барьером марш! За мной!

Капитану с разноцветным лицом удалось построить своих людей. И самодельная лавница дяди Демьяна затрещала под их ружейным патиском. Стулов с трудом собрав кругом себя рассыпавшийся отряд и не мешаю выводил его из Меленков к перелеску. Именно так и приказал ему действовать Герасим, — точно по «диспозиции». Успех оборонительной операции кирасир. Они бойко наскakивали на дружинников и рубили их с плеча. Не уцелеть ни самому Стулову, ни большинству всадников, если бы кирасирские кони твердо ступали по обледелой грязи. Но копыта беспомощно разъезжались. То здесь, то там на скаку падал конь. И огромный латынский стремглав летел наземь, гремя по кочкам и расой и палахом. Так, в конце концов, навел Стулов своих пылких противников к перелеску...

Место это было вовсе непригодно для кавалерийского боя. Елки густо переплетались здесь с березовой порослью и можжевеловыми кустами. Лошади вязли в колючей паузе ветвей и сучьев.

— Проклятье русскому богу! — воскликнул, потеряв терпенье, разноцветный ка

¹ К оружию! (франц.).

ан.— Сержант Курбува, вам не кажется, что голоштанники уйдут от нас?

Курбува был бравый мужчина с широким юсом, перебитым на штурме Сарагоссы.

— Госнодин Бургонь...— начал он и не опши, громко икнув и судорожно прижав бе ладони к животу.

Ружье еще дымилося в меткой руке Стратилата Бизюкина. Пакопец-то дождался своего часа Стратилат! Его тысяча сыпалась за ним из кустов, в которых еще с утра упрятал ее Герасим. Косы сверкали и посвистывали, рассекая воздух, и с размаха врзались в лошадиные морды. Вилы с хрустом ворочались между лошадиными ребрами. И кирасирские латы жалобно звепели под грозными ударами топоров.

Капитан Бургонь изрыгнул такое проклятье, которого не осилил бы никакой обыкновенный человеческий язык. Сопротивляться дальше не было ни возможностей, ни смысла. И с этой минуты капитан думал лишь о направлении, наиболее выгодном для немедленного бегства. А тяжело рапелный сержант Курбува, бросив поводья и прижав лицо к лошадиной гриве, мчался за ним...

Пока Бизюкин, выйдя из засады, налегал на второй эскадрон фуражиров, Герасим гнал остатки первого навстречу Стулову. К этому времени дядя Демьян благополучно вывел свою копицу из перелеска на простор. И здесь, между перелеском и Павловым, решилась судьба дня. Здесь принял Стулов в попоры и косы быстро отступавших французов. Здесь Герасим сошелся один-на-один с молоденьким розовым адъютантом и с двух ударов старой отцовской сабли зарубил его. Отсюда майор Риго с двумя десятками кирасир опрометью пустился в отчаянную и беснюряточную скачку, не выбирая ни направления, ни дорог. Все шло как по-писанному. Вот что значит «диспозиция»!..

Темная октябрьская ночь почти внезапно прикрыла землю. В ее холодном мраке без льда растаяли взмыленные копи французских беглецов. Ночь, только ночь спасла уцелевших... Потонуло во мраке и поле битвы: причудливо взгрудившиеся кучи человеческих и конских трупов, обломки палатей и покеп, разбитые каски и много прочих амуничных вещей, которые всегда в изобилии остаются на местах жарких боевых схваток.

До рассвета в избе Куриных не стихали овор и шум. Толпы людей приходили, уходили и снова возвращались в избу. Круговороту лиц и разговоров не было конца. Под-

считали добычу. Она оказалась немалой: шестьдесят пароконных повозок с лошадьми, двадцать пять ружей, сто двадцать пистолетов, сто сумок с патронами. Полковник: де Грайжье сидел в подполе, а сорок шесть пленных солдат — под крепким караулом в овине.

Пахом свесил с печи соохшнеся, желтые, как воск, босые ноги. Слушая рассказы, он крестился и украдкой вытирал глаза. Его расхваливали и честили на все лады за «диспозицию». А он молчал. Обычная веселая и живая многоречивость отлетела от него. Впрочем, один только раз обмолвился и он тихим словом:

— Были годки — едал колобки... Да уж давно и скус забыл. Попе ж — чудо! Грянул огопь боевой, и душа зажглась... Ралость! Сколько не слыхивал! Беглым бы шагом... Па редан... Эх! Пуше ядра свалило...

И Пахом опустил голову.

Фетинья — она не вытерпела и в разгар дела примчалась-таки к мужу из леса — смотрела теперь на Герасима так, будто видела его в первый раз, а он взял, да и по-сватался. Не будь изба полна народу, она жаркими поцелуями и слезами давно опалила бы мужнину руку.

— Много ли сам-то ссадил, Герасим Пахомыч? — спрашивали атамана.

— Ахфшера да еще близ десятка простяков. — неохотно отвечал Герасим.

Так он ответил раз и два. А потом перестал отвечать.

Панька лежал на скамье бледный и счастливый. Он никого не убил. Но никому не взошло бы и на мысль сегодня сомневаться в том, что Панька — тоже герой...

VI

Ровно месяц прошел с того дня, как погас над Москвой столб пламени и утих рев огненной бурн, в которой погибла русская столица. Москвы больше не было, — оставалось гигантское пепелище. Резвые осенние ветры разносили по нему едкую гарь и черную копоть. Ровно месяц назад император Наполеон вернулся из своего загородного убежища в Кремль и снова воцарился в древних термах русских царей. Тысячи предосторожностей спасли для него священную крепость России. Но город, для завосования которого он не пошлал армии, был потерян... Толпы французских солдат шатались по пожарищу. Они рылись в углях, что-то отыскивая, другие тащили на себе узлы с добычей. Третьи гнали русских мужиков, навьюченных, подоб-

по мулам, только что награбленным добром. На широких площадях, в холодной и тонкой грязи, пылали костры. Огонь жадно поглощал бюро и кресла из драгоценного красного дерева, позолоченные двери и оконницы, полотнища и рамы картин. Вокруг костров, подмяв под ноги охапки сырой соломы, сидели и лежали на шелковых диванах задымленные и чумазные солдаты. Многие из них, по склонности к маскарадным затеям, переделались: вот — башкир, топ, маркиз, казак, китаец... Возле них — груды кашемировых шалей, соболевых мехов, персидской парчи, серебряных блюв и кубков. Тут же и ели из этой посуды, — жадно кусали обуглившееся черное тесто, грызли куски недожаренной кровавой конины. Нестройные звуки флейт, гитар и скрипок пелись отовсюду и надрывали уши. Изобилье и голод, роскошь и нищета причудливо сочетались на биваках французских войск в сторевшей Москве.

Наполеон пытался управлять этим хаосом из кремлевского дворца. Но воля была сильнее воображения в этом человеке. Как и всегда, он хотел властвовать над собой и другими. И не постигал ни того, что было в действительности, ни будущего. Из унылой императорской резиденции приказы сыпались градом на армию и Москву, на Париж и Францию, Берлин и Европу. Корпусные командиры должны были заготовить провиант на шесть месяцев; ремонтировать двадцать тысяч кавалерийских лошадей. В Москве, разделенной на кварталы, с особым комендантом во главе каждого, учрежден муниципалитет. Знал ли император, что провиант и лошадей невозможно ни реквизировать, ни купить, а кварталы отделялись один от другого только обломками строений? Знаменитый итальянский певец повторял в Кремле тюльрийские вечера салонной музыки. Утомленные дневными заботами, маршалы спали на этих вечерах, не трогавших ничьей души. Наполеон посвящал долгие часы выработке устава *Comédie Française*¹, обсуждению присланных из Парижа новых стихотворений. Придворные льстецы восхищались силой наполеоновского гения — легкостью, с которой император мог сосредоточить свое внимание на одном предмете. А Франция, следившая по бюллетеням за его занятиями в Москве, была изумлена их мелочностью и пустотой. Кто-то имел неосторожность упомянуть в присутствии Наполеона печальное имя Карла XII.

— Не говорите мне об этом короле, — резко сказал император, — он был глуп.

Однако камердинер Констан проговорился на ночном столбике его господина именно вольтерова история Карла XII.

В этой борьбе с невозможностями Наполеон находил уместной жестокость, даже безнравную. Ежедневно по его приказанию рвали десятки солдат-мародеров. Он казнил даже гвардейцев. А грабеж все выкатывался, — разбойничали уже генералы. Жестокость оказывалась не только, как доказательство деятельности, но и бурно проявляемой в таких обстоятельствах, которые давно превратили бы всякого человека в животное, а не менее гениального человека, в тряпку.

Можно было думать, что Наполеон намеревался зимовать в Москве. В армии так и думали. Что же касается приближенных, они терялись в разнообразии проектов императора, постоянно смешивая его действительные намерения с расчетами на обман и заблуждение. Менее всех знал, что надо делать, сам император. По ночам, в халате, бледный, трепанный и гневный, он призывал к маршалов.

— Войдите... Слушайте... Я реву. Принц Евгений, читайте!

Так маршалы постепенно выслушали распоряжения: 1) немедленно двигаться на Петербург; 2) идти на Великие Луки для соединения с корпусами, действовавшими на Двине; 3) наступать на Тартутию, с тем чтобы устроиться там кутузовский лагерь; 4) быстрой маршем занять Тулу, а оттуда ротироваться: а) Галлию, б) Польшу, в) Вильну, г) границу между Днепром и Двиной...

Сколько решений! И ни одного шага из Москвы!

Лористон уверял Наполеона, что третьи или четвертого октября — никак не позже — придет ответ русского императора на посланное ему через Кутузова письмо. Лористон ручался, что ответом будет согласие на мир. И вот, sacramентальные дни прошли, а ответа не было. Даже от Кутузова не было. Почему? Ведь писал же русский фельдмаршал своему государю: немедленный мир — счастье для России. Сам Наполеон читал это переписанное письмо и с извинениями вернул Кутузову. Но sacramентальные дни прошли. Сегодня — шестое октября.

Камердинер Констан был поражен бледностью Наполеона, когда на призывный звонок его явился ранним утром в опочивальню. Сидя за столом, внезапно скатившаяся по щечке повелителя, окончательно потрясла преданного слугу. День начинался с задумчивой молчаливостью холодного безразличия ко всему. Вместо кофе, император залпом выпил стакан пунша

¹ Театр в Париже.

Шамбергена без воды. Это несколько оживило его.

— Когда снимали крест с мечети Ивана Великого, — сказал он, — вы видели, Констан, верои, которые во множестве кружились над мечетью и каркали с такой невыразимой унылостью?

— Да, государь.

— Мне казалось тогда, что эти зловещные птицы собирались защищать мечеть и крест. Чье это нам предвещает, Констан?

В таком печальном настроении император отправился на кремлевскую площадь смотреть войска. Уже несколько дней как он производил эти смотры по утрам с величайшей точностью. Констан глядел из окна на торжественный выход повелителя. Ему показалось, что в последний момент Наполеон все-таки тряхнул с себя гнет мучительных предчувствий, которыми верил совершенно по-женски. Констан был счастлив, наблюдая напряженно-твердую походку и железный шаг императора.

Туман лежал на колокольнях и башнях Кремля тяжелой свищовой шапкой. Утро было теплое, но хмурое и бледное — настоящее октябрьское. Серый ответ его ровно падал на все предметы, скрадывая их контуры и краски. Только войска — на площади были выстроены в боевом порядке батальоны старой императорской гвардии, итальянская гвардия, дивизии Нея и Иино — не гармонировали своим праздничным видом с этой унылой и пасмурной картиной. Императорский смотр... Солдаты тщательно прятали от императора лохмотья своих летних мундиров, забегливо украсив их отчищенным и ярко сверкавшим оружием. После многих сражений и долгой походной жизни они все еще хотели казаться опрятными, бодрыми и блестящими. В этом — самолюбие солдата. Как и все люди, солдат гордится именно тем, что достается ему с наибольшим трудом.

Наполеон стоял у откоса большого кремлевского холма, впереди огромной свиты. Отсюда он внимательно следил за передвижением стрейных шеренг. Это продолжалось уже около двух часов и порядочно ему надоело. Но... так было надо. Нуль гения то ускорен, то замедлен. Поэтому и Наполеон говорил то быстро и громко, то так растягивал слова, что они были еле слышны. Рука его то и дело машинально вынимала из жилетного кармана пастилки от насморка. Лицо поражало бесстрастием. Не поворачивая головы и адресуя слова назад, в свиту, тому, кто пер-

вый подхватит их в ловком и льстивом ответе, он отрывисто сказал, точно бросил через плечо:

— Солнца нет, но тепло, как в Париже. Это — прекрасный день для прогулок в Фонтенебло. Я не замечаю, что нахожусь на севере.

Генерал с толстыми, изящно-злыми губами и высоко взбитой прической ответил вполголоса:

— Туземцы предсказывают жестокую зиму, ваше величество.

— Ба! Разве вы не верите в мою звезду, Дюрок? Большая битва, занятые Москвы, русский царь просит мира, я даю его — все! Конец войне! Мы ближе к концу, чем к началу.

Дюрок поклонился и подумал: «Он и сам не верит в то, что говорит... Надежды потеряны, но стремления остаются... Настойчивость возвела его высоко, — она же погубит его и всех нас...»

— Мои «старые толпы!»¹ — воскликнул вдруг Наполеон. — Чего пельзя сделать с ними! Как ваша кавалерия, Пансути?

Генерал с широким лицом и холодными серыми глазами поклонился.

— Французские лошади — плохие патриоты, государь. Солдаты отлично дерутся даже и без хлеба, а лошади без овса положительно не желают исполнять своих обязанностей.

— Стегайте их хлыстами, — отрывисто и сухо сказал Наполеон.

— Только это и остается, ваше величество. Но овес все же действует лучше.

Это было продолжение неприятного словесного поединка, который завязался у императора с его генералами тотчас же после Бородинна. Чего хотят эти трактирщики и мясоторговцы, которых он сделал кандидатами в короли? Испорченные люди!.. Скверные себялюбцы! Как мало общего между их извращенной психологией и высокой простотой солдатских сердец, каждое из которых — алтарь с восседающим на нем, как бог, Наполеоном! Император смотрел на проходившие мимо войска. «Любой из этих солдат и офицеров пылает сейчас желанием казаться самым довольным, самым мужественным, самым виновственным на свете. Награды, награды... Соревнование... Между лошадьми слишком мало соревнования, между маршалами — тоже...» Наполеон сделал знак. Раздалась команда, повторенная во всех концах площади. Войска остановились и, быстро пере-

¹ Vieilles bandes (франц.) — так Наполеон любил называть свою старую гвардию.

строившись, окружили императора громадным кольцом.

Наступил самый интересный момент сматра — раздача наград. Дежурный генерал-адъютант громко читал приказ: полковник 3-го линейного полка Левье возводится в ранг бригадного генерала, батальонный командир Дельфанте производится в подполковники, полковник Крови назначается полковником гренадеров гвардии, начальник артиллерийского эскадрона Клемант награждается орденом Почетного легиона, полковник клясвирского полка де Гранжье...

Генерал Пансути нагнулся и шепнул Наполеону:

— Полковник де Гранжье в плену, ваше величество.

— Но не в плену опасений за свое будущее, Пансути, — еле слышно сказал Наполеон, — я его знаю так же хорошо, как и вас...

К тому месту, где находились император и его свита, мчался на большой запряженной лошади маленький офицер. Конь его делал бешеные скачки, и наезник рисковал ежесекундно быть вышибленным из седла. Волосы его развевались по ветру, а шляпу он давно уже потерял. По свите прокатился изумленный шепот:

— Поручик Беранже... Адъютант короля неаполитанского... Как?.. Зачем?..

Поакхим Мюрат, неаполитанский король, командовал авангардом французской армии, расположенным неподалеку от Тарутина, по соседству с лагерем Кутузова. Беранже, конечно, вез донесение Мюрата. О чем?

Непостижимо, как это могло случиться: еще префект дворца Боссе не успел распечатать пакета, еще маленький Беранже, отчетливо салютовавший Наполеону огромным эпантоном, не успел раскрыть рта, и сам император, без сомнения, еще ничего не знал о привезенных новостях, — а свита уже шептала:

— Кутузов напал на лагерь короля... Поражение... Убиты генералы Лери и Фншер... Две тысячи убитых... Потеряны знамя, тридцать пушек, королевский обоз... Дивизия Клапареда... Корпус князя Попятовского... Кавалерия погибла...

Отдельные слова и фразы вырывались из шопота и долетали до Наполеона. Бледные расквашенные его ушей розовели, — становились жадными, как голодные, страстно ищущие насыщения, существа. Но сам он был попрежнему холоден и спокоен. Огонь нетерпения тер-

зал его. Где-то глубоко внутри из этого мени рождалось крохотное, но пискливое жгившее душу чувство страха. С каждой кундой его страдания усиливались. И все-таки он даже не смотрел в сторону Беранже. Повинуясь его знаку, префект дворца Боссе оставил нераспечатанный пакет с донесением Мюрата у себя. Дежурный генерал-адъютант послушно продолжал чтение приказа о назначениях. Свита замолчала волнуясь. Но почтенье сдерживало маршалов и генералов. Просто они не верили известию, другие сались гнева, третьи — отправки в Тарутин для проверки донесения на месте. Вирунгерал Дюрок шагнул вперед:

— Государь, король неаполитанский аван Кутузовым, первая линия его загнав лес, фланги обойдены, отступление отрезано. Сам король ранен... У нас нет больше агарда, ваше величество...

Он сказал это и подумал: «Итак, возьмем, мира нет и не будет! Опять — война! И какая!»

Под резким нажимом зубов капелька выступила на нижней губе императора. Он быстро облилизнул ее. И, не обернувшись, вслушался с невыразимой напуганностью в тоне:

— Думаете ли вы, Дюрок, что мы побьем Кутузова?

Генерал вздохнул.

— Не сомневаюсь, государь! Мы в том положении, что нам ничего больше не остается!

Приказ о выступлении из Москвы был написан в полдень. После обета его читали в войсках. К вечеру во всех частях бурно велись сборы. Очищение Москвы должно было начаться завтра на рассвете.

Всю ночь маршалы просидели в дежурной комнате дворца, ожидая дополнительных распоряжений. Дверь из кабинета императора и дело приоткрывалась. В ее полутемном раземе то появлялось, то исчезало блуждающее пятно лица Наполеона. Он был в халате туфлях. Его резкий голос звучал с неотраженной повелительностью.

— Констан, подайте пуншу! Граф Дельфин через полчаса раздайте гвардии сухари и конфеты, сообщите королю, что завтра я буду преследовать русских!

Приказания перегоняли друг друга.

— Мортье, сожгите магазины с войсками. Оба дома Ростопчина — тоже. И еще дом Кутузовского... Приготовьте все для взятия кремлевских башен и дворцов!

Голос Наполеона вдруг зазвучал по-женски рыкливо и зло:

— Дарю, велите расстрелять русских, которых вчера нашли в подвале!

Но через мгновение император был уже снова самим собой. Первые движения его души почти всегда совершались мгновенно. И затем он с поразительной быстротой переходил от настроения к делу. Уж очень много самых реальных, практически неотложных забот наполняло его жизнь, чтобы он мог чувствовать что-нибудь прочно и длительно. Постоянным было в нем только одно чувство — нетерпенье. Он выглянул из кабинета и, заметив, что часовые-гвардейцы на посту у дверей минуту назад сменились, подскочил к ним:

— Солдаты! Вы получили рис и сухари, которые я велел раздать вам?

Он хотел убедиться, все ли приказания его действительно и без промедления исполняются. На слово он не верил никому. Так же поверил он и хитрому хромцу Талейрану, который говорил в Париже:

— Не троньте медведя в его берлоге, государь!

Ах, надо было тогда поверить Талейрану! Лишь теперь Наполеон понял, что такое война. «Ремесло варваров, все искусство которого в том, чтобы как-нибудь пересилить врага. Раз так — кончелы колебания. Кутузов начал действовать, что ж! Разбив Мюрата, он ринется на Москву... это прекрасно, — думал Наполеон. — Я же тем временем проскользну через Малый Ярославец на Калугу, и отсюда — через Ельню на Смоленск... Да! Я пройду по дорогам, еще не тронутым войной... На Калугу!»

Он отворил дверь в дежурную комнату.

— Лорпстон! Старая лиса обманула вас. А завтра мы обманем старую лису. Я отомщу за вас, Лорпстон!

Говоря это, он улыбался.

VII

Целый день вохтинские дружинники прибрались на местах, по которым накануне прошел бой, — в Павлове и Меленках. Они впрягали в отбитые французские фургоны по четверке французских же лошадей. Навалив французские трупы, вывозили их на перелесок и сбрасывали в дальний глубокий конец мокрого от дождей Юдинского лога.

— Нагостил мало, а накостил вдосталь, — говорили дружинники, — барлагут¹ проклятый!

¹ A boire la goutte (франц.) — капелюку выпить.

После первой удачи Герасим во всем следовал мудрым советам Пахома. Выставлял аванпосты, рассылал разъезды, учредил сигналы для тревоги... Лесной лагерь, где почти постоянно находился атаман, представлял собой нечто вроде штаба: здесь задумывались предприятия и отсюда направлялся их ход. В лагере были сосредоточены все нити слежки за передвижениями французских отрядов. Не только по волости, но и значительно дальше велась эта слежка. Герасим отлично знал, что делается в Гжели и за Гжелью, чуть ли не до самого Подольска, за которым, по слухам, рыскал с переодетыми казаками партизан Селавин. Когда кто-нибудь дивился осведомленности атамана, он усмеялся:

— Земля весть подает!

Та же земля широко разнесла весть и об атамане. Дружины вохтинцев действовали безошибочно. Они резали связь между французскими партиями. Неожиданно встречали их на темных лесных переходах. Били по хвостам на переправах, отхватывая обозы, уводя в плен сотни отсталых, бродяг, маркитантов с припасами. Все это отправлялось в лагерь. Так как Герасим постоянно обменивал пленных на оружие, то ружья и пистолеты у дружинников в скором времени сделались не редкостью. И скромное до тех пор имя вохтинского атамана громом прокатилось по всем партизанским кучкам, орудовавшим кругом Москвы.

Свежий человек, неожиданно попавший в куринский лагерь, с первого взгляда принял бы его за воровской притон. Бородатые лица крестьян казались неправдоподобными маскамп под блестящими украшениями касок и киверов. Из-под краснерских лат висели дырявые полы зипунов, крытых домотканной. Грязный тулуп из ягнячьих выпоротков и золотом расшитый колет прикрывали оло и то же плечо. Какие-то люди, похожие на ярмарочных лошальников, бойко сновали в толпе, что-то выменивая и чем-то торгуя. Тут же встречались и раненые русские солдаты, и бабы с вилами, и дети с длинными кухонными ножами у поясов, и дрожки, и дормезы, и обыкновенные крестьянские опоконные телеги, и шали, и кружева, и сахар, и мука, и хлеб, и старые сворки для охотничьих псов. Чего иной раз не отыщется в отбитом французском обозе! Тут можно было, наконец, видеть и пленных в атласных и бархатных дамских мантильях. Унеся из разграбленных помещичьих усадеб эти наряды, чтобы по возвращении во Францию порадовать ими жен, они закутались в них сами, как только наступили холода. А теперь эти

маскарадные герои сидели на земле, с пере-
крученными толстой бечевой, распухшими но-
гами, и, уныло прижавшись друг к другу, со
страхом и тоской ждали дальнейшего путе-
шествия...

Смерклось рано. И сразу наступила ночь,
глухая, по-осеннему черная и непогодливая.
Ветер гнал перед собой и расшвыривал по
сторонам падавшую сверху холодную мокреть.
При этом он так странно завывал на пусты-
нных просторах голых полей, что казалось,
будто стаи волков сбегались сюда к грозному
терзеству звериной свадьбы. Тьма была так
густа, что и в двух шагах глаз не различал
встречного человека. А сырость проникала не
только сквозь мокрую одежду, но и дальше,
до самых костей. Скверно начиналась эта
ночь...

Но ненастье пришлось Герасиму парую.
Слав в Летаповке пленных, он возвращался
назад с целым транспортом ружей и пороха.
Драгоценный груз был уложен в десяти фур-
гонах, укрыт соломой, досками и еще всякой
всячиной. Полсотни конных дружинников, с
удовольствием освободившихся от возни с
«барлагутами», зорко стерегли теперь куту-
зовский подарок. Обоз пробирался кружным
путем, наперсск Большой Калужской дороги,
через речку Нару и дальше на Подольск.
Путь был долгий, но не такой опасный, как
другие. Герасим уже проводил по нему свои
транспорты, и всякий раз благополучно.
Темнота непогодливой ночи отлично помогала
трудному делу.

Оставалось всего версты четыре до большо-
го села Фоминского, когда Герасим вдруг
услышал прямо перед собой рывки конского
тепота, и из непроглядной тьмы выскочил
на него Казарка с двумя разведчиками. Ка-
зарка примчал из Фоминского, куда загодя
отправил его осторожный атаман для дозора.
И, по обычаю, незатаром.

— Герасим Пахомыч! — шептал сметливый
парень. — Попались мы, словно бес в перевес...
Куда ни сунься — франгузы! Тысячи! Окружь
стоят!.. В лагерях... И в Фоминском они, и в
Котове... Мужиков у речки встретил, — бают,
что и до самого Боровска... Тысячи!

Он выразительно махнул рукой. Герасим
грякнул. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Да откуда же взялась в здешних местах эта-
кая французская сила?

— Не попритчилось тебе, Казарка? Може,
мало спалось, много виделось? Бывает так-
то...

— Герасим Пахомыч! Да лопши мои глаза,

коли... Сам на Нару выглядел: двенадцать
пушек у моста...

Двенадцать... у моста... Эге! Да ведь это
значит, что переправы через Нару больше
Герасим остановил обоз и задумался.

Между тем ветер продолжал дуть с камен-
но-бешеным остервенением. И вдруг, почти
мгновенно, произошло то, чего меньше ве-
дало хотелось сейчас атаману. Сплошное покрытие
из черных туч разорвалось в вышине на
Синий от холода месяц выпрыгнул наружу,
облил поля и леса ярким белым сиянием. Стало
так ясно кругом, что и самый дальний
французский пикет мог бы теперь без малей-
шего труда открыть растянувшийся по
секу темной лентой вохтинский обоз. Герасим
с досадой прикусил ус.

— Нет нам более пути, ребяташки! — ска-
зал он. — Опыо осталось: сходить с дороги,
прыгче, целиной, подавать к лесу. Мокро-
дождя не боится... А и дождю-то, леший
возьми, коней. Француз теперьча всего
чего страшней. В лес, ребяташки! Не в
соколу лес-то, — там и ночлежка. А утро
окажет. Встанем пораньше — шагнем
дальше...

И обоз начал сворачивать с дороги, то-
паясь уйти из-под месяца в глухую тень с
нового бора.

В это самое время к тому же бору,
только с другой его стороны, от Нары,
весь опор летела сотня пездников на ху-
лях и лохматых степных лошадаках. При яр-
ком свете месяца можно было рассмотреть их
вольпо хорошо. Почти все они были рыже-
ореховые, широкоскулы и прятали маленькие
глазки под крутыми навесами низких лобов.
Плетки их пели, как осы, над поджарыми ме-
скими боками. Ноги кривыми винтами торча-
ли в стременах. И хотя кожаные подушечки
дел прочно держались на овчинных вали-
ках, но едва ли даже и нуждались в се-
делке и всадники. Длинные кафтаны их бы-
ли туго стянуты разноцветными кушаками. Се-
бряные сережки плясали под мочками лев-
ых ушей. Что это были за люди? Впрочем,
спящими у них тряслись русские ружья. Се-
ня въехала в лес и остановилась.

— Господа казаки, — сказал передний
лодец, статный и смуглый, — долго бродим
мы нынче по левому берегу Нары. А что
дела? Везде — франгузы. Зачем навели
слова свою силу? О том дознаться — пер-
вое партизанское дело. Вон — лошадка... В
пока схоронитесь, — ни песни, ни глук,
трубок... Ждать меня! Задолбит дятел, —

ше. Тогда кидайся к дороге на выручку и хватывай... С богом!

Казак гуськом потянулся в ложину. Предводитель их зашагал в сторону. Скоро он вышел на открытое место. Месяц продолжал гулять по небу. Ровная стена леса брела перед собой черную полосу тени. Дальше, саженях в пятидесяти, белела большая дорога, а по ту ее сторону снова начинался лес. Здесь, у высоченной старой сосны, дозорщик придержался и внимательно поглядел кругом. Потом осмотрел ствол сосны. Проверяя крепость его нижних сучьев, тщательно перепрогал их рукой. Закинул голову и полюбился развесистой, пышной кроной, с которой спалились вниз тысячи холодных, мокрых бледок. Наконец, поплевав на ладони, ловко уцепился за сучок, подтянулся, прыгнул, обнял дерево ногами и, как ящерица, пополз вверх. Так, бесшумно, не словив ни одной ветки, добрался он до самой кроны и бесследно растаял в ее темной гущине.

Разместив обоз в лесной гущине, Герасим указал дружинникам:

— Кой день прошел, тот и кончился. А кой впереди — того стерегись. Надобно округ ложинки расставить. Довушка, земляки лобезные, тем хороша: стоит — есть не просат, только глядь, да кого-нибудь чорт в нее и бросит... Кому за охоту?

Один за другим начали отзываться охотники, и Казарка — впереди.

— А я, Герасим Пахомыч, к дороге на «Иван-постный» выставлюсь, — проговорил он. — мне бы с десятком под руку...

«Иваном-постным» он называл аванпосты. Так и сделалось. Герасим сам развел секреты, выбрав для Казарки с его десятком густые кусты возле самой большой дороги. Покончив с этим важным делом, он вернулся в ложину. И когда вступал в нее с переднего конца, с заднего гуськом втягивалась казачья сотня...

Никакой зверь в отдельности, никакая звериная стая, как бы огромна ни была она, не могли произвести тех звуков, которые, постепенно разрастаясь в мощный гул, заполнили теперь лес. Что-то размеренно ухало, громыло взброд, лязгало, звякало, тренькало. И живым напором катилось по дороге, возле которой сидел на сосне казачий дозорщик. Однако опытное ухо его отлично разбиралось в этих звуках. Оно различало в них и ровный шаг пехоты, и переборы конского топота, и ясный звон орудий. Дозорщик был доволен и

мысленно поздравлял себя: «Ура! Валит не меньше дивизии... Неужто бежит к Москве разбитый Мюрат?..» И, затаив дух в нетерпеливом ожидании, он во все глаза смотрел на дорогу, испещренную яркими бликами белого света.

Ночной марш открывался саперами. Их высокие медвежьи шапки, длинные бороды и пригнороченные к поясам топоры не казались в этой лесной глуши ни удивительными, ни странными. Они пропли стройными шеренгами, рота за ротой, и уступили место другой части войск. Красные кутаасы с перьями на шапках... Что это? Изумленный дозорщик вздрогнул и чуть не слетел с сосны. Да, — синие мундиры с красными откосами над белыми жилетами, короткие белые штаны, штиблеты, красные эполеты, а главное — такой точный и мерный шаг, какой можно видеть в России только на петербургском Марсовом поле в церемониальный майский день... Сомнения не было: мимо проходила старая гвардия Наполеона. Но как же так? Почему она не в Москве, а здесь? И идет по Калужской дороге? Куда?.. Дозорщик принял холодной щекой к шершавой и мокрой коре дерева. Сердце его билось неровными, до боли сильными толчками.

По дороге, впереди угрюмой толпы людей в маринальских плащах, генеральских шляхах и альютантских шнурах, шел невысокий плечистый человек в зеленой бархатной шубе. Собольий воротник и четырехугольная красная шапка с околышем из чернубурой лисицы оставляли открытым его лицо. И из сотни тысяч человеческих носов и подбородков дозорщик тотчас же узнал бы строгий нос и твердый подбородок именно этого человека. Ошибки быть не могло. Наполеон шел, опираясь на трость. Его походка была тяжеловата. Некоторая медлительность ее говорила об отвычке великого человека от дальних пеших прогулок...

Дрожь бжала по земле и наполняла воздух гулким беспокойством. Вероятно, так бывает, когда где-то вулкан с яростью извергает пламя, пепел и дым и на сорок верст кругом разносятся глухие отзвуки зловещей катастрофы. Наполеон прислушался и махнул тростью.

— Мортье взрывает Кремль! — сказал он, не обращая ни к кому из своей свиты в отдельности.

Каждый из шелших за ним людей на один момент поднял опущенную голову. Но никто не ответил. Словесный поединок между императором и его приближенными кончился. Те-

перь и ему и им одинаково предстояло помышлять о спасении. А для многих спасение все еще заключалось в его счастье. Он привел их сюда. Так пусть же и выведет. Пусть-ка попробует теперь не командовать, а кашлять, как под Бородиным... Он не имеет права быть несчастным. Его обязанность перед ними — быть счастливым. Ведь он — император по счастью...

Свита молчала, а Наполеон думал: «Слава! Подлая маленькая лгунья! Неужели она начала изменять мне? И никто не назовет больше подвигами моих кровавых бородинских ошибок? Не припишет моей гениальной расчетливости занятия Москвы? Не объяснит моим величием ее разрушения и этого бегства? Чорт возьми! Неужели прошло время, когда все мои промахи лишь поднимали и укрепляли меня? Кто же я? Великий человек или просто отважный смельчак? Что я сделал? Построил памятник или вырыл могилу?..» Почувствовав, что усталость его одолевает, он остановился и приказал подать коня.

Казачьего дозорщика давно уже не было на осне. Он осторожно пробирался к ложине, где оставил с вечера своих казаков, и находился в необыкновенном, радостно-смутном настроении духа. С одной стороны, как было ему не радоваться важности сделанного открытия? О том, что Наполеон оставил Москву, что он и армия его здесь, не знал еще никто, — ни генерал Дохтуров, стоявший неподалеку от Боровска с шестым пехотным корпусом, ни сам фельдмаршал в Леташевке. Дохтурова послали добывать Мюрата. А очутился он лицом к лицу со всей французской армией, во главе с самим Бонапартом. Открытие дозорщика спасало корпус Дохтурова от неминуемого уничтожения. Все это так, — с одной стороны. Но, с другой, — дозорщик чувствовал это с досадой и смущением, — открытию его нехватало... чего? Наполеон шел, повидному, через Боровск и Малый Ярославец на Калугу. А что если он, со свойственной ему хитростью и мастерством, только маневрировал и путал карты, скрывая фальшивым движением настоящую цель похода? Русская армия оставит свой лагерь и пойдет по ложному следу. Какая начнется сумятица! Сколько непоправимых ошибок совершится в результате первого неверного шага!

Дозорщик остановился, потрясенный этими соображениями. Лицо его, обращенное к месяцу, было бледно. И бледность эта, как бывает в минуты сильного волнения у очень смуглых людей, казалась коричневатой. Черные,

горячие глаза его, не мигая, смотрели вперед полные напряженной мысли. Он еще видел французскую армию. Она прошла. Тысячедовые тяжести артиллерии и обозных грузов превратили широкую и гладкую лесную дорогу в глубокую, грязную колею. Вдоль эконома колен; в одиночку и мелкими группами, лишь отсталые солдаты... Лицо дозорщика прсыпало. Вот чего нехватало его открытию живых «языков»!

— Взять несколько человек, — прошептал он, — лучше — гвардейцев! Взять... Допросить... Скажут, мерзавцы... Скажут!

И, не раздумывая больше, оглябая с удивительной ловкостью встречные деревья, стремительно кинулся в бег к ложине — казакам...

— Так ты и есть вохтинский атаман?

— Я самый, ваша милость...

— Бурин, крестьянин павловский?

— Точно.

— Коли так, здравствуй на добром знаместве, любезный атаман! И возьми на память я — капитан Сеславин, здешних мест партизан.

Сеславин протянул свою тонкую, с длинными пальцами, руку и крепко сжал в нее большую, жесткую ладонь Герасима. Но в мени на разговоры он терять не мог.

— Господа казаки! Тетери сонные, наем по десяткам! Живо!

— Куда же это враз-то? — с недоумением спросил атаман.

— Копя мне! Живо! Куда? Ах, брат, видел я сейчас Наполеона...

— Пи-ильёна? — переспросил, не в ушам, Герасим.

— Его. Да долго ли вы будете возить бездельники? Коня мне в момент! Да! Франзы ушли из Москвы, потому их и много? Идут, как понять возможно, на Калугу... проверить надо... Очень это важно... А того отбить из отсталых хотя бы два «языка»... За тем и спешу я!

Он уже вертелся на сером степном склоне и плеть его запевала казачью песню. Герасим снял гречневик и перекрестился.

— Куда дерево подрублено, туда и высл! — проговорил он тихо, стараясь унять вольную радостную дрожь голоса. — Слава Христе спасе! А гоняться тебе за языками ваша милость, нужды нет. Вол они — в ветках связаны сидят. Коло часу будет, — как ка, разведчик мой, восьмерых приволок. С яшпы! Видно, верно так: где ворон не летит, а когтей соколых миновать ему не с...

Сеславин подскочил к кустам. Лица плен-ных были изуродованы смертельным страхом. Все тряслись в ознобе, один, кажется, даже шкал. Но это были настоящие егеря наполеоновской гвардии!

— Ага! — в восторге крикнул Сеславин. — Уж и услужил атаман! И разведчику твоему — низкое спасибо!

— Да вот и сам он, ваша милость!

Действительно, Казарка стоял тут же. Изрытое темными оспинками лицо его казалось черным от размазанной по нему запекшейся крови. Но он не обращал на это никакого внимания и улыбался с самым довольным видом.

— Поцеловал его француз, — тесачком малость, подлец, тронул. Да кой тронул, и лежит тамо ж. У нас ведь так...

Казарка осклабился, сверкая зубами.

— Эт-то, — сказал он, — ничего эт-то... На живом все заживет.

Сеславин любовался своими новыми знаками. В нем возникали глубокое и сильные чувства. Он с трудом подавил в себе волнение.

— Крестьяне российские! Может ли роки-на забыть любовь и верность вашу? А теперь, любезный Казарка, помоги-ка прикладом своим этим бродягам подняться... Так! Да не бей их, друг, не бей!.. Лежачего бить не надо...

Пленные егеря дружным хором отвечали на вопросы Сеславина. Они не разногласили ни в главном, ни в подробностях. А это — первое доказательство искренности. Повидямому, им с перепугу и в голову не приходило путать. Герасим разводил руками от удивления, слушая, как сыпал свои вопросы Сеславин, — за все не по-русски, не по-русски, — ни дать, ни взять павловский барин с соседями. Только те попусту, а партизан — с делом. Егеря показывали, что французская армия начала отступать из Москвы седьмого октября. Но и до нынешнего, одиннадцатого, числа все еще оставался в городе маршал Мортье с четырехтысячным отрядом. Перед выступлением офицеры обьяснял солдатам, что марш пойдет через Малый Ярославца на Калугу, с целью обойти Кутузова и отрезать русскую армию от плодородных южных провинций...

Больше ничего не надо было знать Сеславину. Итак, дело заключалось не в одном лишь спасении шестого корпуса генерала Дохтурова. Теперь все было ясно.

— Гей, казаки! — закричал капитан. — Бери пленных! Вяжи! Кидай на луку! Торочи! На конь! За мной!

И скакун его снова плясал и крутился под взмахами плети.

— Прощай, любезный атаман!

— Эге! — неожиданно проговорил Герасим. — А языков-то куда ж ты от нас берешь, ваша милость? Мы за них от Михайлы Ларвонича ружья имеем...

Сеславин засмеялся.

— Восемь языков эти дорожке тысячи ружей. Да и не возвращаться же тебе с ними в Леташевку! В Павлово тоже не повезешь ведь. Ну? На что они тебе? Отдай их мне. Верь, — возьму! И светлейший знать будет. Сам же ты, Курин, ведай: отныне не встречать, а провожать станем французов. Хочешь на проводы не опоздать? Живей оборачивайся... Веди свою дружину с Вохты сюда и дальше — на старую Смоленскую дорогу...

Герасим слушал с жадностью. Капитан нагнулся с седла и быстро чмокнул его в губы. Потом хлестнул коня плетью между глаз и бурей вынесся из лощины со своими казаками.

— Дорожному бог простит! — тихонько пробурчал ему вслед Герасим. — Что ж? Видать, пропали языки. А може, и надо так-то! Зато уже на проводы гостей дорогих не опоздаем!..

В Леташевку, у избы генерала Коновницына, стояла верховая офицерская лошадь. Солдат держал ее под уздцы. Лошадь тяжело водела запавшими боками. Глаза ее дико сверкали. По морде, холке и репице катились потоки белой пены. По всему было заметно, что дальнюю и трудную скачку только что предал этот конь...

Петр Петрович выскочил из избы без шляпы, на ходу застегивая сюртук. Худое лицо его пылало живым румянцем. Свершилось! Вот уже и ночь к рассвету, и еще чернее стала, чем была с вечера, — близок день. А он так и не прилег ни на час. Сидел, работал и с тоской отбивался от печальных мыслей. «Долго терпеть — не беда, было б ждать чего, — думал он. — Замучила меня эта должность... Нет, ядра и картечи много лучше, чем это!» Подумал, и... сталося! Но вот прямчался от Дохтурова адъютант, привез рапорт своего генерала, и все переменялось. Коновницыну уже слышался призывный грохот битвы, — свист картечей и клектанье ядер... Он видел пламя и дым, влечущую кровь на холодной земле и победную радость на солдатских лицах... Славно! Да сгинет же злодей Бонапарт и да здравствует Россия!

Коновницын так легко и быстро взбежал на крыльцо фельдмаршальской избы, что часо-

вые, брякнув ружьями, отдали честь его шпине.

— Почивает его светлость?

— Только-только започивать изволил,— шепотом отвечал дежурный адъютант,— а то все ворочался да охал... Ноги опухли и свербота в боку...

Коновницын кивнул головой и, стукнув в дверь рукояткой шпаги, вошел в горницу. Кутузов действительно лежал на постели за перегородкой. Возле него на ночном столике горела свеча и тускло поблескивала в граненом флаконе темная жидкость. Петр Петрович хорошо знал этот флакон с загадочной надписью на этикетке: «Мать-мачеха». Адъютант ошибся: фельдмаршал все еще не спал. Заслышав за дверью голос Коновницына, он оперся на локоть и круто повернул мягкую, как тряпка, шею. В этом положении и застал его Петр Петрович.

— Что, Пьерушка?— спросил Михайло Ларивонич.— Что? Никак с вестью? Рапорт, никак? От кого?

Коновницын вытянулся, точно на смотру.

— Донесение к вашей светлости от генерала Дохтурова.

Кутузов быстро сел на кровати. Зрячий глаз его зажегся острым светом. Он сунул вниз ноги, огромные, белые, толстые, как снопы соломы, и, нащупывая ими туфли, по-детски потянулся обеими руками к креслу за сигареткам.

Коновницын развернул измятую бумагу и поднял к глазам свечу. Михайла Ларивонич торопливо надевал сигаретку. По наспах припиченные к нему ордена срывались и падали на одеяло. Он подбирал их неловкими пальцами, опять припичивал к петлицам и пуговицам, снова ронял,— дело не ладилось. Тогда он встал и, перекинув через плечо ленту старшего ордена, опустил руки по швам. Теперь фельдмаршал был готов выслушать рапорт командира шестого корпуса. У него был торжественный, сияющий вид.

— Так говори же, Пьерушка! Говори! Читай, друг мой! Что за события? Уж не оставил ли Москву Бонапарт? Отступает? Читай же, не томи душу!

«...гвардии капитан Сеславин,— начал Коновницын,— не более двух часов как открыл головное движение сил Бонапарта от Москвы по новой Калужской дороге... Сам Бонапарт с гвардией своей, корпусами маршалов Нея, Даву и вице-короля итальянского следует лесными путями к Боровску, а оттоль на Малый Ярославец. Другая колонна армии неприятельской через Рыжово и Шалимово туда же направление имеет. Капитан Сеславин доставил

и пленных, кои согласно показывают, и марш наполеонов целью ставит Калугу и обхода нашего. Вынужденным нахожусь, и таковой угрозой сил несоразмерно превосходящих, нимало не медля, отступить к селу Арстову, а оттоль,— куда указано будет. Кавалерию корпуса шестого к стороне Борова направил, дабы, сбоку от неприятеля следя вела за движением его наблюдение и немедленно извещала».

Коновницын кончил. Руки его тряслись. Несколько мгновений Кутузов и он неподвижно стояли друг против друга. Но бледному лицу фельдмаршала тяжело стекали крупные слезы. Наконец он медленно повернулся к красному углу горницы, где в полумраке таинственно искрилась алмазная россыпь на ризах бесчисленных образов, и трижды осенил себя размахистым крестом — от лба к животу и за оба плеча. Из горла его вырвался хлип.

— Боже, создатель мой! Ты вынул молитвенной: спасена Россия!

Он порывисто обнял Коновницына. И объятии этом истощилась овладевшая им суровость. Он прошелся по горнице и, вернувшись к столу, заговорил твердо, горло и повесть:

— Бог велик, а усердие наше беспредельно! Каргу! Каргу мне сюда!

Адъютант вбежал с картой. Но Кутузов: же и не взглянул на нее.

— Пиши, Пьерушка, что говорить буди Пиши, а через полчаса — в приказ по главной армии и с курьерами по местам. Ити шестому корпусу генерал-от-инфантерии Дохтурова следовать... Нет, не следовать!.. Бжать к Малому Ярославцу и, город заня ожидать там прибытия сил важнейших, примерно тпцась соделать Малый тот Ярослав первой ступенью падения бонапартова. Генералу-от-кавалерии Платову без промедления самозаместителем из Тарутина с пятнадцатиказачьими полками выступить туда же, стараясь предупредить неприятеля и, совместно шестым корпусом, занять город. Главной армии выступить из лагеря ныпче, одиннадцатого октября, в полдень, слева, флангом маршем через деревни Леташевку, Колодецкий Угодский Завод и село Спасское к Малому Ярославцу. У села Спасского на реке Протнемеда понтонный мост навести. Обозы и прикрытием двух казачьих полков, через озера Озчирино по старой Калужской дороге туда же двинуть...

Он говорил все это, не задумываясь и не подыскивая выражений, безошибочно навая по памяти все деревни и урочища, что

которые должны были следовать части армии. И зачем бы понадобились ему сейчас справки по карте, когда давным-давно, в долгие осенние ночи леташевского сиденья, он ввучил ее вдоль и поперек, терпеливо поджидая счастливой минуты? Она наступила сегодня, и он — один из всех, трудившихся над спасением России — был вполне готов к встрече с ней. Наполеон бежит из Москвы на Калугу, — именно с этого должно было начаться спасение России. Кутузов отбрасывает его с Калужской дороги на разоренный смоленский шлях, бьет и гонит до границы, — так оно должно завершиться.

Кутузов потянулся к флакону с питьем. В руке его дробно зазвенело стекло о стекло.

— Пью мяту от ножной пухлости, — сказал он, — а для великого дня не приказать ли шивучки стакан, Пьерушка? Ведь теперь не генералов токмо, а еще и королей забирать будем!

— За это, — радостно улыбнулся Коновницын, — по стакану. И за Сеславина — по другому. Он спас Дохтурова и шестой корпус.

Кутузов торжественно поднял кверху руку:

— Нет! Шестой корпус мы спасем. А Сеславина... Молодец этот нынче Россию спас!

Мгла за окном принимала мутно-белесый оттенок, — ночь переходила в холодное пасмурное утро. На леташевских улицах кипело: карьером мчались конные, во все концы бежали пешие военные люди, маршировали роты, скрипели фуры, кричали и бранились фурлейты, выли сигнальные рожки. Все это сливалось в тревожную и шумливую суету кажущегося беспорядка, каждая подробность которого, однако, была точно рассчитана.

После ухода Коновницына Кутузов уже не мог заснуть. Он даже не снял сюртука с егалиями. И так и сидел в нем на постели, опложив обе ноги на кресло и внимательно прислушиваясь к тому, что делалось за окном. Друг чуткое ухо его уловило весело-трескующую мелодию далекого барабанного боя.

— Бьют генерал-марш! — прошептал фельдмаршал. — Бьют марш! Господи сил, с нами буди!

И, отшвырнув ногами кресло, закричал:

— Умываться!

VIII

Груда мерзлых трупов, человеческих и лошадиных, показывала, что именно здесь расположен был прошедшей ночью бивак отступавших. Но места вчерашних костров за ночь так занесло снегом, что новые приходи-

лось раскладывать прямо на сугробах, и раздуть огонь на таком костре было нелегкой задачей. «Можайский ветер» валил с ног. В черное небо взвивались столбы искр, а пламя не разгоралось. В топливе не было недостатка. Вся дорога была покрыта вешамп, выброшенными из повозок, и большинство этих вещей представляло собой отличный горючий материал. Здесь валялись картины в богатых широких рамах, книги, переплетенные в красный сафьян, с золотыми обрезами, точеные спинки дубовых и ясеневых кроватей. Такого добра можно было набрать сколько угодно, вытаскивая его из-под разбитых лафетов, заклепанных пушек, мертвых и умиравших людей. По обочинам дороги немало было также разметано поломанных фургонов без упряжи. Из всего этого и вырастали костры...

Странные фигуры толпились кругом драгоценных куч топлива, высекая огонь и язгая зубами от холода. У одних на головах вместо шапок были надеты ранцы. У других еще сохранились каски с длинными конскими хвостами, но зато сами они были обвиты соломой и окутаны рогожами. Лишь очень немногие сжимали ружья в обочевенных руках. Но когда безуспешные попытки раздуть огонь затягивались, они высыпали с ружейных полок на снега свои последние пороховые затравки, а ружья бросали. Случалось, что и артиллеристы приносили откуда-то картузы серой гремячей пыли. Тогда горку пороха поджигали. Она с грохотом вспыхивала, а наклонившиеся над ней люди кувырком летели в снег, обожженные и обгоревшие, проклятая бога и жизнь.

Но в одном из шалашей, наскоро сложенном из прутьев, перевязанных соломой, костер разгорелся. Возле огня сидели и стояли люди.

— Нет, господин Риго, — говорил один из них, худой, как скелет, и такой бледный, слово несколько суток пролежал в гробу и только после этого вылез на печальный свет, — нет, не обманывайте ни себя, ни меня. Я был с императором в Сирии и Египте, был в Испании, обошел всю Европу, — короче сказать, видал виды. Но все это ничего не стоит перед тем, что происходит с нами здесь, в этой треклятой стране, на этой адской Смоленской дороге. Я считаю, что с тех пор, как русские отшвырнули нас сюда из-под Малого Ярославна, мы погибли. Нам уже не выбраться из России...

Лицо майора Риго, отличавшееся прежде своим здоровым медно-красным цветом, приобрело теперь оттенок сизый, почти фиолетовый. Крупный нос майора был отморожен и оттого висел вниз огромной спицей дулей. Но хладно-

кровие не оставляло его ни при каких обстоятельствах. Он пожал плечами и сказал:

— Замолчите, Бургонь! Не надо жалоб. Они бесполезны и даже вредны, так как отнимают мужество и у тех, кто жалуется, и у тех, кто слушает жалобы. Вчера маршал Ней прислал к императору своего адъютанта с донесением о беспорядках в арьегарде. Я был недалеко и наблюдал. Адъютант раскрыл было рот, но император тут же оборвал его: «Полковник! Я не спрашиваю у вас подробностей!» Это значит, что бедствие непоправимо, и император прекрасно понимает это. Не хуже вас, Бургонь!

Риго замолчал. Какой-то отогрешившийся драгун засвистел за его спиной:

Нет ничего дороже для меня,
Чем дом и мил.я семья...

Майор сейчас же обернулся к свистуну и презно рывкнул:

— Простофиля! Если вы еще в силах мурлыкать, то оставьте, по крайней мере, эти глупости! Я приказываю вам в таком случае петь:

Спасенье империи вверено нам,
Отечества лучшим сынам!..

Солдат выслушал окрик, не возразив ничего. Но и свистеть перестал. Бургоню никогда не нравилась в майоре тупая стойкость его мыслей. Для Риго не существовало никаких соображений, способных открыть человеку глаза на глубокий беспорядок, царствующий под наружным покровом дисциплины и внешнего повиновения. Жалкая близорукость! Но прежде Бургонь не посмел бы и заикнуться об этих вещах. Теперь же, когда все перемешалось, кавалеристы шли пешком, а пехотинцы тащились верхом на полумертвых одах и от кирасирского полка, в котором служил Бургонь, осталось двадцать восемь человек, негодование и возмущение в нем кипели. Решив, наконец, высказаться, он начал, однако, несколько со стороны:

— Дорогой господин Риго,—спросил он, вздрагивая от злости и холода,—вы, конечно, не сможете дать мне ни горсточку рису, ни сухаря, хотя я голоден, как бедун?

— У меня нет ни того, ни другого,—спокойно сказал майор,—я уже три дня не ем ничего, кроме конины. Кстати, я убедился, что лучше всего мясо лошадей, которые подмерзли заживо,—еще стоят, но вот-вот упадут. В таком состоянии лошади дают себя убивать, но трогаясь с места. А мясо и

кровь — еще теплые. Когда же лошадь падает и окончательно замерзнет, приходится рубить ее на части топорами...

Пятна на физиономии Бургоня позеленели — Очень хорошо, господин Риго. А как вы думаете, будут ли сегодня раздавать водку?

— Конечно, нет,—спокойно отвечал майор. Он уже готовил себе логово для ночлега, копя в снегу между собой и костром ямку, набрасывая в нее ключья соломы.

— Тогда остается только умереть.

— Не спешите, Бургонь! Вы успеете это сделать, когда вам прикажет император...

Этого только и ждал капитан.

— К чорту!—в бешенстве закричал он. К чорту и его, и вас, и все... Кому были нужны наши несчастья? Я спрашиваю вас — кому?! Чего мы искали в этой ледяной пустыне, в кровавой грязи, под ледяными уранами?

Сам не понимая, что с ним делается, вскричал. Громкие рыдания, как собачий лай, вырывались из его горла, стиснутого железной спазмой. Он в ярости тряс кулаками. Риго тоже встал и положил руку на его плечо.

— Бургонь! Вы больны! Возьмите себя в руки, иначе вы не увидите Франции!

— Франция! Застава Руль! Вы глупый Риго! Чорт, побори вас вместе с вашим «рекрутом»!¹

Яростно заревев, Бургонь выскочил из шалаши и, будто подхваченный порывом ветра, исчез в темноте.

— Капитан сошел с ума, земляки!—сказал Риго солдатам.

— Среди нас много сумасшедших,—радостно откликнулся один,—я еще час назад привел сюда такого. Вон, он стоит в гробе...

Майор оглянулся. Действительно, усаженный медвежьей шапкой, с обрывком медвежьей лопы на шее, торчал у самой дороги полупла в снегу, неподвижно застывший в руках, взятый на-караул. Вдруг он выпрыгнул вперед с левой ноги, сделал два шага, маршируя, как на параде, но споткнувшись, воскликнул громким голосом:

— Да здравствует император!

Риго быстро подошел, взял его за руку и встряхнул.

— Товарищ, что с тобой?

Бедняга глядел кругом мутными глазами. Но, подумав о чем-то с минуту, ответил, словно спросонок:

¹ «Рекрутом» бранили в армии Наполеона за то, что он закешкался в Москве.

— Что это такое? Разве мы не на императорском — смотрю?

Слезы медленно скатывались с его худых щек на замерзшие усы.

— Полно, друг! — растроганно пробасил Пикар. — Полно! Ты старый солдат и вдруг — плачешь!

— Дайте мне поплакать! Мне легче от этого! Страшная грусть томит меня! Я не знаю, что со мной. Может быть, я спал... Но теперь это, кажется, прошло...

— Вот и прекрасно, старина! Ей-богу, все пристаяк! Идем к огню!

— Идем! Идем!

Утренний подъем с биваков был хуже всего остального. От мороза сплывались губы, тпыло внутри носа. Казалось, что за ночь лед превратился в кусок льда и потому перестал выделять какие-нибудь мысли. Били карабаны. Унтер-офицеры кричали осыпшими слезами. Сколачивалось подобие строя (а чаще не сколачивалось), и армия двигалась вперед. Но многие солдаты оставались лежать на горячей золе костров, не отвечая ни на поощрения товарищей, ни на ругань капралов. Для того чтобы сделать свой последний переход, им не надо было уже ни вставать, ни идти...

Сегодня обоз первого корпуса покидал на стоянке необыкновенно много людей, лошадей и повозок — целое море, застывшее в бесчувственной неподвижности, в мертвом отливе.

— Ужасно! — сказал маркитант сорок восьмого линейного полка Пикар. — Так ужасно, что и слов нет! Это — не поход, а какое-то шестие призраков. И с каждым днем ледяной круг окровавленных снегов все расширяется и расширяется... Ведь надо только подумать — тысячи людей погибают ежедневно, а каждый из них, наверное, ничуть не хуже меня...

— Не хуже, а лучше, рыжий дурак! — кричала па Пикара его жена. — У тебя хватает соображения только на то, чтобы болтать о посторонних, а о своей собственной жене ты и не думаешь!

Тетка Пикар собиралась родить и, пользуясь этим обстоятельством, экстраординарным даже в этих странных условиях, решительно не желала сдерживать язык.

— Вот что, Пикар! Если ты сам не соображаешь, я говорю тебе: баста! Я не могу идти дальше пешком. И для какого чорта это нужно? У моего мужа — насколько я знаю — есть еще десять фургонов на крепких колесах, и лошади еще передвигают ноги...

— Моя милая! — смущенно возразил мар-

китант. — По тебе известен также и строгий приказ «рекрута»... Все повозки заномерованы... На всех — раненые... Он пристрелит меня, как зайца...

— Подумаешь! — яростно завопила тетка Пикар. — Подумаешь! «Рекрут» приказал! Мы до сих пор делали все, что он приказывал. А что вышло? Слушай, Пикар! Или новая, чистая жизнь войдет в мир, или эти куски истерзанного человеческого мяса будут гнить в наших фургонах! Ты должен понять!

Маркитант вздохнул и направился к своим повозкам. В первой из них, друг на друге, лежали трое тяжело раненых. Пикар приподнял крышку фургона и всунул под нее рыжью голову. В лицо ему пахнуло остро-смердным духом болезненных испарений. Сверху лежал огромный кирасирский сержант с широким носом, перебитым посередине. Глаза его были бессмысленно и страшно вытаращены. Язык крепко прикушен, настолько крепко, что кровь на губах заеклась черной сухой полостей. Обими руками он зажимал нижнюю часть своего живота, вспухшего и раздувшегося, как пузырь. Пальцы его судорожно перебирали край колета, и это сразу заметил Пикар. «Ага, — подумал он, — смерть уже тянет тебя за собой, дружище!»

— Господи сержант! — позвал он раненого. — Господи Курбвуа!

Желтое лицо бравого сержанта не выразило ничего, что могло бы доказать, что он слышит свое имя.

— Ну, что ж, — пробормотал Пикар, осмелев, — коли ты так плох, то и ехать тебе больше некуда и незачем...

Ухватив раненого за ноги, он сильно потянул его из фургона. Курбвуа взревел гробовым голосом, но несколько не препятствовал насилью. В эту минуту ему мерещились парижские казармы и старая колбасница, которая приходила туда каждое утро с огромной тяжелой корзиной. Перед уčenьем — кусок колбасы за десять сантимов, стакан сюренского вина, а в девять часов — отличная похлебка. От этих воспоминаний слезы выступили на глазах Курбвуа и усы его ужасно встопорщились. Он уже лежал на снегу возле дороги, но все еще ревел. А Пикар, работая, как дровосек в лесу, с остревенным вытаскивал из повозки остальной груз.

— Проклятье на твою голову, мошенник! — услышал он в самый разгар своей бурной деятельности возмущенный крик. — Тысяча проклятий! Сейчас я разрублю тебя пополам, как теленка!

И в самом деле, Бургонь уже выхватил шпагу.

любой, — к чему охота, к тому и смысл. У нас, у крестьян, так приговаривают. И выжили, что щука востра — взяла орша с хвоста.

Ответ Герасима понравился всем трем партизанам, и они дружно захохотали.

— Наполеон наделал глупостей, — сказал Давыдов, — фельдмаршал Румянцов глубже знал войну. У него было мудрое правило: надо начинать войну с брюха. А корсиканец все строит на фокусах: «чем меньше хлеба, тем больше славы!» Ну, что это такое?

— Одна у волка песня — волчья, — заметил Герасим, — опричь нее и нет ничего...

И опять все одобрительно рассмеялись.

— Экий злодей! Все жжет, что ни встретит на ходу, — без пощады. Он метителен. Кто и мы ему платим с процентами. В последнее время наши почти вовсе не берут пленных, — разве одни регулярные войска...

Лесник, которого до сих пор не было ни слышно, ни видно, вдруг вмешался:

— Вадорожали, ваша милость, пленные... Приступу не стало. Допреж сего господа казачество по семику за голову уступали, а ноне и за штык не укусишь...

— А зачем тебе пленные? — с любопытством спросил Сеславин.

Лесник усмехнулся и не ответил.

— Итак, все решено. — проговорил Фитнер и встал, — времени терять не будем, господа. Сегодня перед сумерками испытаем новый способ четверного удара. Сеславин с казаками — из лесу, Давыдов с тусарами — от деревни, я со своими чудаками — с речки, а Курин — по-шучьи, за хвост. Начинает Давыдов, кончает Курин. Правильно? Небось, завтра и пленные подешевеют. А впрочем, вряд ли...

Рот его дернулся, в тусклых глазах на мгн блеснули слезы.

— С богом! — сказал Герасим. — Обойдемся! Не первый, чать, снег на голову... Виноват Топтыгин, что козла задрал, да не прав и козел, что на Топтыгина полез...

— Главная ошибка Бонапарта в том, — говорил, выходя из избы, Сеславин, — что не предусужал он русского народа. Не разглядел, не понял души его. Умрем, а с земли своей не сойдем! Вот в чем дело...

Наполеон и его свита ехали верхом посреди большой колонны войск, которая называлась «императорской». Никогда до сих пор армия не видела своего вождя таким задумчиво-серьезным и молчаливо-грустным. Северный ветер бушевал, поднимая метель. Враждебное, холодное небо, снежные сугробы, веч-

ная угроза казачьих набегов и этот мрачный вид императора...

Впрочем, от времени до времени Наполеон выходил из задумчивости. Так, он обратил внимание на глухие удары, доносившиеся откуда-то сзади и похожие на взрывы. Они повторялись все чаще и чаще. Наполеон оглянулся. Вспышки огня следовали одна за другой. Густой дым поднимался к небу и окутывал войска.

— Это что такое?

— Когда орудия брешены, надо взрывать зарядные ящики с гранатами, государь, — упрямю отвечал ему кто-то из генералов.

Император промолчал, вспомнив недавнюю грубость прямолинейного маршала Нея: «Сражаться? Чем, ваше величество? Ведь у вас нет больше армии...» Ней груб, но правдив. Армия, действительно, больше нет...

Вскоре Наполеон заметил по сторонам дороги странную картину. Груды человеческих тел лежали на снегу в самых необыкновенных позах, как бывает с убитыми. Однако эти трупы были одеты в лохмотья французских мундиров. Откуда могли взяться впереди армии убитые французы? Удивление императора еще возросло, когда ему показалось, что мертвые живы. То там, то здесь поднимались рука, нога, голова... Протяжные, страшные стоны резади слух...

— А это что такое? Как могли здесь очутиться наши раненые?

Никто не знал. И, вероятно, никто так-таки и не ответил бы, если бы не Бургонь. Капитан давно уже бежал вприпрыжку о бок со свитой императора, а теперь с такой отчаянной силой и так внезапно ринулся к его коню, что ни одна рука не успела схватить его.

Странные вещи происходили в последние дни с Бургонцем. Стоило ему решиться на какой-нибудь шаг, как что-то подхватывало его, увлекало и, придя в себя, он с изумлением видел, что совершил не один шаг, а множество уродливых, сумасшедших скачков. Ведь это не он кричал и бесновался вчера вечером в шалаше у майора Риго, а кто-то за него... И сейчас не он, а кто-то другой, сидевший внутри него, поднял кулаки перед самой мордой императорского коня, который от неожиданности шарахнулся в сторону.

— Смотрите! — бешено воскликнул Бургонь. — Вон там, у дороги, лежат и умирают солдаты... Воры выбросили их из повозок... Курбува!.. Сержант Курбува!.. Я о тебе говорю, старый товарищ! А здесь едет этот жалкий кривляка, который десять лет таскает нас за собой по свету, точно мы не люди, а

куклы... Товарищи! Он спятил с ума! Бойтесь его! Он сделался людоедом! Чудовище сожрет нас всех!..

Но в это время Бургоня уже крепко держали десятки рук. Хотя он все еще продолжал бесноваться, но голос его слабел с каждой минутой, налитые кровью глаза тускнели, и он обвисал полуобезжизненной тушей на выцепившихся в него руках. Его без труда оттащили. И он исчез.

Приключение это чудесным образом оживило императора. Лицо его сразу потеряло мрачное выражение сосредоточенности. И, отдавая твердым и звонким голосом свое неумолимое приказание, он даже чуть приметно улыбнулся.

— Расследовать... Сегодня же... Виновных — расстрелять. И... этого офицера — также!

Случившееся не только доставило Наполеону развлеченье. Оно сделало его разговорчивым. Он подозвал к себе Коленкура, герцога Виеннского, и начал вполголоса беседовать с ним об обстоятельствах геройской смерти его младшего брата. Коленкур-младший пал на штурме центральной русской батареи в бою под Бородиным. Ах, как много обещал этот молодой, восторженно-пылкий, преданный и талантливый генерал!

Друг лошадь герцога нервно прынула короткими острыми ушами и с брезгливой осторожностью переступила через труп русского солдата. А вот и другой, и третий... Еще и еще... И у всех — головы прострелены в упор, и у висков разлита серая мозговая жидкость. Коленкур показал Наполеону на трупы.

— Еще одна загадка, ваше величество. Почему мертвые русские впереди нас?

Наполеон нахмурился.

— Гурго, — сказал он ординарцу, — отправьтесь и выясните!

Ординарец дал шпоры коню и умчался. Но вскоре он уже скакал назад: как видно, загадка дела не потребовала ни времени, ни труда.

— Государь! Конвой, сопровождающий пленных, — бадепские и гессенские гренадеры, — перестрелял тех, которые не желали или не могли идти дальше. Начальник конвоя просил доложить вашему величеству, что такое приказание он получил...

Наполеон махнул рукой, и Гурго прикусил язык.

— Как это бесчеловечно! — с горячностью воскликнул герцог Виеннский.

Его тонкое лицо сморщилось, точно от боли. В темных глазах сверкало возмущенье.

— Какое впечатление произведет это вар-

варство на русских! И не надо забывать, государь, что ведь и у них немало наших пленных и плененных!

Наполеон посмотрел на герцога и качнул головой, — может быть, соглашаясь, а может быть, и нет. Ему хотелось сказать: «Вы знаете, Коленкур! Разве в том дело, хорошо ли трудно, что я приказал пристреливать русских пленных? Дело в том, что это полезно. В всяком случае, полезнее, чем кормить их и отпускать на свободу для пополнения вражеских рядов». Но он не сказал этого, так Коленкура, овеянного посмертной славой брата. Ему казалось вместе с тем в удобном связывать свое имя с этими убийствами. Он не сказал ничего, — просто и чужо...

Только через полчаса, когда Коленкур уже далеко позади, он обернулся к маршалу Бертю и, улыбаясь, очень тихо проговорил:

— А русских пленных — расстрелял всех. Усталость, болезнь, попытки к бегству, — вы понимаете...

Бертю вздрогнул и поклонился.

Пленных вели в колонне, разбитой на три отделения, в шестирядном строю. Впереди в лопны шел конвойный авангард, позади — арбергард, по сторонам — патрули. В же патрули растягивались, чтобы не натолкнуться на русскую засаду. В поле — сближались с колонной. Между рядами пленных маршировали отдельные конвоиры.

Капитан Редриков шел в третьем отделении колонны. Здесь было около двухсот солдат: четыре офицера, но только он один сохранил бодрость духа и крепость тела. Откуда это бралось в нем, он сам не знал. Все остальные были сломаны, раздавлены жестокостью обрившихся на них бедствий и невзгод. Пленные имели такой тощий, заморенный, истощенный вид, что было непонятно, как они могли передвигать ноги. Они так застыли от дыма костров, что походили одни на другого, как двойники. Надо было вглядываться, чтобы различить их лица. Грязь и кровь кривала их жалкие рублища, насекомые жили в лохмотьях. Их почти не кормили. Только на первом переходе от Москвы третья отделение получило корову. И тогда же съели ее. Но с тех пор, кроме кусочков мерзлой конины, колонна не получала ровно ничего. С каждым днем несчастных становилось все меньше и меньше. Одни умирали на ночлегах, другие падали на ходу, и их любивали третьих расстреливали. Так, перед Гжатском, расстреляли всех, захваченных в Москве по подозрению в поджогах. Сначала в отделении

... было почти восемьсот человек. Теперь плелась четвертая часть...

Капитан Редриков преодолел все. Как-то так случилось, что и одежда его изнасилась ченьше, чем у других, и лицо не заокотело. Исокотые оставляли его в покое. И он не окотозил ни носа, ни шек, ни конечностей. Он был всегда готов противиться несчастьям, и отважная душа его не хотела поддаться унынию. Стоило только заглянуть в его бесокотные быстрые глаза да сравнить их с воспаленными, неподвижными и мутными глазами других пленных, чтобы не усомниться в его превосходстве над ними. И сами пленные, все без исключения, чувствовали это превосходство и подчинялись ему. Само собой сделалось, что капитан Редриков стал командиром своего отделения. Один лишь тунокозовый баденский полковник, командовавший конвоем, не замечал этого.

Когда в отделение привели бледного французского офицера со связанными за спиной руками — это был Бургонь, — полковник указал ему место среди пленных русских офицеров, рядом с Редриковым. Долгое время Бургонь шел молча, опустив голову. Потом взглянул на Редрикова. И что-то в этом человеке — сильная ли его фигура, или смелое выражение лица, или рассеченная губа — вдруг воодушевило беднягу. В отделении было строго запрещено разговаривать громко. Баденские гренадеры из конвоя зорко следили за соблюдением этого правила. Но разговаривать вполголоса разрешалось. Бургонь тронул Редрикова локтем и проговорил:

— Сегодня меня расстреляют... За оскорбление императора... Тотчас, как придем на привал.

Редриков неважно знал по-французски и с грудом объяснялся на этом языке. Но понимал все.

— Вы внушаете мне доверие, — продолжал француз, — хотя я и вижу вас первый раз в жизни.

При последнем слове он задумался. Затем усмехнулся так горько, что Редриков от души пожалел его. А он не был человеком, жалостливым от природы.

— Конечно, я никогда не увижу вас здесь, через несколько часов меня не будет. А в будущую жизнь я не верю: стыдно верить в нее человеку, который был солдатом в войсках республики еще в тысяча семьсот девяносто третьем году. Итак, в сумерки меня не будет... Просто — не будет! — повторил он, очевидно, стараясь представить себе, как это его не будет. — И, право, хорошо! В конце концов, я достаточно настрадался

и жалел только о двух вещах: что не умер за Францию раньше... тогда... и что не могу теперь, перед смертью, взглянуть на свою старую мать...

Он проглотил слюну, странно булькнувшую в его горле.

— Это очень хорошо и справедливо, что меня не будет. Я сошел с ума... Пусть благоденствует майор Риго. У него твердая голова, почти такая же твердая, как у этих шпицбубов¹, — он покказал глазами на баденцев, — у них ведь железные черепа. Конечно, может быть, было бы правильнее, если бы я обратился с моей просьбой к одному из них или хоть к самому их полковнику. Но мне претивно иметь с ними дело. Поэтому я обращаюсь к вам. Послушайте! У меня есть сорты наполеондоров, семь русских золотых и тысяча франков кредитными билетами и монетами по сто су. Все это запишу в моем белом жилете. Снимите его с моего трупа. Я вижу, что вам здесь никто не станет мешать. Часть этих денег употребите на подкуп конвойных для своего освобождения. И, если судьба выручит вас из той беды, в которой вы находитесь, отправьте остальное по адресу: Париж, улица Сент-Андре дез-Ар № 13. Запомнили? Это адрес моей матери. Отоплите ей, прошу вас. Ну вот, завещание мое готово!..

И он вздохнул с облегчением.

Туман затянул солнце, и оно перестало светить. Мрачные полутени легли на снежную равнину. Деревья направо от дороги, лес налево и речка, обсаженная ветлами, издали казались спящими пятнами на сером фоне октябрьских сумерек. День кончался.

Неожиданно подошла к Редрикову и Бургоню, баденский полковник долго и пристально, как бы запомнивая их лица, глядел на них. А потом сказал:

— Марш за мной, господа!

Бургонь молча опустил голову. Но Редриков крикнул:

— Куда, полковник?

Баденец поправил усы. За его спиной стояла команда стрелков. Конвоиры уже вывели из рядов колонны около пятидесяти пленных и продолжали выводить. Дело становилось ясным.

— Идем, — сказала Бургонь, — жаль: так моя старушка и не получит...

Редриков быстро нагнулся и оцупал голенище своего сапога, словно ему мешало что-то.

¹ Spitzbub — так французы бранили своих немецких союзников в 1812 году.

— Мы пойдем вон в тот лес, — проговорил баденский полковник.

— Зачем, я вас спрашиваю?

— Но, но, господин пленный офицер! Ваша обязанность повиноваться, а не задавать вопросы...

Где-то далеко впереди взвыл сигнальный горн. Ближе грянул барабан. Сперва смутно, а потом отчетливее донеслись командные окрики:

— A la garde! К оружию!

Тревога? Для таких случаев существовало строгое правило: пленные должны были немедленно ложиться наземь. И потому начальник конвой рявкнул:

— Ложись!

Полковник выхватил из кобуры пистолет и, подняв его дулом кверху, внимательно прислушивался и оглядывался по сторонам. Ружейная трескотня, начавшаяся посредине первого корпуса, постепенно превращалась в неумолчный яростный огонь. Было еще достаточно светло, чтобы видеть, как черное пятно деревни начало выбрасывать из себя на снежное поле ленты кавалерийских наездов. Фланкеры выбежали навстречу наступавшим. Грохнуло оружие... другое... третье... Вдруг ожил лес, и беглый огонь выстрелов разлился по его опушке. Что-то огромное оторвалось от речки и покатилося по сугробам. И все это стремительно двигалось к одной точке расположения первого корпуса, — именно к той, где находились корпусный обоз и баденский полковник со своим конвоем и пленными.

Полковник посмотрел назад. В обозе царствовал неообразимый беспорядок. Толпы обозных солдат, женщины и маркитантов опрометью бросались туда и сюда, сталкивались и прорывались сквозь жидкие ряды стоявших под ружьем войск. Повозки наезжали одна на другую и опрокидывались. Никто никого не слушал, не отвечал на вопросы. Все металось, не переводя дух. Через минуту этот поток обезумевших людей должен был прихлынуть к колонне пленных, и тогда она растает в нем. Широкая лавина не то казаков, не то еще каких-то бородатых наездников настигивала на обоз с тыла. А за ней, несколько медленнее, подвигалась вторая...

Баденский полковник понял, что произошло. Одновременным падением с четырех сторон весь хвост первого корпуса был окружен и отрезан. Пленные, обоз — все летело к чорту!

Шпицбуб не умел задумываться. Дуло его пистолета опустилось и остановилось прямо над головой Бургоня.

— Да здравствует Франция! — крикнул сумасшедший капитан.

Грянуло и заволочло место казни с дымом. Но когда дым рассеялся, рядом с Бургонем лежал и баденец с шеей, перехваченный чем-то дьявольски острым наполом. А Редриков, держа в зубах громадный окровавленный скотобойный нож, припасенный им в день последнего коровьего обеда, насупившись, сыпал порох на полку полковничьего пикарета. Пленные зашевелились. Десятки лежащих на земле людей повскакали на ноги. Конвоиры взяли ружья на прицел. Зашептали курки. Загремели выстрелы. И — смелое Обозное стадо смело конвоем. Французские проклятья, немецкая брань, итальянские молитвы, воззвания к богородице на испанском, португальском языках и грозное русское «ура» — все смешалось. Но это лишь казалось так, будто смешалось все. На самом деле Редриков уже собрал кругом себя не меньше сотни пленных и разоружал конвоиров. А вдоль обоза, давя и сокрушая препятствия, уже мчалась во весь опор конная дружина Герасима Курина...

В этом лихом наезде выстрелом из некоего карабина был убит наповал Стратилат Бизюкин. Пуля ужалила его между плечами. Едва ли кто плакал по Стратилате на его похоронах, — он был бобыль. Но Герасим со Стратилатом и Казарка пролили не одну слезу. Сам Герасим тоже не вышел из этой переделки целым, — свинцом пробило ему левую руку выше локтя. И еще десятка полтора вохтинских дружинников заплатили своей верной кровью за спасение двух сотен обозных пленных на гибель русских солдат и за взятие французский обоз.

Сеславин, Денне Давыдов и Фигнер единодушно признали за Герасимом, кроме мужества и сметки, редкостный военный талант. Уроки Пахома не пропали даром. Выслав вперед первую линию своих конников, он вернулся за ней вторую, много погуще и сильнее. А за ней спрятал пехоту. Когда грянула первая лавина отгеснила стрелков и они побежали к обозу, Герасим выпустил вторую лавину. А потом раздвинул ее и в получившемся разрыве ринулся сам с пехотой. Обоз был прикрыт, до последней минуты полагавшие, что никого, кроме конницы, перед ним не было, полетели назад и угодили прямо под гусеницы скабли Давыдова, пики Сеславина и штыки Фигнера.

— Канальи! — гневно сказал Наполеон, когда ему доложили о подробностях партизанского налета.

Он ничего не любил. Но в устах великого человека это словечко стоило великой похвалы...

IX

Подобно разбитому морскими штормами кораблю, без мачт и такелажа, без реи и парусов, с пустым, дырявым трюмом, французская армия неслась по большой Смоленской дороге, гонимая снежной бурей. И, как слышится, что потерпевший крушение корабль все же избегает окончательной гибели, будучи выброшен на берег грозной стихией, так и французская армия в последние дни октября стала докатываться до Смоленска.

Но надежды войск на этот город — на зимние квартиры, тепло, отдых и хлеб — оказались жестоко обманутыми. Смоленск был сожжен и разграблен, а магазины с пыточными запасами провiantа открывались только для старой императорской гвардии. Между тем морозы с каждым днем становились злее. Армия убеждалась, что ее спасение лежало не в Смоленске, а дальше — в Вильне, в Гольште, в Пруссии... Во Франции лежало ополчение, которого Наполеон выступил со своей гвардией в новый поход. И жалкие остатки армейских корпусов потянулись за ним.

— Наши бедствия достойны гения вашего величества, — сказал императору маршал Ней, получив приказание вести аррьергард.

Придя в Смоленск последним, он должен был покинуть его также последним. И понимал, что обречен на жертву.

Он двинулся к местечку Красному в хвосте армии пятого ноября. Это был странный, по времени года, день. Морозы, продолжавшиеся без перерыва с самой Вязмы, вдруг кончились. Утреннее солнце с такой неожиданной силой пробилось сквозь облака и ударило в землю, что снег уже с полудня начал таять, а к вечеру наступила полная оттепель.

Ней шел к Красному по дороге, усеянной трупами и обломками. Это был след, оставленный пропавшими здесь ранее войсками. Четверо суток кинули под Красным свирепые бои. Русские встречали отступавших французов и били их наверняка. На дне каждой канавы валялись каски, кивера, сумки, повозки и пушки. Некоторые орудия были опрокинуты. Другие запряжены подыхавшими лошалями. Так Ней шел целый день и целую ночь, подгоняемый ветром и мокрой метелью. С утра шестого ноября оттепель еще усилилась, хотя солнца уже не было. Туман висел над землей такой густой и плотной тяжестью, что, взмахивая рукой, можно было от-

четливо ощущать сопротивление насыщенного водой воздуха. Вода пропитывала собой все — обувь, одежду, волосы. Глазам было холодно и больно смотреть на поднимающуюся кругом непроницаемо-белую стену сырости.

К полудню корпус Ней добрался до огромной поляны, заваленной пухлыми комьями подтаявшего снега и тысячами истерзанных трупов. Маршал долго бродил по этой поляне. Он старался по положению мертвых тел определить ряды дивизий и полков, установить места, которые были заняты ими в сражении. Вот тут находилась четырнадцатая дивизия, — номера ее полков виднелись на бляхах разбитых киверов... Здесь — итальянская гвардия... Но где же то, что уцелело от этих войск?

Ней двинулся дальше и скоро вывел свой корпус к оврагу. На некотором расстоянии дорога тянулась по его днищу, а затем поднималась вверх, на широкую и плоскую равнину. От этой равнины до Красного оставалось лишь около лье. Но вся она была покрыта русскими войсками. Их фронт упирался в овраг. Правый фланг защищался болотистой речкой. Левый — частым лесом. Сильные батареи, выставленные на гребне оврага, загрохотали в ту самую минуту, как показались головные части Ней. Холодная и безмятежная равнина мгновенно ожила. Пламя и дым взвихрились над ней. И несколько залпов картечи, один за другим, врезались в ряды оцепеневшей от грозной неожиданности французской пехоты.

Ней выслал навстречу огню стрелков первой дивизии. Крепко закусив зубами трубку, майор Рито сбегал вместе с ними в овраг и выскочил оттуда на дорогу. Саперы позади уже наводили мост через лошину.

— За мной, товарищи! — кричал Ней, потрясая ружьем. — Маршалы не сдаются! За мной, товарищи!

Майор Рито до тех пор бежал вперед, пока не увидел себя одного прямо перед русскими пушками. Стрелки не выдержали картечи и откатились в овраг. Но Ней уже вел три зильных колонны на ревершие батареи. Он хотел атаковать и взять их. «Останусь здесь! — мелькнуло в голове Рито. — Французский офицер, один, перед неприятельскими пушками, — это должно воодушевить наших!» И, осыпаясь градом свинца и железа, он продолжал стоять в этом огненном аду, размахивая руками. Какой-то русский генерал, в звездах и ленте, с крутой грудью и большим оранжовым носом, скакал на рыжем коне, и до рога амарантовая шаль развеивалась на его плечах, как флаг. Рито уже пощипал кое-что по-русски. Генерал обращался к выбегавшим по-

тумана гренадерам и, показывая на левую колонну Нея, кричал:

— Ребята! Дарю ее вам! Берите!

Тут произошло нечто такое, чего никак не должен был бы пережить майор Риго. Но он пережил и это. Русские гренадеры со штыками наперевес бросились на левую колонну. Удар был так стремителен, рукопашная сшибка так яростна и мгновенна, что Риго не успел даже и сообразить, что именно с ним случилось, как вдруг вместе с поредевшими и рассыпавшимися шеренгами солдат неудержимо покатился вниз, в овраг. А генерал с орлиным носом уже скакал в овраге и, от времени до времени приструнивая копя, под огненным ливнем, не спеша нюхал табак. Русские солдаты кричали ему:

— Зачем, отец, пожалел вторую колонну-то?

Генерал кивал головой и усмехался. Он пожалел не вторую колонну Нея, а их — гренадеров¹. Они сделали свое дело. Теперь его завершала артиллерия. Ядра не переставали свистеть. Одно из них снесло с ног сразу целый взвод французских солдат, свалило офицера, насквозь пробило фуражку и помчалось дальше. Картечь пронзительно визжала. Роты Нея, смятые и скошенные этим самумом, исчезали, как привидения. И так продолжалось много часов...

Вечерний сумрак начинал заволакивать место боя. Майор Риго вздохнул с облегчением. Опытный вояка, он понимал, что ночь — единственная верная союзница погибавшего корпуса. И вот — она шла на помощь! Хладнокровие и выдержка оставили старика. Он выбежал из рядов, обернулся лицом к солдатам и поднял обе руки вверх, — в одной из них была зажата его трубка. Риго хотел очень много сказать этим людям и уже раскрыл рот. Но слова не отыскивались. А ядра свистели, крутясь кругом, и картечь пела, шлепаясь в живой строй человеческих тел. В отчаянии Риго швырнул свою трубку в снег. И тогда только пашлись слова.

— Да здравствует Франция! — гаркнул он в каком-то счастливом неистовстве.

Песмотря на грохот боя, возглас этот услышали многие. Но лишь те, кто стоял близко, видели, как старый офицер, сраженный пулей в спину, рухнул в сугроб...

Колочая боль в пояснице мучила Кутузова. Уже больше месяца он не садился на лошадь. Но в этот день приказал подвести коня. Это

было вечером, когда пятая битва под Клястиным уже отгремела. Десятки рук помог фельдмаршалу взобраться в седло. И как уже увидели свита, когда Михаила Ларивонича вдруг поднял в карьер свою старую белую длиннохвостую кобылу и, трясясь на ее шероховатой спине, поскакал во весь опор через черный мрак ночи, по отчаянной гололеде прямо к бивакам гвардейского корпуса.

Он остановился посреди бивака — там, и ужинали не ожидавшие его появления войска Гвардия взволновалась. Со всех сторон бежали генералы без шинелей, офицеры без шапок, солдаты без ружей. Через минуту фельдмаршала окружило несметное множество радостно сматревших на него людей. Ни на одной руке у него не было пляпы или кивера. Но голые ноги не чуяли обливавшего их холодного дождя, ноги — грязи, в которой топтались.

— Дети! — проговорил Кутузов.

И мгновенно глубокая тишина опрострадалась на бивак.

— Дети! Знаете ли вы, сколько взято в битве под Красным французских орудий? С двенадцать, дети! Сто двенадцать!

Мимо пронесли отбитые у неприятеля знамена. Тяжелые складки мокрого шелка уныло трепались на высоких древках. Золоченые орлы тускло отсвечивали в темноте. Кутузов подмигнул на орлов и лукаво улыбнулся.

— Выпь, повесели носы... Видать, что весело им, бедным! И холодно, поди, и голодно!..

Как ветер, разнесся по войскам сдержанный, понимающий смех. А Кутузов уже сел на лошадь и усаживался на барабане.

— Чайку бы, дети, — согреться в негодовье след...

Он оглядел толпившихся кругом людей, подумав, снова повернулся к французским знаменам. Старое, мягкое лицо его внезапно прирело выражение сердитой энергии. Он был сиял с головы белую фуражку и махнул в воздухе.

— Ниже их, ниже! Нагибайте! Пусть изгибаются русским молодцам!

Из толпы вырвалось:

— Ура!

Фельдмаршал еще раз махнул фуражкой, встряхивая белоснежной головой, отрывисто произнес:

— Ура доброму русскому солдату!

Эти слова Михайлы Ларивонича потонули в единодушном взрыве оглушительных криков.

— Ура! — неслось отовсюду. — Ура!

— Ура! — повторил Кутузов.

И, надев фуражку, с видимым удовольствием

¹ Это был М. А. Милорадович, командовавший под Красным авангардом русской армии.

и принялся глотать уже поданный горячий чай.

Тепло действовало на Бутузова, как и на многих старых людей, усыпительно. Даже сейчас, когда мокрые дрова только шипели и упрямо не разгорались, он, придвинув кресло к самой печи, вдруг задремал.

Коновницын не сразу заметил это. А прикитив, тихонько сложил бумаги, с осторожностью присел на стул, опустил голову на грудь и... тоже перестал существовать. Прошло около четверти часа. За это время что-то случилось с дровами. Пламя в печке рванулось кверху. И громкий, молодецкий треск наполнил горнищу. Фельдмаршал и дежурный генерал проснулись одновременно и посмотрели друг на друга сперва с изумлением, а потом с улыбкой.

— Фу, господи помилуй, — сказал Михайла Ларивонч, зевая и крестя рот, — устали мы, Пьерушка, заморились в трудах... Особливо ты. Инда глядеть на тебя жаль. Зато, друг мой, сатисфакция велика и счастье беспримерно! Ну, докладывай дальше...

Коновницын развернул бумаги.

— Птак «...гвардейской конной артиллерии капитан Сеславин, — продолжал он читать наградное представление, — за поиск у села Фоминского...»

Бутузов кивнул головой.

— Пометь, Пьерушка: чин... И в командиры Сумского гусарского полка представить... Это — за поиск. А за спасение России в великий тот день десятого октября, без всяких бумажных реляций паших, — признательность отечества, покамест стоит оно! Дальше...

«...Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов — за отличие... Со второго сентября по восемнадцатое октября с партией наездников взял в плен сорок три неприятельских штаб- и обер-офицера, три тысячи пятьсот шестьдесят нижних чинов...»

— Первый партизан наш... Покойный князь Петр Пваныч¹ привел его ко мне незадолго до Бородинской битвы, — главная моя квартира ночью той в жервне Поповке была. Разбудили... И оба вперегонки пользу стали доказывать от партизанства. Но началу опаслив я был очень, но вскоре выразумел — и пустил Давыдова! Славный оказался партизан, и в историю не из тыла ползет, а с фронта врубается... В полковники его! Да Сеславина с Давыдовым ко мне вызови. Хочу расспросить, а потом государю отпишу. Дальше...

«...Перновского пехотного полка капитан Редриков. Рекомендую вашей светлости, как отличного офицера, на отважный подвиг решившегося: курьером от вашей светлости послан и в плен был взят у Боровска в исполнение секретного плана...»

— А-а-а... Тот? Хорош! Четвертого Владимира ему с бантом и, властью мне данной, — к чину. Сверх же сего, Пьерушка, возьми на себя и лестный еще труд, — настрочи главному полковому казначею, чтобы из суммы особой сему офицеру выделял две тысячи рублей ассигнациями. Дальше...

...По повелению вашей светлости ждет милостивого слова вашего крестьянин Герасим Курин...

Бутузов живо повернулся в кресле.

— Где ждет?

— Здесь.

— Сюда!

Фельдмаршал так звонко хлопнул в ладоши, что в горнищу вбежали сразу и альютант, и два ординарца, и слуга, и казак.

— Дружины крестьянской атамана Курина ко мне!

Герасим действительно ждал и явился без промедления. Но, когда он вошел, Бутузов уже не сидел в кресле, а стоял посреди горнищ, протянув вперед обе руки, оживленный и довольный. В правой руке он держал солдатский георгиевский крест.

— Подойди ко мне ближе, сын старого солдатушки моего. Здравствуй! Вижу, на перевязке носишь длап, — чести воинской вернейший знак. Здравствуй же и давай сюда грудь твою. Так!

На кафтане Герасима повис орден. От радостного волнения атаман зарумянился и вспотел. Серые глаза его потемнели. Он отступил на шаг и низко, гораздо ниже, чем в пояс, поклонился Бутузову.

— Не по заслугам награждаешь, ваша светлость, — сказал он, — мужика в кавалеры превратил. Что ж теперь? Нас не будет, а не забудемся. Да не в авантаже дело. Главная причина — Расею в обиду не дали. Отец мой, Пахом Акимыч, тебе послужил; точно знал, кому послужить надо было. Ты — защита земли нашей. Тобой мы все крепки, изпод крыла твоего летаем. Вот и дошло: чаю, вовсе струсли шельма-француз! Мертвыми да мерзлыми хоть тын подпирай. Настал тупик — некуда ему и ступить. Слава тебе вечная, батюшка наш, Михайла Ларивонч, князь!

Бутузов подошел к Герасиму и обнял его. Коновницын, наклонившись над столом, быстро писал что-то на клочке бумаги.

¹ Генерал Багратион.

Весна тысяча восемьсот тринадцатого года была неспокойна. Март напел бурапы. А уж если обходился день без бурана, то с самого утра по снежным вохтинским равнинам бежала поземка, заметая дороги.

По такому-то пути вернулся домой Герасим и привел свою дружину. Война для вохтинских мужиков кончилась. Ни одного француза, кроме пленных, не оставалось больше на русской земле. Армия еще продолжала борьбу с Наполеоном, но уже в Пруссии. Бросив за речкой Березиной своих солдат, генералов, маршалов и королей, император французов давно был в Париже, усиленно набирая новые войска. Он сопротивлялся отчаянно и с поразительным упорством. Вести войну в Европе ему было легче и привычнее, чем в непонятной северной стране.

Встреча Герасима с семьей была самая радостная. Да и как бы могло быть иначе? Фетинья от счастья и плакала, и хохотала, и висела на шее мужа почти без дыхания. Панька с благоговейной гордостью поглядывал на кавалерский крест отца. А рассказы его слушал, развесив уши и раскрыв рот. Доволен был и Нахом. Но старик за время отсутствия сына сильно подорхлел. Лицо его сделалось морщинистым и маленьким. Лежал он на печи неподвижно, как березовый чурбан, и все о чем-то пристально думал. Говорил мало, а если и говорил, то чаще всего грустные вещи:

— Летами-то я не больно стар, а спал больше с лихости за этот год. Уж так за Расею-матушку опасался... Да, Михайла Ларивонч вывез! Пора нам, старячью-калечью, на покой. И сухо дерево от ветра клонится...

Скоро все в избе Герасима и в семье его улеглось и зажило как будто попржему. Фетинья усердно хозяйничала. Все ее домашние хлопоты оборачивались как нельзя лучше. Особым глазом смотрела она вокруг и видела то, чего никто не замечал. Не было на чистом небе мелких звезд, — Фетинья готовилась к бурану. Глядь, часа через три буран впрямь ревел и рвал крышу. Покрылось небо алмазной россыпью звезд — Фетинья посмотрит и скажет:

— В лес завтра за дровами пораньше ехать падоть. А то к вечерням дорога спорится...

Так и получалось.

Был воскресный день. И хоть давно уже стоял апрель, а все еще забирало холодом и вьюжило. Метелица в тот день разыгралась по-зимнему. Снег так и бил в глаза, так и залеплял их мокрыми бляхами. Стулов, воз-

вращаясь от обедни, то и дело останавливался и оборачивался к ветру спишой. Постояв и переведа дух, пускался дальше. Шел он по пустой и широкой павловской улице, и откуда-то издали слышался ему не то стон, не то плач. Только подойдя к куринской избе, догадался он, что это такое: ворота герасимова двора растворились; ветер, играючи, швырял их тяжелые створы, и они оглушительно пищали на петлях. Дядя Демьян вошел в избу и попал на переносках: Нахом только что умер. Начал он умирать вдруг — ни с того, ни с сего. Герасим возился на дворе под павесом — загибал виски у новых саней. Фетинья сучила пряжу. Нахом неожиданно поднял голову и, пронзительно глядя на Фетинью, сказал:

— Знаешь, сношенька, будто к каждой ноге по птине пристало... орлепки! Эх, и пойду ж я теперь легко — без ранца, да зато... самым скорым маршем!

Но тут же голова его унала, и он захрипел. Фетинья подсунула ему под затылок кой-какую одежду и кинулась за мужем. Панька вовсе по-детски, а не по-солдатеки заревел...

Когда вошел Стулов, Нахом уже лежал на столе, только что обмытый, в чистой рубахе и новых портах. Фетинья накрывала его белой холстиной. Герасим, утирая слезы, ставил в головах покойного чашку, полную воды, с укрепленной посередине желтой свечкой. Огонек свечки был бледен, прозрачен и казался при дневном свете ненастоящим. Дядя Демьян перекрестился, сделал земной поклон и проговорил тихо:

— Упокой, господи, души усопших рабов твоих воина Пахома и боярина князя Михайла! Царство небесное, вечный покой!

— Что? — крикнул, не веря себе, Герасим. — Что ты? Что сказал?

Дядя Демьян опустил голову.

— Поп попе народу за обедней объявлял помер Михайла Ларивонч в немецкой земле...

Герасим закрыл лицо руками и застонал так страшно, что стон его разом отозвался во всех углах избы.

Стоило помереть Пахому — и сопли холода с метелями. Солнечное утрово приласкало землю. Вода побежала светлыми ручейками в овраги, с шумом падая вниз по глубоким прошлогодним промоинам. Лед на речке кое-где растаял. И надо было бы в этот погожий денек всем павловским бабам засучить рукава, задрать подола сарафанов и полоскать в ледяной воде рубахи и порты мужей, отчая-

но стуча вальками. Но на речке не виделось ни души. Надо было бы и крестьянам работать: кому на барщине, а кому и в своем дворе, — чинить хомут, павбивать гвозди на борону, ладить сошники или иное что делать, готовясь к ранней пахоте. Но и на дворах было пусто. Все Павлово, Меленки, Новый Двор да и прочие деревни от мала до велика сошлись, чтобы проводить старого солдата Пахома на погост — в его последний марш.

Солнце садилось, слегка золотя половину неба и земли. Другая половина уходила в лиловую полосу горизонта. В этот предвечерний час к помещицкому дому в Павлово подкатила коляска. Рослые лакеи, в зеленых сюртуках из бильярдного сукна, с небритыми подбородками и всклокоченными волосами, выскочили на крыльцо и приняли из коляски под руки барина.

Усадебный дом в Павлово был большой, старинный, построенный еще в прошлом веке на дубовых подклетах, чуть ли не в сажень вышиной. Подклети эти были необыкновенной крепости и заменяли собой каменную кладку фундамента. Кругом дома был просторный двор, обнесенный со всех сторон амбарами, погребами, кухнями и людскими избами. А позади до самой реки спускались правильные аллеи сада.

Барин сбросил с себя дорожный ретингот и оказался в синем фраке с большими металлическими пуговицами, при жабо, с высокой, слегка напудренной прической. Желтое, неприятно одутловатое лицо его было сердито и озабоченно. Он быстро прошел по всем комнатам дома, заглядывая в каждый угол. Потом отправился в кладовые и тщательно пересчитал все бапки с вареньем, сита и лотки со смоквами, мешочки с сушеной малиной, пучки засахаренной рябины, бочонки с солеными грибами. Но порядок и сохранность, которые он обнаружил, несколько его не успокоили. И он закричал:

— Бурмистра ко мне! Старосту!

Когда бурмистр, испуганно теребя бисерный шнурок от серебряных часов — барский подарок, и Стулов вступили в кабинет, барин ударил кулаком по столу.

— Пропади вы все пропадом, пугачи оканьные! Бонапарт нагрянул на Русь-матушку, а вам то и на руку. Разорили вы меня до последнего, сорочку сняли, загрома пустехоньки... Хлеб пожгли... На сев зерна не оставили... Знаю, знаю! Чтобы француз не досталось! А может, и не взял бы француз! Озньм всю истоптали... Войско, вишь, завезли... Истоптали озньм, а кто мне ее вернет?... Соседям — счастье! Воц, Иван Иванович Бах-

теяров... Ставил в ополчение пятьдесят человек, а вернулось всего пятеро. Прочих побито. И в зачет от казны получил сорок пять рекрутских квитанций. Теперь, слышь, продаст их по три тысячи рублей каждая. Не быть бы счастью, да несчастье помогло! А я? У меня пятьсот мужиков ушли воевать, да не в ополчение, а в дружину, по своей охоте. И вернулись, бездельники, почти все целехоньки. Кто мне за них рекрутские квитанции даст? Никто! И за убитых рубля не выцганю! Помяни, господи, царя Соломона и всю мудрость его! А все ваше нерачение, изверность, попустительство, растяпы, остолопы, дураки сиволанье! Запутался я с вами, что мизгирь в тенетах... Эх, горе-горькое!

Барин еще долго кричал, бранился и жаловался на судьбу. А кончил речь свою таким строжайшим приказом:

— С сего дня, никакой ни в чем послабы! Учреждаю я во владениях моих «зрячую» барщину, — в ведро мужикам на меня работать, в непогоду пускай па себя трудятся. Недомки взыскивать без снисхождения. По субботам в конторе сечь недоимщиков нещадно...

Он подумал.

— Да, вот еще... Герасим Курин, во всей справедливости, разорению моему зачинщик и коновод. И дружину он выдумал. Потому с него и порку начать. Выспать ему огненных, чтобы враз на прежнее свое место сошел.

Но тут Стулов выступил вперед и поклянулся. Лицо его было бледно, а крепкие смазные сапоги с какой-то подозрительной твердостью громко стучали о паркет.

— А того сделать не можно, — сказал он глухо, но решительно.

— И-и-почему?

— Как Герасим Курин — военный кавалер святого Георгия и возложен на него крест своеручно светлейшим князем Кутузовым.

Барин вскочил и хотел было ухватить старосту за его пушистую бороду, но сдержал себя и пробормотал только:

— ...царя Давида и всю кротость его! А из вас, сквозняков, кавалерство ваше я повишину!

Через день, на утреннем докладе, барин спросил бурмистра:

— Нет ли на селе у нас подростка грамотного? Чтобы по малолетству в тягло не ходил еще, а чтец да писец был бы порядочный?

Бурмистр, искренне желавший примирить барина с Герасимом, робко ответил:

— У Куринных — мальчонка Палька... Са-

мый по грамоте вострый плут, от деда выучился...

— У-гу! Так пришли же мне его в кабинет для письменной послуги.

С самого появления своего в усадьбе барин повел странный образ жизни. Просыпался с петухами и до обеда не показывал носа из кабинета. Комнатные люди удивлялись: никогда раньше не случалось им видеть своего господина с пером в руке; а теперь он только тем и занимался, что переписывал целые вороха бумаги. Адресовал он свои послания чаще всего в Петербург, в управление генерал-провиантмейстера. По ни одной бумаги так и не отправил. Что за причина?

С павловским барином приключилось большое несчастье. Только не то, о котором он говорил своим управителям, а совсем другое. И виноваты в нем были не его крестьяне, а он сам. Живя в саратовской деревне, он некоторое время прислушивался да приглядывался к тому, как старался тамошние дворяне извлечь из военных обстоятельств для себя выгоду. А потом обуял и его бесовский дух предприимчивости. Он продал своих саратовских крестьян, а павловских заложил в казну. На вырученные таким способом деньги купил в Астраханской губернии множество гуртов рогатого скота. Перебил его. Из говядины сварил бульон, которым предполагалось довольствовать армию. Запродал этот бульон военно-провиантскому ведомству. И, казалось, все было отлично. Но вышло так, что часть бульона испортилась по дороге в Калугу, а другую часть отбили и съели французы. И теперь провиантское ведомство взыскивало с него тройную стоимость поставленного продовольствия. Павловский барин действительно был разорен. С утра и до обеда писал он оправдательные письма в Петербург. За обедом без всякого аппетита кушал последние остатки погубившего его бульона да грустно жаловался изредка наезжавшим соседям на трудность управления именьями. После обеда снова запирался в кабинете. Перечитывал написанное утром и с ужасом видел, что по привычке к письму накатал такое, в чем и сам разобраться не в силах. Даже почерк свой он не всегда мог разобрать. И рвал готовые бумаги, и снова сочинял их. Тут-то и подвернулся ему Панька.

Мальчик явился к барину на экзамен, зажав подмышкой единственную книгу, которая водилась в доме Курных. Называлась она так: «Краткая история о славных мужах, или анекдоты российские». Барин внимательно

поглядел на Паньку. Серьезное лицо и смежные глаза подростка внушали доверие. Черк его, четкий, крупный, ровный, был красив. Читал он бойко и без затруднений.

— А ты, душенька, любишь ли читать? спросил его барин. — Любишь? У-гу! Это и вольно мило! Но тебе надобно в твои годы, душенька, такие книжки читать, от коих у твоей в развитии приходил бы. Или, может быть, скучны они тебе?

— Не знаю-с, — отвечал Панька басом, опустив глаза.

Барин поглазил его по маслепой, тепло расчесанной материнским гребнем голове.

— Читай, читай... Я буду тебе книжки давать — о домоводстве, о садовом искусстве. Это в крепостном твоём состоянии весьма пригодиться может, душенька...

Так и превратился Панька в барского секретаря. Он живо научился разбирать почерк барина и с утра до вечера утопал в записках и хвостиках, из которых под детской рукой его возникали на огромных листах гербовой бумаги гладкие, красивые строки. Барин был доволен панькиной работой, но своя собственная попрежнему ему не нравилась. И он все рвал да рвал уже готовые к отправке в Петербург прошения и без конца считал их сызлова. Как ни был несведущ во всех этих делах Панька, однако, он быстро смекнул и уразумел главное: Павлову предстоял переход в казну, а павловским мужикам — превращение из крепостных в государственные. Сделав такое важное открытие Панька примчался домой и тайнственно зашептал отцу и матери:

— Барин... саратовских пятьсот душ наших столько же...

И он прыснул, не сдержав хохота, которым давился уже с утра.

— Ну?

— Тысячу душ в супе сварил!..

Прошел год. И опять наступила весна, и на этот раз такая дружная, пышная и цветастая, что старики подобной и вспомнить не могли. Только что спали воды разлива, на из влажной земли, пригретой солнышком, вылезли зеленые иголки гусятника, и крошечные бледножелтые цветы его разбегались по всюду. Почки на кустах и деревьях разбухли и развернулись. А там уж засверкала и свежая зелень. В воздухе запахло молодой листвою. Правда, в лесу еще не исчезли кое-где бугры бурого снега, но и возле них уже не стрели глазки медунки и выбивался из зеленых кудрявыми головками змеевик-папоротник

Звон разлился над лугами,— такое множество налетело птиц. На солнечных восходах к пению жаворочков пристали соловьиные трели и меланхолический голоз кукушки. Сад при павловской усадьбе сделался бело-розовым. Грачи покрывали гнездами суховатые вершины дубов. Громкие крики их далеко разносились кругом. Накопец, зацвели фиалки, и печный запах их наполнил комнаты дома.

Барина с осени не было в Павлове. Село тогда же перешло в казну. И Стулов с пертерпенем ожидал приезда нового управляющего из Петербурга. Фамилия этого управляющего давно уже была известна старосте, а от него и Герасиму. Однако оба они почему-то никак не думали в один прекрасный весенний день увидеть в Павлове отставного полковника Редрикова, такого же решительного и твердого, как и раньше, но только уже не о двух, а об одной ноге.

Новый управляющий поселился в барском доме, где занял своей особой всего лишь одну комнату, называвшуюся прежде боскетной. Здесь, среди старинной полинявшей мебели, бронзовых часов с мраморными колошниками и потрескавшихся темных картин, он спал после обеда и по почам. Дни проводил главным образом в поле, на работах, а отдыхал на балконе, выходящем в сад.

Внизу между липами поблескивал пруд. Цветники перед балконом дышали ароматами резеды, вербены и левкоев. По дороге поднимались облака пыли, звонко щелкал длинный кнут пастуха, мычали коровы, и, захлебываясь, ревели быки,— стадо возвращалось с пастбы. Бледное, безоблачное небо окрашивалось на западе, на горизонте, в пунцовый цвет, выше — в золотисто-красный, а совсем наверху — в розоватый. Темнело. В воздухе гянуло свестью. На пруду натривались лягушки. Со стороны лугов доносилось деганье перепела. Кричал коростель. Посвистывали кулики. И уже совсем где-то далеко мрачно гуледа выпь. Выходил почной сторож и бил колотушкой в чугунную доску. Яркие звезды начинали насмешливо моргать с темного неба. А Редриков, отвязав и поставив возле себя в угол деревянную ногу, все еще сидел на балконе и думал. О чем? Он не рассказывал об этом.

По старой военной привычке, он не любил долго спать. И на рассвете уже покидал усадьбу, отправляясь на широкой линейке в объезд полей.

Трудно сказать, как это сделалось. Редриков никому не грозил, никого не бранил, мечлами не интересовался. Если показывал —

всегда за дело и всегда жестоко. Но зато редко. Добросовестные работники любили его; недобросовестные хоть и боялись его, а похваливали. Дела же у него шли превосходно. Павлово очень быстро приняло довольный и сытый вид. Просторные задворки и гумна крестьянских дворов покрылись клалупками хлеба. Крестьянские огороды и конопляники зеленели и цвели. Казенные амбары не вмещали запасов зерна. Одно только не далось Редрикову: хорошие отношения с соседями-помещиками. Впрочем, он и не искал их. На именинном обеде у какого-то соседа случилось ему сесть за стол в ту самую минуту, как помещик, рассердившись на лакея, дал ему плюху. Редриков немедленно встал и уехал к себе. В другой раз, за ужином, дамы просили его сказать тост. Он поднял бокал и начал:

— Раз думал я...

Потом оглядел общество своими быстрыми злыми глазами и, махнув рукой, сел.

— Раздумал я, господа.

Такие выходы к нему не прощались. На сору с ним никто отважиться не смел, но за спиной, шопотком, соседние дворяне единогласно именовали его бранной кличкой «либералиста».

Когда у Герасима родилась дочь, он, старому знакомству, пришел к Редрикову — звать в крестные отцы. Полковник с удовольствием согласился.

— Благодарствуй, Герасим Пахомыч,— сказал он,— а покамест садись со мной чай пить.

И отвязал ногу, прислонив ее к креслу. На балкон принесли самовар. Солнце уже село, и заря начинала потухать. Возникло то особое вечернее освещение, когда не знаешь, очень ли еще светло, или уже темнеет, когда отдельные предметы еще ясно очерчиваются в воздухе и даже словно испускают из себя лучи, а между тем, на все ложится серая тень. С лугов тучей поднялся рой скворцов и, задав круг, улетел куда-то на почлег.

Редриков долго следил за быстрым полетом птиц. Угрюмое лицо его постепенно яснело.

— Ты вызволил меня из плена,— проговорил он,— от смерти верной спас. Я это помню, и ты, Герасим Пахомыч, тоже не забыл. По неведому тебе до сей поры, что, к жизни возвратясь, стал я новым человеком. Случилось это со мной во Франции. Граната оторвала у меня в бою под Парижем ногу. И совсем пришибла бы... Да заслонил меня тогда собой унтер-офицер, Козарка... Рябой

был... И смелости необычайной... Да... Два месяца пролежал я затем в домике у старушки одной... Улица Сент-Андре дез-Ар № 13... Потому я к ней попал, что от сына ее, в России убитого, должен был матери передать кое-что. Два месяца... Другие люди, мир другой... Широкий, свободный... А до того чем я был? Выходил на поединки, стрелял в людей ни за что, ни про что... Буралеся так, думал всех удивить. А тут глаза открылись... Понимаешь?

— Очень понимаю,— тихо сказал Герасим,— как из темноты на свет выйдешь, он всегда ярче кажется...

— Да! И вернулся я теперь домой новым человеком.

Поперечная жила на лбу у Редрикова запружилась. Лицо его приняло выражение мрачной гордости.

— Цель теперь есть в моей жизни... Огромная! Светлая!

Он помолчал.

— Герасим Пахомыч! В городе нас открывает пансион,— ну, школу, что ежели проще сказать,— француз один умный, де Гранжье. Был он у Наполеона в ковчиге — умный, просвещенный, учен даже человек... И рабство ненавидит горько как и я ненавижу его... Решил он остаться в России до конца дней своих, чтобы с рабством бороться. Открывает школу... Думаю надо твоего Паньку в учение к нему отпустить и платить буду. Что ж? Ты — государственный крестьянин, кавалер. Со временем в университет попадет Панька. А? Будет человек не нам с тобой чета.

Герасим давно уже держал руку Редри в обеих своих. На глазах его дрожали слезы. Он хотел благодарить. В сердце его встали какие-то особенные, горячие слова благодарности, но язык не мог совладать с этими словами. И выговорил совсем другие:

— Жизнь-то... Что сотворяет! Сколь веку ни вить, а концу быть!.. И где для одних конец — для других начало...

Крестьянин Ягафар

Очерк

Он был самым старым человеком в районе, а может, и во всей Башкирии, и его звали всего чаще не по имени, Ягафар, а по старости — Бабаем, что означает по-башкирски дедушка — старик.

От старости лет с Бабая сошли все волосы — и с головы, и с лица, и он стал голым, мягким и пещным на вид, как младенец.

— Волосы ушли с меня, — говорил Бабай. — Им надоело жить на мне: я ведь давно родился. Пусть ушли, я по ним не скажу, пустое лицо мне легче носить.

И Бабай смеялся пустым, жалким, но веселым лицом, из которого светились свежие, думающие, впечатлительные глаза, все еще не уставшие смотреть на свет и искать своего счастья в нем.

Он столько пережил за долгий век, и худого, и доброго, что худого давно перестал бояться, а доброму сразу не верил.

Всемирной войны Бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю — все, что будет вскоре удалено от них и страдать отдельно в бедствии. Бабай чувствовал это по людям, подобно тому, как можно угадать перемену погоды по ветру.

После наступления войны Бабай даже обрадовался, потому что до войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томилась больше в разлуке с родными, не

горевали от разорения своих дворов, не мучились голодом и увечьем, — чтоб отошла от них тоска, которая непосильна для человеческого сердца. Теперь настало это время, и Бабай обрел надежду, что эта пора минет и тогда будет счастье.

Он пошел в гости по дворам, желая быть вместе с народом в такое время; дома у него была одна жена-старуха, все мысли и слова которой он знал вперед на будущее до самого конца ее жизни, и поэтому ему пужны были другие люди.

В гостях Бабай пил кипяток с молоком — десять чашек в одной избе, восемь в другой, беседовал и согревался. Ямаул — большое село, там есть, где побывать на людях, посмотреть на их жизнь и на время, для отдыха, забыть о своих заботах.

Крестьяне, которые были помоложе Бабая, собирались на войну и постепенно уходили из села, — кто навеки, а кто на время, до возвращения после победы. Бабай провожал их, прощался с ними, горевал им во след вместе с их родными, и совесть мучила его сердце.

— А я-то что ж! — шептал он себе. — Я, значит, бабай — в колхозе кур остался щупать. Или, и вправду, жизнь моя прошла?

Опечаленный, он спросил у своей жены: — Старуха, осталась во мне сила еще или нет ничего?

Жена жила с ним вместе полвека, пятьдесят второй год, и она должна знать, что осталось в ее старике, а что унесла из него жизнь.

— Сам живешь, сам мучаешься, значит, силу свою чувствуешь, — сказала Бабаю жена. — без силы человек не живет. А ты еще серчаешь на зло, а кто серчает на него, у того сердце твердое, хорошее, тот, зная, не скоро помрет.

Бабай послушал жену и подумал, что она говорит ему правду. В гостях же ему говорили, что его жизнь теперь в том, чтобы собраться на тот свет, поближе к Магомету. А жена, с которой ему скучно было разговаривать, сказала ему то, чего другие люди не умели сказать, потому что они ее не знали и не любили его так, как зпала его старая жена.

— А на войну я гожусь? — спросил у жены Бабай. — Пойду, убью одного врага и потом доволен буду.

Старуха поглядела на своего старика, как на мало знакомого человека.

— На войну ты не годишься, — сказала жена. — У тебя кость от старости жесткая, ты сразу, как побежишь на врага твоего, споткнешься и сломаешься. На войну нужны люди хрящеватые — чтоб его тронули, поувечили, а он опять сросся и опять живой. А ты теперь ломкий.

Тут Бабай подумал о себе, ломкий он или нет, а жена ему сказала еще:

— Куда тебе ходить, живи со мной на деревне. Чего тебе война: на войне сила тратится, а в деревне она рождается. Тут тоже забота будет, даром не проживешь.

Старый Бабай опомнился и понял, что жена ему опять правду сказала — народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретою солнцем и орошенною дождем.

Чтобы послушать о войне слова дальних людей и папиться чаю в буфете, Бабай отправился на железнодорожную станцию. Там ехали в вагонах войска, отправляясь против неприятеля на войну, а со стороны войны ехали разные люди, чтобы работать и жить в покойных местах, где нет стрельбы и опасности умереть.

Бабай разговорился с одним пожилым человеком, ехавшим со стороны войны. Человек этот оказался Петром Федоровичем Беспаловым; он был слесарем-электромехаником, по машины его завода увезли куда-то за Урал, а помещение завода сожгли немцы, и теперь Беспалов не знал, куда ему надо ехать и где остановиться.

— Да я не горюю, — сказал Беспалов старому башкирцу. — Работы везде много, а родина у нас везде наша.

— Правду говоришь, — сказал Беспалову Бабай.

— Продай табаку, — попросил Беспалов. — Есть у тебя?

Бабай достал кисет из тонкой выделанной овечьей кожи.

— Есть немного, маленько.

— Сколько тебе платить? — спросил Беспалов.

Бабай подумал: война еще долго будет, табаку мало останется и штаны постарелих чинить придется.

— Давай рубль денег и ниток катушку, — сказал Бабай.

— Ты что нервный такой? — спросил него Беспалов.

— Это не я, — сказал Бабай. — Это в Уфе нервные: когда еще война в Абиссинии была! в Уфе лук подорожал. Вот там нервные!..

Беспалов поглядел на старика глазами, которые сразу стали у него и сердитыми, и печальными.

— Хватит тебе одного рубля, — сказал тихо и подал Бабаю деньги, больше не желая говорить и торговаться и считая расчет окончательным.

Бабай увидел деньги, одну бумажку, и сначала захохотал, что этот человек не понимает, что сейчас война и что потом будет — какая цена, ничего неизвестно, а затем умолк потому что Беспалов не улыбался и глядел на него чуждо и равнодушно, как на плохой человек. И старику понравился Беспалов потому что старик Бабай понял, что он сейчас был плохим человеком: он давно жил не боялся думать о себе плохо, когда был плохим.

Бабай отдал табак Беспалову вместе с мешком.

— Беря, — сказал он. — Я люблю, кто меня смешит. Ты меня рассмешил, теперь табак твой. Я старый Ягафар, я понимаю человека. Пойдем ко мне в гости в колхоз! Та у нас дело — забота есть.

Теперь Беспалов глядел на Бабая простыми, счастливыми глазами. Он не взял табаку у старика; он сказал, что они вместе его будут курить.

— Какая у вас там забота? — спросил Беспалов.

— Война пошла, хороший, умелый человек на войну поехал, — ответил старик, — а в деревне кто останется? Чего войско людей кушать будут?.. Я живу, а сам думаю все думаю! Я, что ль, буду в колхозе перерабатывать? — засмеялся Бабай.

— Придется, и ты генералом будешь, — сказал Беспалов. — У вас там пища как-нибудь зимой-то все же таки производится? — спросил Беспалов.

Бабай замер от удивления, что такой простой человек, как Беспалов, есть на свете, целым живет. Он же читал и верил, что в колхозный класс — это умные люди. Но Бабай

таки опять позвал Беспалова к себе в гости: пусть в деревне и дурак живет, чтоб не скучно было жить другим.

Беспалов подумал немного и пошел в гости к Бабаю. Он взял только из вагона свой сундучок, окованный железом, и они пошли в колхоз.

В колхозе Бабай повел Беспалова на молочную ферму. Там был сарай, устроенный из плетней, обмазанных глиной, и покрытый обветшалой соломенной кровлей. В том сарае всю осень, зиму и весну жили коровы; они и теперь там находились, потому что время года шло в глубокую осень и поля более не рожали травы.

От плетневых стен фермы отвалилась глина, и ветер сквозь щели дул снаружи в худые кости коров и остужал их теплые, добрые тела. Беспалов потрогал коров своей большой рукой, погладил их и отошел. По спине одной коровы он вновь остановился и долго глядел на животное, и корова в ответ смотрела на него грустно и осмысленно. Коровы эта стояла поперек своего места, прислонившись боком к плетневой стене, загородив от стужи другую корову, послабее и помоложе на вид, которая стояла тут же, уткнувшись мордой в теплое вымя старой коровы.

— Мать с дочкой, — сказал Бабай. — Дочка выросла, а дурная: от матери не отвыкла.

— Зачем ей отвыкать, — сказал Беспалов, — у ней мать хорошая, она дитя свое от ветра бережет.

— Правда твоя, — согласился Бабай.

— А вы молоко свое не бережете, — сказал еще Беспалов, — его холод из коров выдувает...

— Правда твоя, — понял Бабай. — У нас догадка в голове не держится: поработал мало-мало по закону и в гости пора — кипятка пить.

Потом Бабай показал Беспалову колхозную мельницу и электрическую станцию. Мельница нынче стояла — с нефтяного склада не привезли топлива для двигателя, который вертел мельничный жернов.

— Война пошла, — сказал Бабай, — нефти мало дают, на нефти летать пужло.

— Зачем вам нефть? — указал в ответ Беспалов. — Раньше-то была у вас ветряная мельница?

— Как же, была, — охотно сообщил старик. — Она и теперь стоит на том краю деревни, пауки там в помещении живут. Чего делать на ней: дай сюда нефти, тут работают хорошо, скоро, и свет в колхозе горит. А там и жернова давно нету...

— Ты старый человек, а глупарь! — сердито и неохотно сказал Беспалов.

— Глупарь! — воскликнул Бабай и засмеялся: он еще не слышал такого слова, а он любил слышать неслышанное и видеть невиданное.

Мимо колхозного птичника старик прошел молча; Беспалов увидел только, как стояли на птичьем дворе нахохлившиеся, озябшие куры и спал, зажмурив глаз, молчаливый петух.

— Несутся куры у вас? — спросил Беспалов.

— На дворе прохладно стало, куриная пора прошла, — ответил Бабай. — Нет, теперь мало будет яиц.

— Ишь ты! — удивился Беспалов. — Все у вас на-нет идет.

— На-нет идет! — согласился Бабай.

Они вышли снова на околицу, потому что так ближе было идти в избу к Бабаю, и увидели небольшое поле с несжатым хлебом. Ветелки ранее густого проса теперь опустели, отошали и пыле легко и бесшумно шевелились на ветру, а зерно их обратно пало в землю, и там оно бесплодно сопреет или остынет насмерть, напрасно родившись на свет. Беспалов остановился у этого умершего хлеба, осторожно потрогал один пустой стебель, склонился к нему и прошептал ему что-то, словно тот был маленький человек или товарищ.

— Люди-то у вас где же были? — спросил Беспалов у Бабая, не обернувшись к нему.

— Люди тут были, товарищ, — тихо ответил старик, оробев вдруг и застыдившись.

— Это ты виноват, — произнес Беспалов. — Ты — старик, ты знаешь порядок, — чего глядел?

— Правда твоя, — сказал Бабай, — я старик, я виноват: чего глядел. Людей люблю, в гости ходил, — я виноват.

И Бабай зажмурился от крестьянского стыда, чтобы не видеть перед собой мертвый хлеб, павший в холодную землю.

В избе своей Бабай накормил гостя мясными щами и кашей и напоил его чаем с молоком; но гость ел мало, точно он жалел тратить на себя сытное добро, а себя не жалел. Старая жена Бабая с уважением смотрела на гостя, как на желанного человека; ей по душе была его бережливость в еде, потому что этим гость жалел их крестьянский труд, но в то же время ей не нравилось, что гость мало ест, и она упрямывала его есть много и обижалась, что он не хочет.

Беспалов переночевал у Бабая, а наутро чисто прибрал за собой постель, вытер сы-

рость на полу от башмаков и ушел неслышно, ничего не оставив после себя — ни следа, ни соринки, будто его никогда не было в этой избе.

Бабай, как проснулся, так сразу же заскучал по своему минувшему гостю. Он вышел на крыльцо, чтобы поглядеть, не тут ли Беспалов где-либо во дворе; потом обошел деревню и вышел за околицу на дорогу к станции, но нигде не видно было Беспалова. И старик почувствовал грусть об ушедшем госте, словно его веселое сердце стало вдруг пустым.

«Ничего, он в другом месте сейчас живет: он цел все-таки, пусть живым будет», — подумал Бабай и опять повеселел.

Старик отправился на молочную ферму, там был он вчера с Беспаловым. Знакомые добрые коровы попрежнему находились там и зябли от осеннего ветра, дувшего с обмерших от холода полей.

«Правду сказал Беспалов, — увидел Бабай, — скотину теперь холодный ветер доит, а доярки остатки берут. Хорошему человеку от ветра тоже обедать два раза нужно: он остужается...»

В память друга и для пользы хозяйству Бабай пошел в овраг, нырнул там глины в пещере, а потом размешал ее в кадке и подбавил туда немного павоза, чтоб получилось вязжущее тесто. Затем старый Ягафар до самого вечера замазывал наглухо щели в прорехи в плетневой огороже коровника, а после работы он постоял еще среди коров; теперь в помещении стало тихо, ветер не входил туда и не выдувал из коров тепло их жизни. Коровы молча смотрели на Бабая. Старый человек погладил ближнюю матку, ту самую, которую гладил и Беспалов.

— Мою работу молоком отдашь, — сказал ей Бабай, — пускай его красноармейцы с кашей едят.

На второй день Ягафар наточил косу и скопил вручную несжатую полосу погибшего проса. Он решил, что раз хлеб умер, надо хоть половину от него взять: сейчас идет война, зима долгая будет, годится и половина — хоть на крышу для тепла годится.

Старая жена Ягафара радовалась на своего старика.

— Ты добрый стал, — говорила она, — у тебя к нужде и пароду сердце теперь прилегло. Ты опомнился теперь. А то вы все па солнце, па дождь да на бабу надеялись. Солнце погрет, дождь помочит; земля родит, а баба хлеб испечет, а вам останется в гости ходить да разговор балакать...

— Баба немного правду говорит, — рассудил Бабай. — Лучше падо было жить, да я не успел жить хорошо — стариком стал... Айда, успею еще, пока не помер!

Он вышел поутру на улицу и увидел председателя колхоза, который шел куда-то, похудевший от заботы.

— Чего скучаешь? — спросил его Бабай. — Жизнь плохая стала?

— Жизнь ничего, — сказал председатель. — Хлеб остался у молотилки, а домолотить его нечем. Машинной пельзя — нефти нет, лошади трудно — лошади лес возят на постройку завода, там для войны скоро нужно...

Председатель стоял и думал, и Бабай тоже думал, давая волю своей мысли — пусть она сама вспомнит и скажет ему, как тут нужно быть.

Старая ветряная мельница скрипнула от ветра. Бабай поглядел туда; крылья ветряка покачивались, в них была сила, но вертеться они не могли, потому что одно крыло было привязано цепью за кол, вбитый в землю. Та мельница уже давно стояла холостая, она только ветшала от времени и погоды, была приютом для птиц.

— Пускай нам ветер хлеб молотит, — сказал Бабай председателю. — Ты собери народ, мы молотилку туда своей силой перевезем. Я тебе с плотником привод налажу от мельничного вала на молотильную машину, а снопы со старого тока пускай хоть вол да две коровы подвезут, там их не большая гора, маленькая...

Председатель записал себе в книжку это мероприятие и согласился. Но пока Бабай с плотником ладил привод, пока возил хлеб к машине, ветер обратился в тишину. Однако на другой день ветер поднялся на Уральских горах и подул в Ямауле, и за четыре дня без малого весь хлеб был обмолочен. Хоть старый ветряк молотил много тише, чем нефтяной двигатель или трактор, все же вышло скоро, и ветер ничего не потребовал за работу, — только Ягафар смазал дегтем цевки в деревянных мельничных шестернях.

После работы народ ушел по избам, а Бабай остался. На вымолоченные, порушенные колосья пшеницы исподволь, — по одному, по два, по четыре, — без суеты, но с разумной скоростью налетели воробьи и большим народом пасели уже опустошенный хлеб, чтобы найти в нем свое пропитание. Тут были и свои постоянные воробьи внутриколхозного жительства, которых Бабай уже признал, и посторонние, из удаленных мест, а затем прибили певчие птицы — щеглы и синицы.

«Разве они все глупые? — подумал Ягафар. — Если бы они были глупые, они бы не пропитались».

Он пошел по колосьям среди хлопочущих, клюющих птиц, причем один воробей, как посыпалось Бабаю, злобно пробормотал что-то на человека за помеху, но Бабай отогнал прочь сердитого воробья и поднял колос. В этом колосе Ягафар сосчитал два остаточных, невымолоченных зерна. Тогда он взял еще колосьев, и в каждом нашел немного хлеба — в одном одно зерно, в другом четыре, и только изредка ничего не было.

Бабай поглядел на небо; шли поздние сумерки, но небо очищалось ветром от дневных облаков, а ночью землю должен осветить месяц. Птицы, однако, не боялись близкой ночи и яростно кормились.

«У коров учился, теперь у воробьев буду учиться. — сообразил старый Ягафар. — У всех надо!.. У себя только забыл учиться — у своего сердца забыл, но я помню — оно у меня помаленьку болит: это чтоб я не забыл, как надо жить, а как не надо...» Он надел приводной ремень на шкив молотилки, и машина пошла в ход от ветра. Бабай взял грабли и подгрел хлеб к подаче на барабан. Хоть одному было трудиться неподручно и неспорно, но Ягафар решил все равно работать, потому что так легче было для его сердца чувствовать себя. По старости лет он не мог вручную и единолично воззить штык в живое туловище врага, но он желал, чтобы тот красноармеец, которому поручен этот штык, постоянно имел полный живот хлеба и каши и чтобы этот крестьянский хлеб превращался в красноармейскую силу и в смерть мучителя-врага.

Бабай молотил пшеницу в сумерках, а потом и при луне, до самой полночи, пока не утих ветер и не ослабел ход машины; тогда Ягафар сосчитал памолоченное зерно па-глаз и увидел, что он наработал второй молотью уже однажды смолотого хлеба пудов десять. Это было немного, но все же достаточно и полезно. Упратив хлеб в мешки от хищных воробьев, старик пошел на ночлег.

В избе своей Бабай застал председателя колхоза; жена Ягафара угощала его чаем с блинами и загода уже тосковала по нем, как по сыну: председатель уходил на войну; он был еще молодой человек, и ему настала пора идти воевать.

— Плохо нам без тебя будет, — сказала жена Бабая председателю. — Ты у нас один печник был на всю деревню, а теперь будет дело зимнее — кто без тебя печи направит? Сколько соломы зря пожжем!

— Я без него справлюсь, — сказал Ягафар. — Война сейчас тоже нужна, пусть он туда идет... Мы тут и без печей не окочеем, а от врагов к нам смерть идет...

— Пшь ты, умный, — ответила жена, — а я глупая! Не мне с тобой печь нужна, а в курятник, на птицеферму эту. Стало б там тепло, так куры и в зиму бы пелись, — и не я бы с тобой ячичи кушала, а ему же на войну их послали бы!

Тут Ягафар осерчал и крикнул на жену. Он и сам знал, что в колхозном курятнике нужно печь сложить, у него у самого уже была про то догадка, только он не успел сказать свою мысль.

— Пшь ты, паука какая: печки, — рассердился Бабай. — Я готовую погляжу да по готовой и новую сделаю.

Но председатель остерег Ягафара.

— Печки, Ягафар, дело великое! — сказал он. — У нас зима долгая, как без печки жить! Ты сделай печь такую, чтоб воз соломы сожжешь — и прохладно будет, а умелый человек сложит тебе свою систему — и от спона жарко!..

Ягафар одумался: может, это и правда.

— Давай завтра в курятнике печи класть, — порешил он. — Пускай куры и зимой в тепле несутся: теперь харчей на войну много надо... Вилать, нам лета одного мало, зимой тоже нужно пищу делать.

И Бабай вспомнил здесь Беспалова. Тот тоже думал, что зимой можно рожать пропитание, вдобавок к летнему хлебу, а Бабай посчитал его тогда глупым дураком.

Утром Ягафар и председатель начали класть печь в колхозном курятнике, а к ночи сложили ее и оставили на сушку.

Председатель, а вскоре за ним и другие сильные крестьяне — все ушли на войну, и Бабай стал в колхозе председателем. Бабай хоть и ко всему привык за долгую жизнь, однако любил почетные, высшие звания и теперь молча утешался тем, что он председатель. Он полагал, что по военному времени это звание равнялось генералу, который командует всей рожаящей силой земли, кормящей армию и согревающей ее.

По зимнему времени Бабай решил сажать и растить овощ в теплице. Теплица в колхозе была большая, световые рамы были исправные, только тепла там нехватало. Ягафар рассудил, что жечь солому в теплице — это убыточно, а дров заготовить — лошадей и людей много надо.

«А чем-нибудь можно топить! — задумался старик. — Что-нибудь есть на свете. из

чего тепло можно занять, только один я не знаю: голова моя бедна!»

Он оглядел небо и землю, но там теперь повсюду дул холодный, нелюдимый ветер ранней зимы. Если б откуда-нибудь тепло можно было даром добыть, тогда бы и зимой в колхозе ручьем и потоком рожалось молоко, а куры клали яйца, и тучный овощ произрастал в согретой почве. Один хлеб лишь расти зимой не будет, но и хлеб можно родить — не от земли, так от скуности: пусть ни одно зерно не склюет птица, не поест мышь, не тропет порча и не растопит, не просыплет мимо рта труженник-едок, а лодырь совсем не будет жевать. И тогда старый хлеб даст новый урожай.

Воротившись в избу, почевать, Бабай спросил у жены:

— Как быть, старуха?.. Мы б и зимой дали с нашего колхоза хлебную поставку, — не хлебом, так молоком, яйцом и овощью, да боюсь тепла не достанет...

— А ты подумай, ты опомнись, ты сердцем расположись, — сказала жена, — может, и узнаешь, как тебе быть.

— Сам от себя я ничего не узнаю, у меня голова мала, — загоревал Ягафар. — А в деревне спросить не у кого: я тут самый умный остался!.. Хоть бы человек явился к нам: пусть гость, пусть разбойник, я бы спросил у него...

Сказав это, Бабай вздохнул и лег спать. Но среди ночи он проснулся, потому что жена отворила дверь неизвестному гостю. Засветив свет, Ягафар увидел, что это пришел Беспалов.

— Здравствуй, генерал Бабай! — произнес гость.

Ягафар поднялся навстречу хорошему человеку.

— Здравствуй, товарищ Беспалов... Пиди к нам в деревню скорей, пожалуйста! Садись сюда, нам думать с тобой надо... Как там война идет — долго еще будет или мало-мало и — конец?

— Война до последнего хлеба будет, Бабай, — ответил Беспалов; он поставил свой сундук возле двери и сел на пол, чтобы переобуть ноги.

— До последнего хлеба! — в размышлении сказал Ягафар. — А у нас не будет последнего хлеба, у нас всегда запас в остатке будет...

— Тогда мы победим, — сказал Беспалов. — Надо, чтобы пока старый хлеб в запасе еще лежит, а уж новый ему на подмогу рос...

— Надо, надо, — согласился Ягафар. — Нам все надо, и нам все мало будет, это правда

твоя... Нам теперь надо, тогда мы зимой в колхозе будем овощ растить, курица яйца будет нести, корова молока много даст...

— Это все тоже хлеб, — сказал Беспалов.

— Тоже хлеб, — рассудил Бабай. — Лодыря и жулику хлеба не давать — нам тоже будет урожай...

Старуха Бабая развела огонь на печной запетке и поставила воду в горшке.

Ягафар оделся, чтобы приветливо встретить гостя, накормить его и напоить кипятком.

Но Беспалов отказался от угощения.

— Некогда, — сказал он, — день и ночь идет война, день и ночь надо работать. Пойдем со мной, Бабай!

Беспалов взял свой сундучок и пошел наружу, и Ягафар отправился вслед за ним.

Они прибыли на колхозную электрическую станцию. Там Ягафар зажег фонарь «летучую мышь», а Беспалов достал инструмент из своего сундучка и начал раскреплять динамо-машину от фундамента...

На рассвете Беспалов и Ягафар погрузили машину в сани и своей силой отвезли груз на старую ветряную мельницу.

На ветряной мельнице Беспалов остался работать один, а Ягафару он велел идти заниматься по колхозному хозяйству.

Сначала Беспалов установил на старых брусках динамо-машину и налазил привод на нее от вала ветряка. Потом он пошел на бывшую электрическую станцию, чтобы сплести оттуда провода и устроить передачу тока от ветряной мельницы в общую сельскую сеть. До вечера трудился Беспалов, а на другой день с утра он собрал по колхозу триста двадцать электрических ламп и пригоровил их, чтобы они работали теперь для обогрева. Для этого Беспалов установил их рядами в деревянных ящиках, а в каждом ящике он устроил отверстия для входа холодного и выхода теплого воздуха. Два ящика, по шестьдесят ламп в одном ящике, Беспалов поместил в коровнике, а еще сто ламп он заключил в два других ящика и поместил их в курятнике; последние же сто ламп он установил на одной доске в теплице, не покрыв их ящиком, потому что свет паравне с теплом не вреден для овощей.

Ягафар был доволен, но сам Беспалов чувствовал сомнение — хватит ли ветра, ветер хотя и часто дует в Ямауле, однако не вечно. Беспалов боялся, что будет много тихих морозных дней.

Тогда Ягафар вспомнил свою жизнь и по году за полвека и сказал Беспалову:

— Тихого мороза не будет. Мало будет. У нас ветры и бураны всю жизнь дуют, мы тут посреди земли живем: ветрам кругом проторно. А тихо будет — мы печи затопим.

Беспалов ушел пускать в ход ветряк и электрическую машину, а Ягафар сел в коровнике возле ящика, в котором были лампы, положил руки на отверстия ящика и стал ожидать, пойдет оттуда тепло или его не будет.

Он сидел долго в ожидании, ветер на дворе дул со слабой силой, и Ягафару казалось, что никогда не может из холодного ветра родиться тепло.

Бабай вздохнул в огорчении, что редко сбы-

вается надежда человека, а затем улыбнулся, потому что ладони его рук почувствовали жаркое тепло.

Бабай заглянул в отверстие ящика, увидел в нем сияющий дрожащий свет и захохотал от радости.

— Ты дурак, бабай,— сказал он в поучение самому себе.— Солнце гоняет ветер по земле, значит, в нем сила солнца есть. Из ветра обратно можно тепло брать — значит, можно зимой овощ рожать, яйцо, молоко и масло много давать... Я тут буду глядеть, чтоб у нас не дошло до последнего хлеба, я тоже буду мало-мало красноармеец по хлебному делу.

Д ЖЕК БРАУН

Американский народ и СССР

Второй по величине город Америки стоит на пересечении ее главных дорог — в 1 500 милях к западу от Нью-Йорка и в 2 000 милях к востоку от Сан-Франциско.

Сердце аграрного Ближнего Запада и промышленный центр его долин — Чикаго — является вместе с тем одной из промышленных цитаделей страны. Крупнейшие металлургические и машиностроительные заводы, гигантские бойни, многочисленные «железнодорожные магистрали сосредоточены в Чикаго, и теперь все это работает на оборону.

Среди населения Чикаго немало сынов и дочерей отважных американских пионеров, которые более столетия тому назад проложили себе путь сквозь чащу американских лесов, чтобы создать новую цивилизацию на западе страны. Немало также среди них мужчин и женщин, которые эмигрировали в Америку в конце прошлого и в начале этого века, — поляков, итальянцев, евреев, чехов, югославов, немцев, представителей скандинавских и многих других народов. И все они — американцы, независимо от места рождения. Четырехмиллионное население Чикаго, как в зеркале, отражает типические черты населения США.

В начале июня этого года массовая культурная организация «Чикагский форум» разослала 8 000 опросных листов чикагцам различных возрастов и общественных положений о возможности высказать свое отношение к СССР. Ответы предполагалось издать в книге и послать в СССР к годовщине Отечественной войны Советского Союза с гитлеровской Германией.

Газета «Чикаго Сан» напечатала ряд ответов, которые характеризуют настроения и мысли жителей этого города.

Солдат, уроженец Америки, пишет: «Меня глубоко радует возможность приветствовать наших соседей, народы нашего младшего, нашего старшего брата — Союза Советских Социалистических республик: младшего годами и старшего потому, что на нем сосредоточены надежды мировой демократии».

Семнадцатилетняя школьница пишет «СССР опроверг сказку о непобедимости наци и доказал молодежи всего мира, что русский — замечательный народ».

Антрополог, которому, — по его словам, мать-шотландка с детства привила любовь и уважение к человеку, свидетельствует «Как антрополог я не верю в существование высших и низших народов и рас». По его словам, «Россия, борющаяся против расовой ненависти, уже этим самым являет себя союзником США».

Проводник евангелия, ушедший в покой, пишет: «Независимо от того выльется ли экономическое развитие других стран в те же формы, что и в СССР, или же оно пойдет своим путем, нам признавать одно: СССР доказывает нам возможность успешного существования такой экономической системы, которая покоится на социальной справедливости; и этот пример, рано или поздно, побудит все народы предпринять аналогичную попытку установления экономического равенства, если к тому времени не будет найдена более совершенная форма».

Врач, грек по происхождению, указывает в своем ответе: «Многонациональная республика, создавшая у себя равные и справедливые условия для творческого соревнования различных народов во всех областях знания и деятельности, создала прочную основу для высокого морального состояния Красной Армии и ее отверженного мужества партизан».

Сцена меняется: мы в величайшем городе Америки Нью-Йорке, на митинге где выступает недавно зачисленный армию молодой боец. Его возмущая одно стремление — дать отпор гитлеровским ордам, которые угрожают независимости его страны и свободе всего человечества. «Могу вам сказать, что я думаю и что думаю вместе со мной мои товарищи, — говорит он. — Ребята у нас в зарме считают, что если бы не доблестная борьба русской армии, нам было бы очень трудно произносить названия городов на фронте, так как это были бы Бостл Чикаго, Сент Луис или же любой другой американский город».

На этом же митинге было прочитано письмо генерала Дугласа Мак-Артура, обращенное к Красной Армии. В нем говорится, что цивилизация возлагает все свои надежды на доблестные знамена Красной Армии, а военные заслуги СССР характеризуются как «величайшее достижение в истории».

Американские военные деятели, как в своих устных выступлениях, так и в военной прессе, выражают глубокое восхищение перед беспримерным мужеством Красной Армии, которая своей борьбой вписала новую страницу в историю человечества и отныне станет образцом для всех свободолюбивых народов. В «Журнале Армии и Флота» за январь 1942 года напечатано: «То, что русские бойцы делают для защиты своего отечества, рождает зависть и гордость в сердце борющегося с фашизмом человечества».

Главный редактор «Флотских известий», лейтенант Чарльз С. Сили, касаясь вопроса о несокрушимом железном единстве советского народа, пишет: «Наци рассчитывали встретить в России кляку, а ля Петэн, склонную сдаться на милость победителя, они рассчитывали использовать русские ресурсы для следующей стадии в своем плане завоевания мира. Но они просчитались! Немцы не нашли в России ни петэнов, ни квислингов, не оказалось среди русских ни линдбергов. Это несокрушимое единство русского народа служит воодушевляющим примером для всех свободолюбивых народов, в том числе и для американского народа: американский народ борется с десятилетностью «пятой колонны» и «умиротворителей», которые не щадят усилий для того, чтобы расколоть нацию в этот столь ответственный критический момент ее существования».

Широкие круги американского населения живо интересуются вопросами строения и исторического развития Красной Армии, ее руководителями и боевыми кадрами. Недавно в США крупной издательской фирмой выпущена книга под названием «Русские вооруженные силы». Автор этой книги — Сергей Корнаков, бывший кавалерийский офицер царской армии. Книга подробно описывает организацию советских вооруженных сил, трагует о регулярном и партизанском фронтах. Автор сообщает, что его личное знакомство с Красной Армией состоялось в те времена, когда «они лупили нас в хвост и в гриву», — то есть в бытность его белым офицером на Кавказе в 1918 году.

Автор книги доказывает, что Красная Армия — исторический преемник всего боевого прошлого русского народа. При этом Красная Армия, вооруженная всей современной техникой и представляющая величайшую боевую силу в мире, является детищем страны с новым справедливым социальным укладом. «Красная Армия борется не только за свою территорию во столько-то и столько-то квадратных миль и за такое-то число миллионов жителей, —

она борется и за завоевания своего народа, за то новое, что этот народ дает миру».

Американский народ хочет знать больше о стране, о которой сенатор США Клод Пенаф сказал: «Когда в будущем свободное человечество на освобожденной земле мысленно обратится к судорожным дням нашей эры, оно не встретит более великого имени, чем Россия».

Газеты регулярно печатают сводки о положении на советских фронтах и о борьбе Красной Армии. Центральные и местные радиостанции распространяют эти сообщения по всей стране. Целый ряд газет регулярно помещал на своих столбцах военные корреспонденции недавно погибшего Евгения Петрова. Не менее популярны статьи Эренбурга, — их перепечатают десятки газет, выходящих во всех концах страны.

Речи Сталина немедленно становятся известны всей стране. Они не только печатаются в газетах, но выходят и отдельными листовками в сотнях, тысячах, а иногда и миллионах экземпляров.

Героизм советской женщины и советской молодежи, как на фронте, так и в тылу, вызвал горячий энтузиазм в различных кругах американского населения и в различных политических лагерях. Достаточно привести один яркий пример. Влиятельнейшая газета американского Ближнего Запада «Стар Джорнал», выходящая в Миннеаполисе, штат Миннесота, пишет: «Советская молодежь, руководимая комсомолом и другими организациями, играет выдающуюся роль в жизни страны. Она возглавила кампанию за повышение производительности сельского хозяйства и промышленности. Она добровольно вступает в ряды Красной Армии, работает на трудфронте, в сельском хозяйстве и промышленности. Миллионы молодежи проходят военную подготовку и активно готовятся к обороне страны. Русская молодежь проверяется в боевой обстановке, и она блестяще выдержала этот экзамен».

В США все больше и больше растет интерес к советскому искусству, литературе, театру и кино. За последний год на многочисленных экранах Америки часто демонстрировалась советская хроника, — преимущественно военная; но и довоенная хроника вызывала живой интерес. Учитывая эту популярность советского кино и в особенности советских военных фильмов, двое видных деятелей Голливуда — Льюис Майлетоук и Джорис Айвенс — выпустили ленту под названием «Наш русский фронт». В основу фильма легла кинохроника, заснятая на Советском фронте, отражающая боевой дух Красной Армии и советского населения. Пояснительный текст к фильму, написанный видным писателем Эллистром Поллом, дается в исполнении популярного актера Вальтера Хастона.

Этот фильм, а также подлинная советская кинохроника в живых драматических образах приобщили американский народ к той героической борьбе Красной Армии и

Советского населения, которая является примером для всего свободного человечества.

Настоящим событием в деле сближения американского и советского народа явился прием, оказанный советским студентам, делегированным на интернациональный студенческий съезд, состоявшийся в первых числах сентября в Вашингтоне. Прием Красавченко, Павличенко, и Пчелинцева в Белом Доме, их выступления по радио, передававшиеся по всей стране и привлекшие миллионы слушателей, интересующихся ими корреспондентам всех сколько-нибудь заметных газет, восторженные овации, неизменно встречавшие их появление на съезде, — все это — свидетельство глубокого уважения и восхищения, которые в американском народе пробудила славная борьба Красной Армии против гитлеровских орд. Естественно, что когда советские делегаты говорили о втором фронте, они встречали горячее одобрение и поддержку аудитории.

Растущее восхищение американцев советским народом, выливающееся в искреннюю дружбу, способствует укреплению боевого духа самих американцев, призванных защищать свою свободу и независимость в борьбе против общего врага.

Лакей по департаменту пропаганды Геббельс не устает шельмовать американский народ, называя его «мягкотелым», «уклоняющимся от войны». Некий нацистский профессор Отто Койшвиц провозгласил, что американская история не есть история великого народа и что американцы никогда не сражались «за дело чести, за идеаль».

Однако за этим наглым поношением скрывается не только ненависть фашистов, но и их страх перед боевыми традициями американского народа.

В своем письме к американским рабочим, в 1918 году, Ленин писал о войне за независимость (1776—1833) что: «История новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн»...¹ В этом же письме Ленин говорит о величайшем всемирно историческом, прогрессивном и революционном значении гражданской войны 1863—1865 годов в Америке.

Мы храним заветы Вашингтона и Линкольна, чей неукротимый дух, не зная страха в борьбе, не останавливался ни перед какими трудностями и жертвами, и этот завет гласит: побеждать, отстаивать свободу и независимость.

Поэтому, когда перед американским народом возникла величайшая угроза его национальной независимости, он оказался готовым для боевых наступательных действий против смертельного врага человечества — гитлеровской Германии. Историческая борьба советского народа, защищающего родину против гитлеровских орд, нашла живое понимание и горячий

отклик среди широких масс американского народа как борьба за свободу и независимость Америки и других народов против гитлеровской тирании и порабощения.

Вот почему уже в течение многих месяцев обширные круги американского населения, самые разнообразные социальные слои высказываются за немедленное создание совместно с Великобританией второго фронта в Европе с тем, чтобы Америка могла в полной мере участвовать в общей борьбе и победе над ненавистным врагом.

Приведем два-три примера из тысячи, свидетельствующих о волеизъявлении миллионов американцев, требующих открытия второго фронта как верного пути к победе.

На митинге, созванном друзьями Советского Союза в Лос Анжелосе, неподражаемый Чаплин сказал:

«Русский фронт — это фронт наступающей демократии. Русские защищают не только свой строй, — они защищают и наш строй. Находятся люди, которые спрашивают: кто они, эти коммунисты? Я не знаю, что такое коммунизм, но если это он вырашивает тех людей, которые дерутся на русском фронте, то он заслуживает уважения. Пришла, наконец, пора очистить атмосферу, ибо русский народ истекает кровью, для того, чтобы мы могли жить».

В заключение Чаплин сказал:

— Гитлеру не улыбается второй фронт так давайте, преподнесем ему этот сюрприз. Пока русские атакуют Гитлера спереди, дадим ему пинка в зад. Не я выдумал второй фронт, это народ его выдумал это народная идея.

Взгором в паруса этой «народной идее» стало сообщение о подписании англо-советского договора и советско-американского соглашения о взаимной договоренности трех великих держав по вопросу об открытии второго фронта в Европе.

По сообщению корреспондента, в этот памятный день в Нью-Йорке, в Таймсквере, царил радостное воодушевление. Особенно велико оно было среди матросов и солдат. Капрал родом из штата Вирджиния сказал:

— Мы в два счета взгреем Гитлера, я так полагаю, что еще в 1942 г. И у меня руки чешутся сделать это первым. А иначе мне нельзя будет и носа показать дома, в Вирджинии...

Водитель грузовой машины, обслуживающий крупный универсам, в погоне за свежим номером газеты, сообщавшим о советско-американском соглашении, на несколько секунд задержал уличное движение. Когда постовой призвал его к порядку, шофер улыбнулся и сказал:

— Ладно, ладно, сержант, не будем ссориться. Мы еще встретимся в Европе, когда там откроют второй фронт.

— Что ж, может, так оно и будет, — отвечал ему сержант, ухмыляясь, — как будто и вправду похоже, что собираются начинать эту войну.

Рабочий, занятый в оборонной промышленности, заявил:

¹ В. И. Ленин, Соч., т. XXIII, стр. 176.

Один человек у нас в цеху говорит, Россия ни из одной войны не вышла побежденной. На это я ему сказал, не было такого случая, чтобы Америка из драки выходила побежденной, и мне жется, что если Америка и Россия вымучатся за дело вместе, то Гитлеру не добраться.

Ныне, когда гитлеровские орды с бешеным отчаянием напрягают все силы, чтобы достичь частичных успехов на советско-германском фронте, перед американскими народными массами с особенной настоятельностью вырисовывается необходимость открытия второго фронта для ускорения скорейшей и полной победы. В июле, августе, сентябре требования широких масс американского народа о немедленном открытии второго фронта в западной Европе звучат все решительнее. Шестидесят тысяч участников большого митинга, состоявшегося 22 июля под открытым небом в нью-йоркском Медисон-сквер-парке, приняли резолюцию, хорошо отражающую чувства американцев. Резолюция адресована президенту Рузвельту: Мы, население города Нью-Йорка, члены едьюнионов, церковных общин, гражданских и братских организаций и организаций ветеранов... торжественно заявляем: все мы единодушно поддерживаем ваше соглашение с Британским и Советским правительствами относительно настоятельной необходимости открытия еще в 1942 году второго фронта против Гитлера. Каждый из нас готов принести необходимые и этого жертвы. Мы резко осуждаем деятельность умиротворителей, пораженцев, трусов и предателей, которые шельмуют наших союзников и исподтишкают сомнения в силе американского оружия. Мы требуем немедленного открытия второго фронта, пока еще не ушло время, пока враг не нанес более чувствительного ущерба мужественным русским миям и ярость народов оккупированных ран разгорается, готовая смести угнетателей... Мы требуем этого для безопасности Америки. Мы требуем этого для ускорения торжества демократии и свободы всем мире».

Полтора месяца спустя экстренное заседание исполкома Конгресса промышленных организаций, от имени пяти миллионов представителей им членов, вынесло постановление: необходимо развернуть волю промышленность в невиданных до сих пор масштабах для открытия второго фронта. Среди широких мероприятий, детализированных на этом заседании, было принято решение повести атаку по всему фронту против срывщиков, саботирующих изготовления «к конечной гитлеровской мпаний, которая в 1942 году приведет к армии в Берлин».

За этот же период президент Американской Федерации труда многократно выступил с энергичными призывами начать немедленные наступательные действия союзников против Гитлера в Европе. Небезынтересно также отметить заявление главы атино-американской конфедерации труда

Висенте Ломбардо Толедано относительно того, «что народы Латинской Америки особенно заинтересованы в выигрыше войны, а первой предпосылкой для этого является немедленное открытие второго фронта в Европе».

Патриотические демонстрации во всех городах страны также свидетельствуют о воинствующем и боевом духе масс, которые желают бороться с врагом человечества — гитлеризмом. В Нью-Йорке семьдесят пять тысяч человек участвовало в демонстрации, и двадцать пять тысяч приветствовало демонстрантов. Преобладали лозунги: «Второй фронт сегодня спасет жизнь завтра», «Упущено гораздо больше чем вы думаете; откройте немедленно второй фронт». На огромной демонстрации в Детройте выделялся лозунг: «Чего мы ждем — поражения! Во имя победы, — в атаку на врага!» На демонстрации в Новом Орлеане, крупнейшем порту Юга, фигурировала плакат: «Верните врагу его войну. Откройте второй фронт!»

В обуреваемом Америке едином стремлении дать отпор ненавистному врагу и всемерно поддержать боевой порыв, не последнюю роль играет крепнущее объединение пятнадцати миллионов населения США славян. Настоящим праздником для американских славян явился огромный митинг на Солдатском поле в Чикаго, устроенный в память битвы при Грюнвальде, принесшей славянскому оружию победу над тевтонскими рыцарями.

Пятьдесят тысяч славян, собравшихся на митинге, вынесли резолюцию об открытии второго фронта, прочитанную Лео Кржицким, председателем Конгресса американских славян. Одним из ярких эпизодов этого праздника было торжественное шествие десяти тысяч человек, несших флаги союзных народов — русских, поляков, чехов, югославов, болгар, украинцев, словаков, словенцев, македонцев, черногорцев, хорватов и сербов. Демонстранты несли портреты Сталина, Рузвельта, Черчилля, Чан Кай-Ши, Мак Артура. Лозунги на плакатах: «Немедля откройте второй фронт!» «Победим Гитлера в 1942 году!» «Объявите войну фашистской Финляндии!» «Разорвите отношения с Лавалем и фашистским правительством Франко!» Сталелитейщики шли с лозунгом: «Мы вам дадим сталь, чтобы бить Гитлера! Откройте немедленно второй фронт!» Чешские «соколы» демонстративно запретили Гитлером слотивные игры. Член кабинета, генерал Фрэнк Уокер прочел официальное приветствие. В нем говорилось: «Ваш митинг — волнующий символ единства мощной нации». В передовице, посвященной митингу, газета «Чикаго Сан» писала: «Знаменательный урок — митинг на Солдатском поле — должен быть воспринят всей Америкой».

Недавно в Детройте по инициативе Мичиганского комитета Американского славянского конгресса был организован пикник, в котором приняли участие десять тысяч славян. Собравшихся приветствовал губернатор Вагоннер и другие сторонники

открытия второго фронта. Собрание приняло следующую резолюцию: «Массовый рейд на Диепп подтвердил уверенность американского народа в том, что имеется реальная возможность вторжения в Европу и уничтожения Гитлера».

Все слои населения требуют немедленного открытия боевых действий против Гитлера. На Конгрессе США представитель Пенсильвании Голланд заявил в последних числах июля: «Главное — это не упустить времени... Мужественные русские, после тринадцати месяцев ожесточенного сопротивления немецкой военной машине, продолжают драться с неизменной отвагой. Но они дерутся одни. Победа объединенных наций зависит от судьбы русских армий, которые перемалывают и изматывают силы германской. Наш народ рвется в бой. Так же и народ Великобритании. Все иностранные корреспонденты единогласно сообщают из Москвы, что русский народ продолжает борьбу в надежде, что помощь близка, что, ударив на Гитлера с запада, мы расчленим его силы и сделаем возможным двойное нападение — с востока и запада, которое окончательно разгромит нацистов. Я выражаю надежду моих избирателей и, — не сомневаюсь, — надежду всего народа, что в этом критическом положении мы будем действовать с американской стремительностью, с американским умением и американским мужеством».

Передавая в «Чикаго Сан» от конца августа, озаглавленная «Россия борется одна», введя за сообщением о наступлении на Ржев заявляет: «Важно не только то, что русские вплоть до нынешнего дня бились и бьются с непоколебимым мужеством. Важно то, что они бьются без единого слова упрёка и горечи по адресу США и Великобритании, которые в деле оказания поддержки и помощи России вели себя недостойно. Поставьте себя на их место, — что бы вы сказали о таком поведении союзников?! Ужаснее всего, если наша медлительность обратит гитлеровские полчища против нас самих. Будущая дружба между СССР и западными державами, столь необходимая для сохранения устойчивого мира и столь трудно достижимая из-за противоречий в экономических и социальных системах, может быть выкована и закалена в огне общих жертв. Победа, дружба и мировое руководство — все в жизни поставлено на карту, когда Россия дерется, а мы топчемся на месте».

Необходимо подчеркнуть, что боевой дух, которым воодушевлено гражданское население страны, живет и в вооруженных силах США. Наши бойцы неоднократно

выражали желание вступить в бой с гитлеровскими ордами.

В официальном органе военного министерства США «Янк» в номере от 11 августа, всецело подчиненного лозунгу «Немедленно ввязаться в драку!», в этой довой читаем: «Пришло, как нам кажется, время задать простой вопрос: когда мы будем драться? Мы знаем, что мы связаны с неизбежными сложностями области транспорта, промышленности и т. д. Мы знаем, что открывать фронт — не очень-то простое дело. Но мы также знаем, что мы с полной уверенностью брали ремесло солдата. Мы знаем, только воин победит и что нельзя начинать войну, не воюя. Открыть фронт — дело, но как солдаты мы обязаны драться. Когда же, наконец, мы будем драться?»

В июле 1942 года объединенный рабочий элэктро-радио- и машиностроительной промышленности вынес следующую резолюцию:

«Те битвы, которые в эти дни разворачиваются на советском фронте, это, по существу, битвы за Нью-Йорк и Лондон. Наши собственные интересы и интересы всего человечества требуют, чтобы мы активно вмешались в войну, не играя пассивную роль стороннего наблюдателя ожидающего исхода событий. Время терпит, каждая минута дорога, мы должны действовать решительно и эффективно вместе с нашими британскими союзниками. Мы должны немедленно начать наступление на европейском континенте во всеоружии всей нашей ярости и во всех наших сил. Это наступление кошмарит Гитлера, оно послужит примером для угнетенных фашизмом народов, которые только и ждут своего часа, чтобы свести счеты с ненавистными нами».

Американский народ обнаружил свое внимание и высокую оценку историческому заслугу Красной Армии, которая уже в третий год принимает на себя самые тяжелые удары в этой войне против общего врага.

Вместе с другими свободолюбивыми народами американский народ, в той мере своей экономической и военной мощи, может и должен принять справедливое участие в предстоящих титанических битвах с гитлеризмом, с тем чтобы уничтожить его навсегда и выместить до конца той новой жизни, — счастливой, мирной и безопасной, в которую вступит человечество после войны.

Перевела с английской

Р. ГАЛЬЦЕР

„Фронт“

В день выхода «Правды» с началом бесы А. Корнейчука я был в дивизии. Начальник политотдела, подняв голову в газетной полосе, растерянно сказал: — Скаandalная история какая-то.. Чили? — и протянул мне газету. Я начал с передовой.

— Нет, нет, вы в пьесу загляните...

Я заглянул в пьесу «Фронт», чтобы прочесть ее не отрываясь. Она взволновала меня до глубины души своей суровой, резкой правдой, смелой постановкой темы, простотой слова.

— Это событие, — сказал я. — Это значительное событие жизни.

Начальник политотдела дивизии, однако, не был согласен со мною, и завязалась удивительная полемика.

— Он военный — стал доказывать мне — литератору, что пьеса «Фронт» — «сидячая» пьеса, не игровая, что это, в сущности, — не пьеса, а драматизированная передовая, статья в лицах. Я же, литератор, начал убеждать его — военного человека — обратным, говоря, что пьесы бывают разные. Одни построены на остром внешнем сюжете, другие на тонкой психологической ситуации, третьи на остром общественном столкновении.

На мой взгляд, сказал я, нет более «сидячей» пьесы, чем «На дне», и, однако, не много пьес сравнится с нею по обаятельности. Я привел в качестве примера также ибсеновского «Доктора Штокмана», пьесу, напущившую на весь мир, а в ней, сдвиги подыти буквально, ничего не происходит, кроме конфликта Штокмана с городским самоуправлением по поводу водородовода.

Но начальник политотдела возражал:

— В пьесе обязательно должно что-нибудь случиться. Скажем грубо, хотел человек счастья, а перед ним беда, думал жить сюда, а вышел туда.

— Это-то как раз в пьесе есть, — подхватил я. — Получил Горлов четвертый ранен и думал вылететь в знаменитые стражи, а кончилось тем, что его сдали в плен.

«Фронт», повторяю, большое событие жизни. Я говорю — жизни, а не искусства. имеем в виду, что всякое событие искусства только тогда и событие, когда оно значительное явление нашей жизни, — одна из наших жизненно важных проблем.

Все, что не выступает из окопов искусства, никогда не бывает событием даже в этих окопах.

Критиковать «Фронт», как и любое художественное произведение, должно, лишь стоя на позициях общенародного интереса, а им в данный момент являются вопросы войны и победы.

Только тот критик, который исходит из этих общенародных интересов, приобретет свободу суждений и даст верную оценку произведению. Это будет в то же время и эстетической оценкой.

Вопрос победы является для нас вопросом нашего существования, нашим «быть или не быть», т. е. таким вопросом, которому все остальное подчинено в самых мельчайших частностях.

Все, что помогает быстрее и лучше проложить путь к победе, будет и самым важным, и самым сильным, и самым волнующим, и самым поучительным, и, наконец, самым благородным, обязательным, достойным наслаждения и любования.

Тому, кто любит нашу жизнь, чья душа болеет за неудачи в войне, кто, следовательно, ощутил всем сердцем огромную важность появления «Фронта», конечно, хочется, чтобы это произведение имело меньше литературных недостатков и больше литературных и драматургических достоинств. Но главное художественное достоинство, особенно характерное, на мой взгляд, для драматургии, присуще «Фронту».

Форма драматургии — разговор, диалог. Диалог в пьесе — это и описание, и изучение, и характеристика действующих лиц.

В пьесе «Фронт» насыщенно-содержательный диалог, волнующий мыслями, какими живут страна и фронт, очень хорош своей ясной и простой формой.

«Фронт» — прост стомиллионно. В этом смысле он театрален в лучшем смысле этого слова. Многим и многим зрителям будет казаться, что они сами могли бы написать такую пьесу. Голос народа записан автором.

В пьесе показаны разные люди, но героем ее является родина, и не судьба Горлова-отца, но судьба родины — идея пьесы.

И страдания этого главного героя пьесы даны превосходно: каждый из нас — читателей — обогащает текст «Фронта» своими личными раздумьями и переживаниями — верный признак большого художественного произведения. События «Фронта» — это события нашей жизни, каждого в отдельности. Проблема Горлова-старшего или Огнева, а для кого и Крикуна, — это тоже проблемы глубоко личные, касающиеся большинства из нас необычайно близко.

Мне пришлось слышать соображения, что А. Корнейчук напрасно, будто бы, допустил в пьесе неверное противопоставление стариков молодым. Обвинение напрасное. В пьесе не старики противопоставлены молодым, а руководители знающие и умные — руководителям незнающим и неумелым.

Если отбирать по возрасту, то старик Горлов идет вместе с Гайдаром, а, между тем, они принципиально в пьесе различны. Разряд молодых будет представлен Огневом, но вместе с ним и Крикуном, молодым Горловым и не старым Благоправовым. Глубокое различие между этими персонажами очевидно.

Нет, пьеса не об отцах и детях.

«Война не шутка и не игрушка, она требует от своих вождей глубокого знания, которое является результатом не только изучения военного дела, но и наличия тех способностей, которые даруются природой, и только развиваются работой» — говорил превосходный русский генерал Брусиллов¹.

Война требует от каждого учебы, — будь это маршал или рядовой, и учебы не показной, а фактической, творческой, требующей, как всякая учеба, и прилежания, и талантов, и выдержки.

Жизнь наша построена на таких непоколебимых разумных основаниях, что перedoвое, наиболее полезное и необходимое нашей советской родине всегда побеждает, хотя и бывает, что трудно ему пробиться сквозь старое, отжившее и отживающее и переставшее быть нужным. Но рост и победа передового, новаторского, изобретательского будут удесятерены, если мы не окажемся крикунами, если мы борьбу за победу всех наших светлых идеалов и благородных целей будем вести — каждый в полную меру своей ответственности. Есть в нашей среде Гор-

ловы и Крикуны, немало и Благоправных. Жить в полсердца, в полголоса, прятаться, хрюкать, и спорить, улыбаясь, то у нас много охотников, ибо такой жизни безопаснее. Учитесь воевать не только Горлову, но и Гайдару и более — Благоправову.

Ссориться с Горловым, героем гражданской войны, только что получившим четвертый по счету орден? Как можно! И думаете благоправные, которые скажут: «Удивительство, очевидно, уверено в нем, и поручило ему фронт и наградило четным орденом, а раз оно в нем уверено, всякая попытка раскрыть истинную сущность этого человека, — не значит ли уличить авторитет правительства?»

Благоправовы, живя среди Горловых Крикунов и Удивительных, доподлинно знали цену этим «едокам» в армии: ли, что они губят дело, и, однако, так ли их.

Живыми размышлениями об авторитете они лишь ограждали себя от ответственности, так как не хотели порочить личных отношений или карьеры.

На вопрос Удивительного: «Ага, почему выходит, что правительство, награждая меня, ошиблось?» Благоправов отвечает: «Да, и дважды. Первое, что вас наградили, и второе, что за нашу работу до сих пор ни у меня, ни у вас орденов не отобрали, с треском, с опубликованием в печати».

Не случайно в пьесе даны разные представители семьи Горловых.

Мирон Горлов не чета Ивану. Не в отца, а в дядю пошел и Сергей Горлов.

Самовлюбленность, делающая генерала Горлова отрицательной фигурой, — большая общественная. Там, где по-настоящему борются с невеждами, там их нет. Власти глупости нужна питательная среда.

Таким образом, идея пьесы не в том только, что — вот смотрите, кто виноват в бедах — Горлов — он и должен понести наказание. Идея пьесы также в том, что смотрите, как мы неактивны, непредприимчивы, робки, под самым носом у нас перорудует вредное и тупое существо, которому мы веряем судьбы родины, вместо того, чтобы собственной трудью отстранить его подальше от вершения судеб.

Пьеса «Фронт» и есть пьеса о единственном советском фронте против невежества и зазнайства, подхалимства.

Большевики создали государство без проданных, в котором каждый может королевски сказать о себе: «государство — это я».

Мы не были бы удовлетворены пьесой, если бы она, рассказав историю Горлова, ограничилась одними выводами возмездия. Нас не удовлетворило бы снятие с работы Горлова, — не в этом пафос пьесы.

Пьеса «Фронт» А. Корнейчука не только вызывает возмущение Горловым и Крикунами: она рождает смелость бороться с всем, пережившим себя. Она учит: кто

¹ «Мои воспоминания», Военгиз, 1941 г., стр. 207.

борется против старого, — сам стар и становится ненужным своему времени.

«Фронт» — хорошая, смелая пьеса. Она заставляет читателя — и еще более заставляет зрителя — думать о том, что судьба родины в наших руках и что одни и те же руки могут спасти или погубить ее.

Читатель и зритель пьесы скажут себе словами Гайдара:

«За это мне и попало так, что всю жизнь

буду помнить, — правильно попало» (за каждый честный человек, безусловно, так и скажет). Пьеса сыграет большую роль в нашей борьбе за победу.

Открытая критика недостатков Красной армии идет от нашей силы. Читатель и зритель понимают, что талантливый, Огнев, храбрые артиллеристы, отважный Сергей Горлов — они подлинные представители героической Красной армии — им принадлежит победа.

Уважение к действительности

О повести Василия Гроссмана

В газете мы сперва читаем сводку, потом военные корреспонденции, очерк, потом — рассказ или повесть. Так вовлечены люди в реальность войны, так все мы этим живем, что трудно даже представить себе другую направленность, другую последовательность внимания.

В том же порядке развертываются и различные способы выражения этой действительности; от сжатой информации о прошедшем к живому изображению события и его участников и к тому, что называют художественным обобщением.

Между двумя последними ступенями нег, разумеется, каких-нибудь стойких и безусловных разграничений. Мужество реальных, но выдуманых людей таково, что не хочется их выдумывать; рассказу о том, — говорит писатель, — что действительно было, — от этого повесть обобщающей своей ценности не утратит. «Я фронтowych записей», «быль» «своими глазами», «рассказ лейтенанта такого-то». Тенденция эта очень заметна в нашей литературе, естественна и законна.

Права «художественного вымысла», его необходимость этим несколько не отрицаются.

Но вообразите себе «художественное произведение», действующим лица которого уничтожают танки, сбивают вражеские самолеты, совершают все то, о чем сообщается в сводках, с той только разницей, что сводка говорит о действительно существующих лицах, а здесь лица эти и действия их «вымышлены» писателем. Пусть это изложено подробнее, чем в сводке, пусть наведены какие-то краски, но если этим исчерпывается различие между «вымыслом» и реальным боевым эпизодом — сообщение о реальном боевом эпизоде, даже самое содержательное, будет несравненно сильнее, чем такое «художественное произведение».

В приведенном случае «вымысел» работает неправильно и наивно. Но он необходим и оправдан, если в «вымышленном»

рассказе человеческие характеры, связи событий, движущие силы поступков представлены конкретнее, нагляднее, глубже, чем могут они обнаружиться в фактах с одной стороны отдельного боевого эпизода. «Выдумывание факта», наивная попытка соревноваться — на бумаге — с реальным боевым действием, без углубления и осмысления — один из видов литературной ошибки.

Теперь о другом ее виде. «Художественное обобщение» есть обобщенное действие, каждый раз вновь и вновь из нее самой вырастающее, так что писателю с каждой новой задачей снова и снова приходится «переучиваться». Это обобщение достигается вовсе не средствами позаниствованными из запаса привычных литературных приемов и построений. Нельзя полагаться на какое-то отвлеченное профессиональное умение: «Я знаю, как делаются рассказы, я помню свою повзрешнюю книгу; к фактам добавлю фавулу с нарастанием, с концовкой, конфликтом, психологию — все это предусмотрено в моей рецептуре». В этой ошибке меньше наивности и больше самодовольства.

Таких литературных средств, которые могли бы безразлично применяться к любому литературному материалу, не существует вовсе. Попробуйте материал «Вишневого сада» обработать средствами французской комедии XVII столетия. Гас был бы ревнивым опекуном влюбленной в Трофимова Ани; парадельно развертывался бы роман комических слуг: Яшя помогает Трофимову, Дуныша — наперсница Ани; все кончалось бы двумя счастливыми браками. Нелепо — но в применении к своему жизненному материалу фавульная схема комедии XVII столетия была закономерной и органичной. Нелепо, но еще хуже — оскорбительно, когда наспех подобранные и внешне воспринятые обрывки нашего современного материала пытаются разместить в рамках условного, вовсе не найденного (как это должно было быть) в самой нашей реальности сюжета; когда условных дей-

ствующих лиц переодевают в современные костюмы; когда искусственное, ложное построение поручают разыгрывать персонажам, выдаваемым залюдей нашего времени.

Сюжет, фабула — не белые нитки, а литературно произведение — не стеганое одеяло, пшвы на котором располагаются, следуя симметрии своего собственного узора, не считаясь с рисунком ткани.

В самом человеческом существовании, в реальной борьбе и общественной жизни, нужно искать центры и связи, существенные для этой жизни, определяющие, локальные, такие, от которых зависит, в которых раскрывается основное содержание эпохи. Вокруг этих линий расположится все остальное. И уж, конечно, рассказ о том, как легкомысленная Мария Петровна сперва жила не с тем, с кем нужно, а потом нашла того, кого нужно, не представит нам нашего времени, сколько бы военных картин вы в этот рассказ включили.

Несколько лет тому назад мне пришлось прочитать пьесу. Жена сообщает луску, что ребенок, которого он с такой радостью ждет — не его ребенок. Начинается война. Муж на войне встречается с любовником жены; тот спасает ему жизнь и сам погибает. Муж прощает жену. Этот вздор не увидел ни печати, ни сцены. Но разве не появлялись когда-то в нашей печати и на нашей сцене такие актуально-адаптерные произведения? Теперь, разумеется, не появляются. Неприемлемость таких выдумок стала для всех очевидной, но другие формы условно-литературных построений и теперь еще не исчезли, так что волей-неволей приходится во всей этой условной механике разбираться.

В предвоенные годы немалой популярностью пользовался такой, например, сюжет. Пожилой научный работник, или музыкант, или художник — неплохой человек, но чего-то еще недопоял; или колхозник — тоже неплохой, но работает еще не в полную меру своих сил и возможностей. Вдруг — обязательно вдруг — в жизни их какой-нибудь случай, происшествие, встреча, — научный работник все понял, колхозник заработал как надо. Для интересности, «чтобы не было банальным», происшествие выдумывалось какое-нибудь особенное. Критики раздражались, доказывали, что в жизни бывает не так — сложнее, что если весь жизненный опыт — сколько ведь лет прошло — не совершил в персонаже такой шеремены, то никакие занятные происшествия не помогут.

Без всякого удовольствия встретились мы теперь с этим старым знакомым. Рассказ (не Василия Просмана) приводится здесь, как типичный пример литературной ошибки и туманного сочинительства. Художник работает во флоте. Так как по замыслу он положительное лицо, то нельзя допустить, что он ничего там не делает, наоборот, он делает много полезного. Однако художник «главного еще не начал

делать». Он хочет создать картину и не знает — как, ибо «он был лирик, любил писать тихие заводы, степь и вишневые сады».

В столовой стоял аквариум с тремя золотыми рыбками. Однажды аквариум этот разбил фашистская бомба. Художник «подержал рыбку на костистой и холодной ладони и понял (только после разбитого аквариума понял, заметьте!): так враги хотят раздавить русскую культуру». «И большое, волнующее до яростных слез полотно встало перед глазами художника». И так далее.

Были убийства детей и женщин, насилия, зверства, все злодеяния фашизма, — Псков, Новгород, Клин, Ясная Поляна, Детское Село, Петергоф. Художник не понимал. А после аквариума — понял.

Вот рассказ другого автора, как бы весь состоящий из психологии. Ночь, море, человек в воде цепляется «за скользкие рога пловучей мины». «Вряд ли хватит сил продержаться на воде до утра. Да и зачем? Появилась мысль — разжать пальцы и погрузиться, чтоб покончить разом, взглянуть последний раз в бездонную черноту неба, отыскать знакомое созвездие... Ему казалось нелепым, что он, молодой, здоровый, неглупый, талантливый... вдруг перестанет существовать». Подходит катер. Чей? Наш? Немецкий? Как быть?

«Озарилась мысль, простая и ослепительная. Надо кричать, стараться, чтобы его услышали, заметили. Если катер свой, — он спасен». Если катер немецкий, — «судара рукоятки пистолета по запальному стакану мины будет достаточно, чтобы взлететь на воздух вместе с фашистским катером и его командой». «Ильин набрал в легкие воздуха и закричал... В его голосе звучали и радостная сила и вызов».

А дальше? Все, точка. Чей был катер, что случилось с Ильиным, об этом автор не рассказывает. Вероятно, потому, что рассказ своей считает «психологическим этюдом»; попал ли Ильин к своим или взорвал себя и врагов — не все ли равно? «Психология» исчерпана, о чем же еще говорить?

А если бы персонаж хоть сколько-нибудь походил на живого, не было бы этого «все равно». И если выдуманный Ильин даже в своем сочинителе не вызывает простого человеческого интереса к своей судьбе, то читатель остается совсем холодным и к персонажу и к сочиненной для него психологии.

②

Если «рассказ» или «повесть» оказываются (а это часто бывает) гораздо менее значительными, чем военная корреспонденция, то виной тому чаще всего вот такое литературное вышивание. Мы приводили эти примеры и вспоминали эту литературищину потому, что она мешает

настоящей литературе, и для того, чтобы яснее выступили достоинства повести Гроссмана¹, свободной от этой искусственности.

Здесь — уважение к действительности, серьезный фронтовой опыт писателя, настоящее знание, большое чувство.

Бойцы, за ними их семьи — не как-нибудь Мария Петровна, настоящие, серьезные семьи.

Один из персонажей вспоминает, как он приходил с работы, «и жена сурово, но с душевной любовью, спрашивала: «Обедать будешь?» и она ел мятучу картошку с постным маслом и глядел на своих детей, на загорелые руки жены, в спокойной духоте избы». «Люди семейные — говорит комиссар Богарев, — очень любящие своих детей, жен, матерей, воюют как-то особенно хорошо».

То, о чем говорится в книге: единство усилий, товарищество и дисциплина, дружба сражающихся людей, родство, память о близких — связи самые существенные и самые ценные. (Теперь с особой силой воспринимается различие между подлинной жизненной ценностью, тем, без чего жить нельзя, и второстепенным и мелким.) На этих действительных отношениях построена повесть, и она держится (как держатся ими сама наша жизнь), а не на какой-то извне привносимой фабуле.

Движение войсковой части, ее трудный боевой путь — это и есть движение повести; бойцы, командиры и комиссары — живые люди.

С первых же страниц понимаешь: писатель видел и пережил то, о чем он рассказывает.

«Одним вечером 1941 года по дороге к Гомелю шла тяжелая артиллерия».

«В городе продолжали работать столовые, маленький завод фруктовых вод, парикмахерские. Иногда, после дождя, ярко блестела роса на листьях, весело поблескивали лужи, воздух делался нежным и чистым: людям на несколько мгновений казалось, что нет страшного горя, постигшего страну, что враг не стоит в пятидесяти километрах от обжитого их жилья. Девушки переглядывались с красноармейцами, старики, покряхтывая, сидели на скамейках в садах, дети играли песком, приготовленным для тушения зажигательных бомб».

«Налет немецкой авиации начался около двенадцати часов ночи. Первые самолеты — разведчики, летящие на большой высоте, — сбросили осветительные ракеты и несколько касет зажигательных бомб. Звезды стали исчезать и меркнуть, когда белые шары ракет, подвешенные к парашютам, разгораясь, повисли в воздухе. Мертвый свет спокойно, подробно и внимательно освещал площади города, улицы и переулки. В этом свете встал весь спящий город: белая фигура гипсового мальчика с горном, поднесенным к губам,

возле Дворца пионеров, заблестели: тринны книжных магазинов, и розовые, и белые огоньки зажглись в опромных стеклах шарах, стоявших в окнах аптек».

«Запоминайте, товарищ Игнатъев, — говорил бойцу комиссар Богарев, — залюбуйтесь всем, что вы видите. И эту ночь, этот город, и этих стариков и детей».

«Разве забудешь, товарищ комиссар? В конце повести они снова появляются: дом друг с другом. Кто-нибудь скажет, что в выдержках, сейчас приведенных — «завязка»; но каким до обидного равнодушием формальным было бы такое определение. Ведь здесь не конструкция, здесь обозначаются движущие человекам реальные силы — чувство боли и гнева, жажда борьбы».

3

Мать дивизионного комиссара Чердыченко «темнолиная семидесятилетняя старуха» не успела уехать из занятой немцами деревни. «Она осталась лежать на пороге хаты, и немецкие танкисты старательно переступали через лужу черной крови, ходили взад и вперед, вынося щипцы, оживленно толкая между собой: «Хлеб совсем еще теплый». — «Если бы ты был порядочным парнем, то из пяти бы лотеек хотя бы одну дал мне. А? Как считаешь? У меня ведь нет ни одной такой, с петухами».

Тема фашистских злодеяний появляется в повести много раз.

Не всегда это — жестокость садистская. Но есть виды жестокости не менее страшные, особенно, когда они стали нормой.

Как гитлеровцы убили мать комиссара? «Они смотрели на нее так, как смотрят люди на кошку, теленка. Она стояла перед ними, ненужная старуха, для чего существовавшая на жизненно небесполезном для немцев пространстве».

Нет и не было на земле ничего страшнее, чем такое равнодушие к людям. Немцы двигались вперед, отмечая на карте маршруты, записывая в дневники количество съеденного меда, описание дождя, куланья в реках, лунные ночи, беседы с товарищами. Очень немногие из них писали об убийствах в бесчисленных деревнях с трудными, быстро забываемыми названиями. Это казалось законным случаем делом».

«Идолом» назвал Гроссман немецкого танкиста.

«Головной тяжелый танк шел несколько вперед, командир машины, пыльный немец, с красной ниточкой кристаллов, перетягивающей у локтя его пухлую белую руку, повернул свое большое лицо крупными веснушками в сторону солнца и зевал». Так шла эта машина среди бугров по польской дороге, меж виноградников Франции, по белградскому шоссе и к берегам Салонического залива. Он позевывал, привычный ко всему, этот идол несправедливой войны, чьи фотографии печатались во всех мюнхенских, берлинских

¹ В. Гроссман. «Народ бессмертен». «Знамя». № 8 за 1942 г.

ских, лейпцигских иллюстрированных газет и журналах».

Он слез на землю, когда подожгли его танк. Пуля расщепила приклад винтовки Игнатьева. Немец («он словно пьянел от величия позы, один среди горящих танков, под грохот разрывов он стоял монументом») увидел, что не успеет перезарядить автомат. У Игнатьева потемнело в глазах: этот человек убил его товарища, «он сжег в одну ночь большой город, он убил красавицу девушку-украинку, он топтал поле, рушил белые хаты, он нес позор и смерть народу», Игнатьев ударил его не в грудь, а кулаком по лицу, другой боец — застрелил.

В одной рукописи мы читали о том, как гитлеровский офицер, допрашивая пленных, «неестественно, театрально хочется». Во многих рассказах изображают гитлеровцев по образу и подобию белогвардейцев времен гражданской войны, забывая о том, что это — другой и особенный враг.

Учиться колоть штыком можно и на соломённом чучеле, но чучело нельзя ненавидеть. Коллажисты учатся на реалистическом образе.

Таков гитлеровский танкист с кораллами на руке. Таковы убийцы матери Чередниченко.

Имп, гз исчерпывается материал повести. Комиссар Богарев подробно спрашивает пленных: «они ничего не читали, даже фашистских брошюр и романов, не слышали не только о Гете и Бетховене, но и о таких столпах германской государственности, как Бисмарк, либо о знаменитых среди военных именах Мольтке, Фридриха Великого, Шлиффена. Они знали лишь фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистской партии».

Империалистическое одичание наглядно представлено в повести.

4

Нельзя обойти один эпизод. Когда немцы подходят к дому матери комиссара, среди них она видит старика Котенко.

Лет сорок тому назад Котенко видел богатого кулака эстонца и навсегда запомнил красивый светлый двор с цементным полом, мельнику, красный, обшитый мехом тулупчик хозяйина, дорогую шапку, расплывшиеся цветами санки. Это не был купец или дворянин-помещик, это был богатый мужик. Котенко хотел иметь такое же хозяйство, хотел, чтобы и на него работали десятки батраков, и шел к этому жестоко, неумолимо. Перед революцией у него было 60 десятин земли и паровая крупорушка.

Два его сына ушли в Красную Армию и погибли на фронте гражданской войны. Потом Котенко нашел их фотографии в сундуке у жены и разорвал их.

Котенко ждал немцев, перед их приходом велел заново побелить хату.

«Колхозная конюшня на моей земле по-

ставлена, значит, моя будет конюшня... Колхозный сад на моей земле посажен, значит, мои будут черешни и яблони... И пасека колхозная моей будет, докажу, что эти улы у меня в революцию забрали».

Он готовился к приему немецких офицеров, черный пиджак и жилет доставал из-под студа, собирал закуску, думал «прочувствованное слово» сказать; а теперь хочет спросить, кому «заявить о своих правах», и робост. Его даже присестью пригласили. Офицеры морщатся от запаха нафталина. В непонятных немецких словах Котенко угадывает насмешку и пренебрежение. Почти не притронувшись к еде, офицеры уходят.

Горит дом Черевиченко, за который старик уже собирался арендную плату потребовать — тоже «на его земле» был построен. Повешен председатель колхоза. В колхозном саду — ни одного яблока, все сожрали солдаты. Пилят и рубят фруктовые деревья. Отброшенные разоренные улы; темный рой пчел вьется над телом убитого пчеловода.

Не удался праздник Котенко. Не ему достанутся дома и конюшни, сад и пасека.

Дело не только в том, что немецкая саранча все сожрала и разгромила. Помощики и капиталисты, для которых гитлеровцы захватывают города и земли, — немецкие помещики и капиталисты, «туземный капитализм» в их расчеты не входит. От «туземных» капиталистов требуется, чтобы они были агентурой немецких банкиров. Иудам предоставляется роль гайки в передаточной механике гыста, и за это — тридцать серебряников комиссионных. Котенко и тех не удалось заработать.

Сельчане шаркаются от него, смотрят «слепыми невидящими глазами», не разговаривают. «Старухи, не боящиеся смерти, грозили ему сухими коричневыми кулаками и ругали поганым, тяжелым словом».

В его доме жрут, чавкают немецкие солдаты, пышный стол загажен, заблеван.

Жена говорит: «Карточки сынов моих хотела унести, а ты ночью их порвал и кынув под печку». И уходит из дома.

Все это — казнь.

«Он начал шарить рукой, отыскивая ведро с веревкой. Ведро по-знакомому грохотнуло, но веревки не было на нем. Ее унесли немцы».

— Нет, брешешь, — пробормотал он и, сняв со штанов тонкий крепкий ремешок, стал тут же, в темноте с шей, ладить петлю, крепить ее к крюку, прибитому над кадушкой».

5

Страницы об оккупации. Здесь говорится не только о прямых убийствах; если кому-нибудь не вырезали звезду на груди, это еще не значит, что он может жить. Существование тех, которые полгнетом завосвателя еще не погибли физически, нельзя не оградить со смертью. Слова старика-колхозника с необычайной выразительной силой рисуют этот рабски-

крестьянский режим в его повседневной невыносимости.

«В одной деревне коров по ведомости доить велели: ходят солдаты два раза в день и молоко отбирают. Вроде, как в аренду коров сдали колхозникам. А коровы колхозников. В другой — всем мужикам сапоги приказали сдать. Ходите, колхозники, босы. Старостов всюду поставили. А эти старосты над народом катуют, а сами не хозяева: от страха не спят, тоже немцев боятся. Народ весь сам не свой стал: так сделаешь — шею сорвешь, иначе сделаешь, и тоже плохо. Насчет земли, — немец говорит, — «это вы забудете». Сколько сел прошел — ни разу шивень не пропел, ни одного не оставили, всем часто шеи пооткручивали. Старика одного застрелил, — он все на крышу лазил, смотрел на восход, не идут ли немцы. А немцы его и пристрелил. Нечего, каже, на восход смотреть. Понавесили дощечек, а что на них написано, — неизвестно. Стрелы, стрелы всюду показывают... И вот смотрю я и бачу: вроде как бы порядок, а это не порядок, а смерть наша. Брат на брата смотреть боится... Шопот такой стоит, в глаза друг другу не смотрят, душевности никакой. Как со скотом на ферме господской — то спишут, то переписуют, то построят по ранжиру, то гонят... Скоро клеймы ставить будут, на каждого повесят дощечку и номерок поставят...»

Леня, сын Чередниченко, пробираясь по занятым деревням, ночует в хате, где живет женщина с двумя дочерьми. Девушки учились в десятилетке, им преподавали алгебру, геометрию, французский язык. Они собирались поступать в педагогический техникум, а теперь своих дочерей мать одела в рваное тряпье, руки и лица у них были запачканы землей, волосы нечесаны и спутаны — для того, чтобы не обидели немцы.

Девушки «узнали, что Леня учился в киевской школе, в третьем классе, и устроили ему экзамен: задавали ему задачи на умножение и деление. Говорили они все шопотом и поглядывали на окна, — невольно казалось, что при немцах в деревнях детям нельзя говорить об арифметике. И ту бумажку, на которой Леня решал задачку, одна из девушек, кареглазая Паша, мелко-мелко изорвала и бросила в печку».

Как много сказано в этой как будто малой подробности и как больно за этих детей. Арифметика — ведь не хранение оружия. Но вот отобрала же по приказу немецкого коменданта учебники физики и геометрии. Их дала девушкам советская власть, эта наша культура, она под запретом. Дети хранят свои простые, но такие насущные ценности; решают задачи тайком, а то придут немцы и отнимут и арифметику.

6

Среди комиссаров и командиров первое место в повести Гроссмана принадлежит Богареву, — это одна из центральных и ведущих фигур.

И в прежних своих произведениях писатель изображал интеллектуальную жизнь героев. Здесь к такому изображению обязывала самая профессия Богарева: до войны он был преподавателем философии. Задача писателя — показать, что дает на войне Богареву и тем людям, которыми он руководит, марксистско-ленинское мировоззрение.

Прежде всего — понимание событий, ясность перспективы, уверенность в нашей победе. Богарев далек от недооценки противника, понимает значение немецкой техники и организации, но он ими не ослеплен и не запуган. Лейтенанту Мышанскому «нравилось восхищаться силой немецкой армии», у него «психика долге отступавшего человека», у него «холодная нотка в голосе». Богарев его оборвал с первого разговора: «я запрещаю вам произносить слова, недостойные патриота и не отвечающие общественной правде».

«Богарев внимательно изучал приказы германского командования, он отмечал в них необычайную способность к организации: немцы организовано и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на возных бивуаках, умели разработать план сложного движения отрядной колонны с учетом тысячи деталей и пунктуально, с математической точностью, выполнять эти детали».

Но «никогда, никогда... им не победить нашей страны. Чем точней их расчеты и мелочах и деталях... тем полней их беспомощность в понимании главного, той злей ждущая их катастрофа. Они планируют мелочи и детали, но они мыслят двух измерений. Законы исторического движения в начатой ими войне не познаны и не могут быть ими познаны, люди инстинктов и низшей целесообразности».

Довоенная деятельность Богарева намечена кратко и внешне: утиная, он вытаскивает рукопись из портфеля и читает жена спрашивает, как посолена яичница он отвечает невпопад, жена сердится, он говорит ей: «знаешь, Лиза, я сегодня испытал подлинное наслаждение, читал несколько писем Маркса, адресованных Лафаргу, их лишь недавно откопали в одном старом архиве». (Кстати, в переписке Маркса известно одно письмо Лафаргу: оно опубликовано еще в 1899 г.)

Приведенная зарисовка поверхностна. Каким был Богарев до войны, этого мы в сущности, не знаем. Но такая характеристика и не входила, по видимому, в авторский план.

На войне Богарев выступает как смелый и мужественный большевик, как руководитель с непреклонной волей, непримиримый ко всем недостаткам, в ком бы он их ни встретил, ко всем проявлениям слабости.

Когда предлагают выйти из окружения незаметно, — Мышанский даже хотел, чтобы уходили по-одному: «кто — кому скопом мы все равно не прорвемся», — Богарев возмущен: «регулярная часть находится в тылу у противника, а вы предла-

гаете ей ночью, без выстрела, проскользнуть. Упустить такую выгодную ситуацию? Выйти нужно с победой, нанеся противнику жестокие потери». Богарев прав, его решение осуществляется.

Столкновения с Мышанским завершаются так: «Вы пойдете на эту операцию рядовым бойцом с винтовкой. С сегодняшнего дня вы более не командуете ротой».

Что такое Мышанский? «Странное дело,— задумчиво сказал Козлов,— я ведь Мышанского знаю давно, еще по мирному времени. Был ведь рабочим. И его всегда не любили за казенный оптимизм. Кричал «ура», и только. Всех врагов готов был шайками закидать. А потом пришли испытания — и скис сразу». — «Вполне понятно», — ответил ему Румянцев, — оптимизм его был фальшивым. Это, как наш комиссар говорит: «Перешел в свою противоположность». Суждение это верно и нужно.

Одно только замечание. Если раньше многим писателям казалось, что рабочее прошлое предохраняет от всего дурного на свете, то теперь, иногда настойчиво, подчеркивают: нет, не предохраняет. Разумеется. Но разные бывают рабочие: с большим и трудным производственным опытом, — среди них коренные, потомственные, так замечательно понятые и изображенные в «Степане Кольчугине»; и те, для которых работа на предприятиях — лишь незначительный этап в биографии. Легко достающийся и поэтому легко пропадающий оптимизм — явление, для основных кадров рабочего класса наименее характерное, и чаще встречается среди некоторых интеллигентских профессий да среди таких рабочих «на час», каким был Мышанский.

Командир полка Мерцалов — Герой Советского Союза, — имеет четыре ранения в грудь. «В полку нет должного взаимодействия», — говорит ему Богарев, — наступающий батальон не знает, кто у него сосед — сосед или противник. Замечательное оружие используется плохо. Минометы, к примеру, вообще в бой не вводятся, их всюду таскают с собой, но, оказывается, многие из них вообще не ведут. Полк не применяет фланговых заходов, не стремится в тыл противнику. Жмет в лоб, и basta».

«— Вы человек смелый, не жалеющий своей жизни, но плохо командуете полком.

— Значит, не годится Мерцалов?

— Уверен, что годится. Но я не хочу, чтобы Мерцалов думал, что все в порядке, что нечему больше учиться. Если Мерцаловы так будут думать, они немцев не победят. Думаете, мне приятно, что вы сердитесь на меня, обижены, вероятно, кристе меня самыми крепкими словами? И все же я доволен, от души доволен, что все это происходит. Нам ведь не только дружить, нам побеждать надо».

7

Богаревская критика была плодотворной. Мерцалов — настоящий человек — понял и принял этот урок.

Отсюда, от этого разговора, — путь к одной из заключительных сцен. Решающий момент, напряженная обстановка. «Мерцалов видел, что огневые усилия русских самолетов, танков, артиллерии и пехоты, равномерно распределенные по всем элементам немецкой обороны, лишь четвертую, либо пятую часть своей мощи отдавали борьбе с немецкими пушками и минометами. Их-то и следовало сломать, в борьбе с ними был ключ к успеху на первом этапе атаки». «Он приказал пехоте отойти и сосредоточиться в безопасных укрытиях для удара по тем местам, где были собраны главные силы немецкой артиллерии и минометов. Мерцалов знал, что немцы, надеясь на мощь пушек, в этих местах имели лишь небольшие пехотные заслоны. Мерцалов знал, что силой огня, имевшегося в его распоряжении, он без труда подавит немецкую артиллерию. Он избрал для атаки самый сильный участок немецкого фронта, так как понял и ощутил возможность внезапно превратить его из самого сильного в самый слабый, подготовленный для прорыва».

Бой и прорыв рассказаны с двух сторон, — с нашей и немецкой: что в это время делается в немецком штабе. Разговор двух немецких полковников:

«— Русские обычно применяют фронтальное давление, равномерно распределяя его по всей линии. Они называют это «бить в лоб», — сказал Грюн, рассматривая карту. — и, очевидно, сами видят неэффективность таких действий. В их приказах об этом часто говорится. Но приказы остаются на бумаге. В этой тактике проявляется национальный характер русских.

— О, характер, — сказал Брухмюллер, — у русских странной характер. Но, знаете, в боях мне никогда не приходилось понять характера командира, дерущегося со мной. Он расплывчат, туманен. Я не могу уловить, что он любит, какой вид оружия он предпочитает. Но меня это совсем не радует, я не люблю тумана».

Но тут русские начинают внезапно бить по немецким батареям тяжелых орудий, по стоятиямиллиметровым орудиям, по батальонным минометам; прислуга прячется в укрытия; одна за другой напугиваются огневые позиции. Вызвать пехотный батальон, стоявший в резерве? Но сосредоточенный по дороге огонь сделал ее непроходимой.

Русский показал свой настоящий характер.

«Я переиграю его», — говорит Брухмюллер.

Нет, не переиграть!

Растущее мастерство, смелое, неожиданное решение обеспечивают победу — этим Мерцалов обязан богаревскому уроку.

8

«Словно икона, строгий», — думает, глядя на Богарева, Игнатьев.

Эта иконная строгость необязательна и воспринимается порой не столько как чер-

та самого комиссара, сколько как некоторая схематичность образа.

Конечно, не тем будет достигнуто настоящее мастерство, что к доблестям человека будет добавлена одна или две человеческих слабости (старый и ложный литературный рецепт — так, мол, жизненное получается).

А между тем Богарев может и должен стать живее, оставаясь таким же безупречным комиссаром.

Одна черта — не самая главная, и все же существенная. У Богарева, как у его предшественника, тоже иконно-строгого Бахмутского («Степана Кольчугина»), совершенно отсутствует чувство юмора. Трудно понять, почему. Сам писатель объясняет этим чувством в полной мере, и у многих его персонажей оно налично. Они шутят; даже на этой войне бывают такие мимолеты.

Не может же автор предполагать и не предполагает, конечно, что чувство юмора — слабость, что этим может быть нарушена цельность изображаемой природы. Разумеется, нет.

Это относится и к историческим деятелям, хотя в различной степени. Юмор не характерен для Робеспьера, но нельзя представить себе Ленина без его усмешки, без его юмора даже в самые трудные годы нашей истории.

Юмор — не слабость, а сила. Вспомним здесь, что Маркс говорил о буржуазных революционерах, их «драматических эффектах», их римской костюмировке. Эта приподнятость необходима буржуазным революционерам, «чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии» (К. Маркс, Избр. произв. в двух томах, стр. 247).

Наша революция свободна от этой и всякой другой ограниченности, она не нуждается в таких искусственных средствах. Вот почему обедняки Богарева и отсутствие юмора и эта иконная строгость. Какая-то приподнятость и торжественность не покидают его даже за чаем, за ужином, даже, когда писатель указывает: Богарев засмеялся.

Разумеется, этот упрек и пожелание отпадают там, где торжественность и суровость оправданы самим жизненным положением, где юмор немыслим, где Богарев и не может и не должен быть другим. Такова, например, великолепная заключительная сцена.

Невозможно остановиться на каждом из командиров, героев повести, — особенно хорош Бабаджанян. Все они тонко индивидуализированы автором и в своих лично бытовых чертах и в своем отношении к военному искусству.

Стоит сказать как раз об одном из менее удавшихся образов — о командующем Еремине.

Могут быть, он и на самом деле такой выдающийся командир, каким хочет изобразить его Гроссман, но читателю это уваженно не передается. Деятельность,

которой могли бы подвзржаться его достоинства, почти не показана в повести.

Остается обстановка, остаются такие подробности:

«Минут за пятнадцать до начала дежурства секретарь бесшумно прошел по ковру и шепотом сказал порученцу:

— Мурзихин, яблоки командующему принесли?»

Порученец скороговоркой ответил:

— Я велел, как всегда, и нарзан и «Северную Пальмиру», да вот уже несут».

Принесли тарелку с зелеными яблоками. Начальник штаба жалуется — какая едкая яблочина. Через несколько страниц: «Ты привик с детства к зеленым яблокам, ты из соседних садов таскал, так до сих пор этой привычки держишься, а люди, в дыш, из-за тебя страдают».

Еще через несколько глав: отступление штаб фронта в лесу. Чудесное описание: «под густым орешником стояли канцелярские столы, посыльные ходили сказочными тропинками, покрытыми жолудями, и наливали в чернильницы чернила; по утрам трюк пишущих машинок под влажной от росы листвой заглушал пень птиц; меж густых зарослей видны были белокурые женские головы, слышались женский смех и мрачные голоса канцеляристов». Но — опять несут зеленые яблоки и «Северную Пальмиру». И это уже начинает раздражать.

Нюхатки танковые колонны подходят к реке. «Когда комиссар штаба доложил об этом командующему, Еремин стоял у орехового куста и обирал спелые орехи. Пршедшие с комиссаром штабные командиры пытливо и тревожно наблюдали за лицом командующего, — но известие не произвело на Еремина впечатления. Он кивнул знак того, что слышал слова комиссара штаба, и сказал своему адъютанту:

— Лазарев, пригни-ка эту ветку, в дыш, на ней десятка три орехов уселось. Подробно описывается, как он обирает орехи и как на него смотрят штабные. «Знаю, знаю, зачем сюда пришли. Штаб остается на месте, никуда передвигаться не будем».

Урок спокойствия и выдержки — штаб остается — хорошо. Но ведь обстановка в самом деле серьезная, а урок может быть и не на собирании орехов давать, тому же орехами Еремин занимался и прихода штабных, как будто не было дного занятия. А после их ухода, обменявшись несколькими замечаниями с дежурным комиссаром, — среди них: «денег то, денег-то какой? Орехов не хочешь. Сам собирал», — он спрашивает адъютанта: «— Обед скоро будет? — Сейчас накладывают. — сказал дежурный порученец. Вот хорошо, — сказал Еремин, — ты орехи не грызи перед обедом».

Нет, не уж ждет эта великолепно похожая на самодовольство, и критика вроде богаревской, здесь, может быть, нужнее, чем в эпизоде с Мерцаловым.

Вторая центральная, ведущая, обобщающая фигура повести — боец Игнатъев.

Комиссар Богарев думал о гитлеровцах: «В их особенностях механически подчиняться, бездумно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто низменное, несвойственное свободному разуму человека».

Прямая противоположность — русский боец.

Ценнейшее свойство Игнатъева — высокая внутренняя свобода: «Все знали этого могучего, веселого, неутомимого человека. Он был изумительным работником: всякий инструмент в его руках словно играл, веселился. И обладал он удивительным свойством работать так легко, радушно, что человеку, хоть минуту поглядевшему на него, хотелось самому взяться за топор, пилу, лопату, чтобы так же легко и хорошо делать рабочее дело, как делал его Семен Игнатъев. Был у него хороший голос, и знал он много старинных песен, выученных от старухи Бочарихи. Эта Бочариха была очень нелюдима, никого к себе в хату не пускала, иногда по месяцу ни с кем слова не говорила. Она даже по воду к колодезю ходила ночью, чтобы не встречаться с деревенскими бабами, надоедавшими ей вопросами. И всех удивляло, почему она сразу отличала Сеньку Игнатъева, рассказывала ему сказки и учила песням. Одно время он вместе со старшими братьями работал на заводе на Тульском заводе, но скоро уволился и вернулся в деревню. — Не могу я без вольного воздуха, — говорил он, — для меня по нашей земле ходить, как хлеб есть и воду пить, а в Туле земля камнем мощеная».

Часто ходил он по окрестным полям, в большой лес, на реку. Брал Игнатъев с собой удочку или плохонькое охотничье ружьецо, но делал это больше для вида, чтобы над ним не смеялись. Ходил он обычно быстро, — постоит, послушает птиц, тряхнет головой, вздохнет и пойдет дальше. Либо взберется на высокий заросший орешником холм над рекой и поет песни. И глаза у него бывали веселые, как у пьяного. Его бы посчитали в деревне чудаком и неминуемо стали бы смеяться над этими прогулками с ружьем, но уж очень уважали его за силу, за великолепное умение работать. Мог он подстроить человеку злую, но веселую штуку, мог много выпить и не захмелеть, рассказать интересный случай, либо сказку с изловочкой, никогда не жалел табаку для собеседника. В роте он сразу пришелся всем по душе».

Хороша эта характеристика, но, может быть, обаяние образа было бы еще более непосредственным, его собственная, ему самому присущая поэтичность выступила бы сильнее, если бы эти слова были чуть поэтичнее.

Игнатъев не уходит от трудностей, никогда не остается в стороне. «Жизнь не-

легкая у народа была, — говорят он Богареву, — да ведь тяжесть своя — наша».

«А Игнатъ в-то, Игнатъев — мы раз ударили лопатой, он три. Мы вдвоем один окоп, а он один два выкопал. Да еще поет. А ведь двое суток не спал».

«Веселая удача шла рядом с ням».

Вокруг него — другие бойцы: московский слесарь Сетов, колхозник Родимьев, оставивший дома жену и четырех детей, — один из лучших образов повести. Но всего не перескажешь.

10

В повести «Народ бессмертен» в потоке людей и событий — ни одно событие, ни один человек не обезличиваются, не утрачивают своих особенных черт, и во всем, даже в самых страшных минутах, — эпическое спокойствие, спокойствие уверенной в себе силы.

В этот поток, отраженный в повести, вовлечена и природа. Отмщенья требуют не только погибшие люди: мстить нужно не только растоптанное, за все поруганное врагом. Не только города и деревни, — трава и деревья в лесу, эта прохладная предосенняя ночь, все, что включает в себя любовь к родине, — все вызывает к борьбе и возмездию.

«...Игнатъев, несший на своих плечах всю страшную тяжесть этих битв, не раз сидевший в глиняной яме, когда над его головой проходили немецкие танки. Игнатъев, прошедший тысячи километров в горячней пыли фронтовых дорог, видевший каждый день смерть и шедший навстречу ей», знает: «эта сегодняшняя война должна продолжаться, пока немец не уйдет с советской земли».

Конец повести — одна из лучших ее страниц, и самой высокой похвалы достойна такая простота и такая сила.

«Где комиссар?» — спрашивают друг друга бойцы...

«— Кто видел комиссара, — спросил Козлов, вытирая пот со лба».

«— Комиссар все время был с нами, — говорили бойцы, — комиссар был с нами».

«— Где комиссар, — спрашивал Мерцалов, хотя среди обломков машин, весь запыленный, грязный, в изорванной вельиной меховой гимнастерке, и ему от едали:

«— Комиссар был впереди, комиссар был с нами».

«Ветер пропумел над полем. Оттуда, где догорало пламя, шли два человека. Все знали их. Это был комиссар Богарев и красноармеец Игнатъев. Кровь текла по их одежде. Они шли, тяжело и медленно ступая».

В самых суровых испытаниях народ не может погибнуть — народ бессмертен.

«Они стоят по грудь в земле, перед ними пустое поле и пустая дорога; вот пройдет двадцать минут, и стремительные, весящие две тысячи пудов, пушечные танки вырвутся со скрежетом, в крутящихся облаках пыли. — Идут! — крикнет сержант».

«Облака над ними, пролётит птица и скроется, они стоят по грудь в земле и ждут, всматриваются. Им отражать натиск танков. Их глаза уже не видят друзей, их глаза ждут врага».

«Пусть помнят об этих людях, — говорит Гроссман, — пусть уступят им место на лавке в зеленом вагоне, пусть поделаются с ними кипятком в дороге».

Великий полководец и патриот Грузии

«Великий Моурави»¹ — исторический роман, красочно изображающий далекое прошлое Грузии, эпоху так называемого позднего феодализма XVI—XVII вв.

В течение многих столетий грузинский народ вел упорную и мужественную борьбу с силами агрессоров. Особенно продолжительной была эта борьба с двумя могучими восточными деспотиями той эпохи — Ираном и Турцией. Сокрушительные нашествия иностранных завоевателей не раз превращали цветущие города Грузии в обломки и пепел, «не раз Грузия спускалась по окровавленному ступенькам, и в потемневших реках отражалось ее скорбное лицо. Но грузин всегда умел отомстить врагам и, вновь поднявшись на вершины, возрождал свой очаг и гордо смотрел в будущее».

Роман Антоновской, удостоенный Сталинской премии, проникнут историческим оптимизмом. На первый план в нем выступает грузинский народ — его созидательная творческая работа, упорная борьба с изменчивыми силами природы и многочисленными иноземными завоевателями, которые опустошительными набегами превращали цветущий грузинский край «в могильный саван».

«Вздрагивает остывший пепел. Тяжело поднялась раненая Грузия, напрягает каменные мускулы, и снова солнце расправляет горячие крылья над любимой долиной, снова цветут затейливые города, снова томится жадной обогащения святые обители».

Антоновской удалось всесторонне и правдиво показать грузинское феодальное общество XVI—XVII вв. Перед взором читателя проходит целая галерея грузинских царей и правителей — задачливых и незадачливых, способных и посредствен-

ных, суровых и изнеженных. Большинство из них «бокком влезает на соблазнительное кресло, часто украшенное кровью отцов и братьев...».

Чувством ответственности перед фронтовыми товарищами продиктовано одно из лучших художественных произведений нашей войне.

В романе даны образы своекорыстных грузинских князей, которые «всю Грузию на куски разорвали, царя, как кошку, в мешке держать».

Особенно выразителен в романе образ Шадимана Бараташвили, прозванного змеиным князем. Шадиман олицетворял при грузинском дворе корысть и зависть, низость и подлость, интриганство и предательство. Грузинский народ говорил о нем, как о хитроумном чорте, чesавшем хвост при всех случаях. Это был коварный придворный игрок, ненавидевший мелкопоместное дворянство — азнаурство и грузинский народ и не раз предававший свою родину Турции.

Шадиману Бараташвили — змеиному князю — в романе противопоставлен героический образ выдающегося полководца и пламенного патриота — Георгия Саакадзе, которого народ прозвал «Великим Моурави»¹.

Шадиман Бараташвили и Георгий Саакадзе — центральные фигуры романа. Их сложная борьба разворачивается на широком историческом фоне.

В истории Грузии большую роль играли православная церковь (грузинский католикос) и монастыри. Не было ни одного политического или культурного события, на котором так или иначе не сказались бы влияние грузинского католикоса — «семенялись цари, убегали века, летали смерчи, сметая царства, а монастыри сохраняли в безопасных книгохранилищах письма, книги...» Грузинские монастыри — это своеобразные центры просвещения эпохи XVI—XVII вв. Метехский монастырь был известен своим книгохранилищем с греческими, византийскими и другими рукописями, и слава о нем шла по всему миру — от Востока до Запада.

¹ А. Антоновская «Великий Моурави», Гослитиздат, М. 1939—1941 гг. (ч. I, стр. 223, ч. II, стр. 278, ч. III—IV, стр. 511).

Грузинский католикос во многом направлял внешнюю политику грузинских правителей в сторону усиления связи с единоверной Русью, с русским народом. В духовных письменах грузинского католикоса тогдашнее русское государство именуется «могучим государством Русским», единоверным братом, с которым Грузия связана общностью исторических судеб.

Писательнице удалось рельефно выявить национальные характерные черты грузинского народа, его гордость, воинственность, удал, гостеприимство и любовь к своей прекрасной родине. Роман сваян грустью грузинского патриота, который видит, как его чудесная солнечная страна угнетается и опустошается иноземными завоевателями, полчищами шахского Ирана и султанской Турции.

В этих крупных восточных деспотиях господствующие классы утопали в роскоши, а народ находился в состоянии унижения и рабства.

В великолепном серале турецкого султана и шахском дворце хранились неисчислимые богатства восточных правителей. Дворцы поражали взоры европейского путешественника своей сказочной роскошью. Но «и на границе узбекских земель, и в северной Индии, и в турецких Санджаках, и на долинах Грузии — Георгий Саакадзе видел одни и те же заскорузлые руки, приносящие богатства ханам, раджам, бекам и князьям».

И в Грузии «пригнулись под ярмом оглушенные деревни, и там — шла вечная борьба с солнцем и землею за кусок черной лепешки и за глоток прохладной воды».

Всем ходом предшествующего исторического развития Грузия была поставлена в условия сложной внутривосточной борьбы и борьбы с своими внешними врагами. Грузинские дипломаты проводили осторожную политику лавирования, политику изучения силы и слабости своих противников. Интересны страницы, в которых раскрывается, на основе исторических документов, деятельность персидской и турецкой дипломатии.

Персидская дипломатия шахов, как правило, характеризовалась тайными замыслами, тонким восточным интриганством. Персидский дипломатический разговор давал возможность ловить противника на полуслове: «Кто первый заговорит, тот уже проиграл».

Дипломаты царской России в борьбе за свое влияние в Грузии выработали особые приемы: смотреть в оба — было их правило, и они проявляли при этом ловкость, хитрость и необычайную цепетильность в соблюдении дипломатических обрядов и церемоний. Нередко они спускали в ход подкуп и меньше всего угрожали силой.

Нелегко было Георгию Саакадзе в этих сложных условиях осуществлять свои передовые идеи. Выходец из мелкопоместной дворянской среды — азнаурства, он выступил борцом за создание централизованного

грузинского государства, против феодальной раздробленности и разобщенности. Спасение Грузии Саакадзе видел в создании единого государства, с единой системой финансов, единой армией и централизованной властью. «Не может Грузия дышать, растерзанная на части» — часто повторял он. Он был главным борцом за общенациональное дело Грузии — за демократизацию ее строя; «Великий Моурави» был организатором общенационального ополчения, создателем азнаурских дружин — «дружин барсов».

Георгий Саакадзе поражал современников умом, твердостью характера, храбростью и кристальной честностью. Это был образованнейший человек своей эпохи, умевший ценить не только оружие, но и науку. Он изучал войны древнейших царей, прекрасно знал Фирдоуси, его поэму «Шах-Наме» и своего великого Руставели.

Моурави учился побеждать многочисленных врагов у знаменитых полководцев. «Помните молодые друзья, — говорил он, — в победу надо верить, победу надо подготавливать».

Он настоятельно рекомендовал азнаурам и своим друзьям из народа учиться у русских делать оружие. Делом своей жизни он считал создание боевого союза азнауров — «дружин барсов», силу же свою полагал в поддержке народа. Какой ум таится в народе, говорил он, «если настоящему с народом обращаться, в два раза больше сможет работать и в пять раз веселее жить».

Нет народа — и нет силы. «Только азнауры с мечом в руках могут вернуть Грузии могущество времен Давида Строителя, времен царицы Тамары».

К цели своей Георгий Саакадзе шел уверенно, упорно борясь с внутренними и внешними врагами.

XVII век знал замечательных деятелей и народных героев: Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Иван Болотников, Степан Разин, Богдан Хмельницкий, Емельян Пугачев, Салават Юлаев.. Грузия дала своего героя — Георгия Саакадзе, который боролся за национальные интересы грузинского народа, за честь Грузии. «Нас много врагов угнетают, и, если суждено, будут топить врагов в их собственных слезах, да помогут мне меч и ненависть».

Девиз Моурави — «яростная борьба против врагов до конца, до победы».

Центральным событием романа является Сурамская битва — замечательная победа грузинского народа над полчищами султанских приспешников. В этой битве Георгий Саакадзе и его народное ополчение бились, как львы, — «с жадной мести, бежало к сурамским полям народное ополчение».

Это была месть народа за многовековую тиранию.

В Сурамской битве Георгий Саакадзе показал себя вождем, достойным высокой

похвалы. Говоря словами поэмы Рус вели, «он был силён в воинской науке, львом сражат он, как котят».

Саакадзе знал, что сила полководца коренится в силе народа. «Народная ярость бьет не хуже клинка», — любил повторять он.

Великий Моурави едва ли не в самые тяжёлые периоды истории Грузии крепко сжимал знамя ее национальной независимости в своих руках. Ему удалось провести персидского шаха и спасти столицу Грузии — Тбилиси — от разгрома и поругания. «Тбилиси — сердце Картли... Пока бьется сердце, — человек жив, пока цело сердце страны, — страна жива», — говорил он. Моурави высоко ценил национальную честь: «Кто раз грузинское достоинство потерял, на уважение народа рассчитывать не смеет».

Саакадзе гордился героической историей своего народа. «Покажите, — не раз восклицал он, — что вы настоящие сыны Грузии, что вашим девизом в жизни, в борьбе за счастье народа будет победа и могущество». «Грузины! Мы празднуем победу, большую победу. Но борьба не кончилась, нам еще предстоит битвы во имя счастья и гордости грузинского народа... Будьте готовы к битве и победам... Грузины...

«Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце!» Этим пламенным патриотическим призывом великого Моурави заканчивается роман.

Замечательна легендарная характеристика Моурави: «Моурави — великий вождь грузинского войска, муж замечательный, весьма могущественный и из всех храбрейший — совершил много славных воинских подвигов в Иберийском царстве, сражаясь с царем персов, и впоследствии, при измене ему счастья оставленный союзниками, бежал под защиту турок, а затем из зависти к его храбрости и славе был опоен ядом и умер. После его смерти, когда храбрец был растерзан, из его внутренностей вынули сердце, не схожее с сердцем людей, ибо оно было, точно у близнецов, двойным!»

Вместе со всеми советскими народами борется гордый свободлюбивый грузинский народ с ненавистными немцами захватчиками, с фашистскими шакалами.

В ряду славных полководцев, чьи деяния, чье мужество и бесстрашие вдохновляют советских воинов на подвиги защиты на родины, выступает и великий Моурави.

С. Бушуг

Очерки А. Полякова

Сразу же после появления в «Красной звезде» первых очерков из серии «В тылу врага» имя А. Полякова, до того неизвестное в литературе, приобрело популярность. Очерки читались, как главы увлекательной повести.

Не мастерством, не блеском стиля завоевали они внимание читателя, а богатством, содержательностью наблюдений и описаний.

В первые месяцы войны многие наши очеркисты, только что ставшие военными корреспондентами, невольно увлекались внешним эффектом воздушных и наземных схваток. Очерки А. Полякова — профессионала-военного, артиллериста, бывшего командира батареи — выделялись тем, что война в них была показана, так сказать, изнутри, глазами активного участника боев, пишущего только о том, что он сам видел, пережил, перечувствовал и хорошо понял.

«В тылу врага» — это дневник военного корреспондента, который наряду с журналистской работой выполнял боевые задания командования. Свой дневник А. Поляков вел, находясь в частях генерала Галицкого, которые с боями, проема тылы фашистов, пробивались из вражеского окру-

жения. В одном из первых боев он был ранен. Естественно, что в таких условиях можно было вести записи только о самом главном.

«Чем грандиознее события, тем короче мои записи», — отмечает А. Поляков.

26 июня, когда части Галицкого вступили в бой с танковой группой Гота, в результате которого немцы потеряли за день 97 машин, автору удалось записать в своем дневнике всего несколько строк:

«Олушка леса. Тригонометрическая вышка. Танковый бой. Марков был в ушах. Шука сказал: «Прицелить им хвост».

В очерке, посвященном бою, разглагольствуя 26 июня, А. Поляков, конечно, ограничился этой более чем лаконичной записью. Однако, как бы значительно расширил он свои первоначальные замечки, читателю кажется, что вся книга написана на поле сражений, — так живо сохранились в ней непосредственные впечатления участника боя.

И вместе с тем каждая страница, каждая строка свидетельствуют, что автор интересуется не только то, что происходило в данный момент на поле боя и что сейчас определяется изменчивым военным счастьем, а и то, что движет сол-

тиями и определяет в конце концов исход войны; не бой сам по себе, не батальные сцены как таковые, а поведение людей, участвующих в этом бою, воля этих людей.

Подготавливая коварное нападение на нашу страну, враг рассчитывал внезапным ударом сломить дух Красной Армии, посеять панику, внести разложение. Фашисты рассчитывали, что советские бойцы, еще несколько дней назад жившие спокойной, размеренной учебной жизнью летних лагерей и вдруг сразу очутившиеся в тылу врага, отрезанными от центров управления, будут думать только о своем личном спасении.

Да, были малодушные. А. Поляков не скрывает этого. Он рассказывает о красноармейце Крякине, который покинул свою часть, ушел в деревню и, переодевшись в крестьянское платье, стал выжидать, что будет дальше. А дальше было вот что: «крестьяне пришли в лес к нашим бойцам и сказали: «У нас появился чужой».

И действительно, когда дезертира поймали и привели в его часть, он оказался здесь настолько чужим, что даже маленький веснушчатый красноармеец, за два часа до того прикидывавший с товарищем, «не лучше ли прорваться вдвоем», и тот при виде пойманного, по-собачьи дрожащего труса искренне, из глубины души выкрикнул: «Ну и подлец!»

Не скрывая всей тяжести обстановки, в которой оказались некоторые части Красной Армии в результате внезапного нападения немецких фашистов, А. Поляков сумел показать с убеждающей читателя жизненной правдивостью силу стойкости советских воинов, их мужества, героизма. Он сумел также показать источник этой силы, источник их непоколебимой веры в победу.

Вот хотя бы командир разведывательного батальона (бойцы метко называли этот батальон «петушиной частью») — веселый майор Щука. Он всегда горит нетерпением затеять драку с фашистами, чем-нибудь напакостить им, он умеет схитрить в бою, неожиданно ворваться в расположение противника и с добычей вернуться домой.

Майор Щука удался А. Полякову. Он показан скупо, как бы мимоходом, но для читателя — это живой человек, и читатель не может представить себе, чтобы майор Щука когда-нибудь струсил, оказался малодушным.

Или вот семья Зиновьевых: отец — воентехник, мать — машинистка штаба, сын — четырнадцатилетний советский паренек, не тех, что любили «возиться с электричеством», производили всяческие опыты, и в дни войны оказались отличными мотоциклистами, стрелками, связистами, разведчиками.

А. Поляков уделил этой скромной семье советских патриотов несколько десятков строк, но она запоминается, и читатель

ворит, что таких людей, как Зиновьевы, не сломят временные неудачи, такие выстоят.

Чувством непоколебимой уверенности в победе заражают читателя все образы бойцов, командиров и политработников, о которых рассказывает А. Поляков в своих очерках: и суровый воин генерал Галицкий; и темпераментный командир артиллерист Бородин, большой любитель сосредоточенного огня; и комсомолец Павел Колычев, в жизни — нежный юноша, тихоня, поэт, а в бою — богатырь; и похожий на мальчика младший лейтенант Малек, который днем под видом наивного крестьянского паренька разгуливает среди немцев, а ночью врывается в их расположение во главе отряда бесстрашных.

Откуда в них эта уверенность, что, как бы ни была тяжела обстановка, а выход из нее будет найден, победа будет добыта?

Нам кажется, что большой интерес, который, как известно, вызвали очерки А. Полякова и у нас и в дружественных нам странах, объясняется именно тем, что они дают правильный и убедительный ответ на поставленный вопрос.

Вспомните партизана Куприяна, ветерана японской и германской войны, ухитрившегося прорваться сквозь вражью кольцо и привезти советским бойцам в подарок от своей деревни воз картошки. Как рачительный хозяин, не успев зайти в лагерь, он уже взялся наводить здесь порядок; он быстро подружился с комиссаром и в первую же ночь отправился с ним в разведку. Проходит день, и мы видим Куприяна бегущим впереди бойцов, которые ворвались в занятую фашистами деревню.

Вспомните деда Ефима, единственного человека, уцелевшего в деревне после учиненного здесь гитлеровцами погрома. Этот, ослепленный немцами еще в прошлую войну, семидесятилетний колхозник провел советских бойцов по чащобе и болотам и ни разу не сбился с пути.

Вспомните старого телеграфного техника, явившегося к советским бойцам из захваченного немцами города, чтобы помочь Красной Армии отомстить проклятому врагу за его злодеяния.

Вспомните Люсю — эту отважную, находчивую девочку. При появлении немцев она спрятала в кустах у речки отцовский радиоприемник и каждый вечер под носом гитлеровцев слушала голос Москвы. Она помогла и советским бойцам услышать этот родной, ободряющий голос.

Не ставя перед собой никаких литературных задач, кроме одной, — правдиво рассказать о том, что ему представилось самым существенным на войне, А. Поляков хорошо показал ее всенародный характер. Живые образы его очерков как бы иллюстрируют речь товарища Сталина от 3 июля: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем вели-

кой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск».

Вот этим и объясняется та светлая уверенность в победе, которая не оставляла советских воинов даже в трудные и горестные дни осеннего отступления 1941 года. Уверенность эту А. Поляков — командир Красной Армии и писатель ее — почувствовал в своих товарищах, в советских бойцах и командирах и передал ее в жизненных образах, исполненных той правды, которая увлекает и убеждает читателя.

Следующая серия очерков А. Полякова, впервые опубликованная в «Красной звезде» под названием «От Урала до Старой Руссы», вышла отдельным переработанным и расширенным изданием под названием «Белые мамонты». Это записки военного корреспондента, сопровождавшего группу танков КВ («Клим Ворошилов») от ворот завода до передовых позиций и участвовавшего в боях вместе с их экипажами.

Первые очерки переносят читателя в глубокий тыл страны, на один из гигантов нашей военной промышленности, где все подчинено лозунгу: «Фронту надо дать столько танков, сколько он требует».

Побольше «мамонтов» — этой мыслью живут здесь все, начиная от директора завода героя социалистического труда Зальцмана и старейшего рабочего завода товарища Худякова, до двенадцатилетнего ученика ремесленного училища Кости Владека, который на вопрос: «Ты тоже танки делаешь?» — гордо отвечает, вертя в руке болтик:

«— А то как же?... Вот этой штукой так треснет по фашисту, что и амба. Одно хорошее место останется».

В очерке «Бронированный экспресс» есть одна деталь, трогательно передающая чувство заботы и любви, которыми окружает советский народ свою армию.

Только что вышупенные из ворот завода, испытанные своими экипажами танки КВ — «белые мамонты» — вползли на железнодорожные платформы; экипажи танков простились с теми, кто их строил. И вот «в предвечерней мгле растворились силуэты провожающих, не видно уже мелькающих в воздухе платочков, и только длинные рукава черного дыма из заводских труб еще долго-долго махали нам вслед, будто желая проводить до самого фронта», — пишет А. Поляков.

Эти машущие рукава дыма не выдумашь, этот привет, эту ласку народа может почувствовать, опутить сердцем только шодлинный патриот-писатель, мужественно и нежно любящий родину.

«Танковый эшелон минует города, села, будки и полустанки. Их сотни на протяжении тысяч километров, и всюду — люди, наши дорогие советские граждане, провожающие нас и жестами, и возгласами, и долгими взглядами надежды и благодарности».

В очерках А. Полякова нет громких фраз о любви советского воина к своей

родине, о готовности служить ей следного дыхания, но этой любовью страстной преданностью отчизне щна каждая строка книги: и сцены ге в бою, на фронте, и зарисовки будней военной учебы, маршей, праздников. Как хороша елка у та на фронте и как хорош веселый Дормидонтов, который, устремив бескрайные заснеженные холмы зачерпывает вдруг нежным тенором, поддерживает весь вагон:

Полюшко-поле,
Полюшко широко поле.

Бескрайные поля и леса, реки, и заводы, среди которых мчится на бровевой экспресс, пробуждают у стов мысль:

«А сколько нашего богатства та временно властвуют сейчас фашисты ведь тоже наше, родное, советское. надо еще отбивать, за него надо ж драться».

Любовь к родине рождает у сове война жажду боя, хорошо перед А. Поляковым в сцене раздачи боев по приезде танкистов на фронт:

«— Что, тебе лишнего снаряда на ца жалко? — с обидой в голосе у начальнича боепитания командир Калиничев.

Танкисты набирали боеприпасы в то особым азартом, точно они ни снарядов не видели. Они готовы пихать снаряды за пазуху, куда у Заряжающий Соколов стоял с двумя рядами на руках, как с младен Класть уже было некуда».

Есть очерки, содержащие которых рассказать в нескольких словах, не стив при этом ничего существенного. очерки, прочитав которые, не заду скажешь: этот — о стойкости, это боевой дружбе или о военной с и т. д. К очеркам А. Полякова не и сишь таких ярлычков.

В просторную раму «Белых мамонтов» вошел далекий от фронта Урал, куда сачи рабочих эвакуированных заводов саживались с самолетов, как могучий сант, чтобы ковать оружие, требую для войны; вопли мирные советские ди, уже успевшие стать бальными вс ми; вопли эшелоны, везущи на фрон скорости тысяча километров в с самолеты и танки. «Белые мамонты» это рассказ о небывалом в истории лвом марше танков, о батальонах, кои не только воюют, но и одновременно : воевать других, — батальонах, став своеобразными фронтовыми академи. То главное, чем жил советский наро суровую зиму 1941/42 г. не чем ж сейчас, вошло в книгу А. Полякова. списаны эти важнейшие события воен дней так просто, жизненно верно, до чиво и горячо, что «Белые мамонты» и зуются заслуженной популярностью.

«Враг, конечно, еще силен, жесток и варен, но он будет сломлен нашей си

нашей волей к победе. В войне с фашистами победить можем только мы — наша родина, наш народ. С этой верой мы будем воевать и дальше...»

Так закончил А. Поляков свой дневник «В тылу врага». Этой же верой заражают читателя и «Большие мамонты».

Книжки А. Полякова читатель воспринимает как две части одного, еще незаконченного, произведения, которое можно было бы назвать так: «Советский народ в отечественной войне. Записки участника».

Безвременная смерть застала А. Полякова за работой над третьей серией очерков — «Залпы гнева», которую он посвятил героическим делам своих братьев по

оружию — артиллеристам. Вместе с ними он в последний раз участвовал в кровопролитных боях под Ржевом.

Большевик-воин, всегда стремившийся быть на решающем участке фронта, на передовой линии огня, талантливый журналист-писатель, умевший глубоко видеть жизнь, — А. Поляков обладал всеми данными для того, чтобы создать большое произведение, отражающее героизм советского народа в борьбе с фашистскими ордами, дни тяжелых испытаний и радостные дни нашей грядущей победы.

Смерть прервала выполнение больших замыслов А. Полякова, но и то, что он успел написать, — ценный вклад в литературу о великой отечественной войне.

Е. Герасимов

Издательская ошибка

(Об исторической трагедии О. Брика)

Ни истории, ни трагедии нет в этой книжке! Хоры, арии, даже серенады:
«За высокой стеной сада раздается песня. Поет молодой мужской голос:

Над рекою тихий вечер
Звездочкой горит...»

По замыслу — оперное либретто, не прельстившее, надо думать, ни одного композитора и, вероятно, именно поэтому переименованное в трагедию; по выполнению — нечто, не укладывающееся ни в какие жанры и полностью обретающееся за пределами литературы.

Борьба Грозного с боярством не есть основание для того, чтобы превращать Грозного в «подлинно народного», «мушкетерского царя». Но нужно ли подробно это доказывать, говоря о произведении, уровень которого исчерпывающе определяется такими, например, выдержками:
Заключительная сцена:

«Иван (с нежностью)

Девушка смелая,
Девушка светлая!
Тебе отказать не могу.
Свадьбу справляйте,
Любите друг друга
Так,
что крепче нельзя,
Так, чтобы души туго-туго
Вечным узлом связать.
Будете жить и жизнь дадите —
Крепкие всходы возрастут.
Да!
От таких, вот, смелых, решительных,
Новые люди пойдут.

Хор, обращаясь к солнцу:

Злакам всходящим
Цвезть помоги.

Занавес».

Итак, предки найдены, родословная установлена, — известно, откуда появились у нас новые люди: от боярышни Анастасии, с благословения Иоанна Грозного.
Или вот:

«Анастасия

Ау!
Ищи меля, ищи!
Ау!
Ищи!
Ау!
Ищи!

Мамма

Иту!
Ищу!»

Автор не использовал всех открывавшихся перед ним возможностей: эти «ау ищи» можно было бы повторить еще раз двадцать, растянув дуэтическое ауканье на три или на четыре страницы.

«Будто сказка,
сон чудесный!
Ты со мной, моя любовь!
А пугал, что неизвестно,
Скоро ль свидемся мы вновь».

Предполагалось, что за музыкой нельзя будет разобрать слов, что в опере все сойдет — какую бы глупость и пошлость ни сочинил либреттист, но эти предположения не оправдались. Читаешь и удивляешься:

«Ты моя радость! Моя услада!
Ты жизни сок, целебное вино.
Ты здесь — и сердце бьется жадно,
Твоим дыханием напоено».

¹ О. М. Брик. Иван Грозный. Историческая трагедия. Молотовское областное издательство. Стр. 70, ц. 1 р. 30 к.

Что это такое, как вы думаете? Это Грозный разговаривает со своей женой. Спать ария.

«Историческая концепция» Брика сводится в сущности к тому, что Грозный — не бас, а тенор.

Бриковский «Иван с нежностью» не только благословляет влюбленных и объясняется в любви, он занимается также и политикой, в частности внешней, но относящиеся сюда эпизоды свидетельствуют лишь о том, что «трагедия» написана больше года тому назад и с тех пор автором не прерывалась.

О. М. Брик — не начинающий литератор, он не может не знать, как нужно оценивать то, что он написал, и, вероятно, посмеивается над областными издателями, не рассмотревшими, что перед ними хладнокровная, сознательная халтура. Дурная, скверная шутка, в любое время непростительная, в особенности в наши дни, когда так вырастает чувство ответственности за каждую написанную строчку.

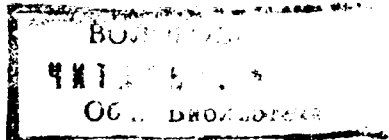
Н. Семенов

Содержание

	Стр.
ДМ. КЕДРИН — Дума о России, <i>стихи</i>	3
Н. РЫЛЕНКОВ — Стихи о России	4
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Первый москвич, <i>стихи</i>	5
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — Радуга, <i>повесть</i>	6
Е. ДОЛМАТОВСКИЙ — Раненые, <i>стихи</i>	31
В. ИЛЬЕНКОВ — Русские женщины, <i>рассказы</i>	32
П. ПАВЛЕНКО — В горах, <i>рассказ</i>	40
НАДЕЖДА БЕЛИНОВИЧ — Кинжал, <i>стихи</i>	43
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — Рассказы: Комсомольское мужество; Комары	44
С. ГОЛУБОВ — Герасим Курин, <i>повесть</i>	51
А. ПЛАТОНОВ — Крестьянин Ягафар, <i>очерк</i>	97

ПУБЛИЦИСТИКА и КРИТИКА

ДЖЕК БРАУН — Американский народ и СССР (перев. Р. Гальпериной)	104
П. ПАВЛЕНКО — «Фронт»	109
В. АЛЕКСАНДРОВ — Уважение к действительности (о повести Василия Гросс-мана)	112
С. БУШУЕВ — Великий полководец и патриот Грузии	120
Е. ГЕРАСИМОВ — Очерки [А. Полякова]	122
В. СЕМЕНОВ — Издательская ошибка	126



Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский, 10/2. Телефон К 3-44-22

17-й год издания. Тираж 25 000 экз. Подписано к печати 22/X 1942 г.
А61323. Печ. листов 8. Уч.-авт. листов 13. В печ. листе 74 9/20 зн.
Цена 5 руб. Зак. 641

18-я типография треста «Полиграфкинг», Москва, Шубинский пер., 10

